Лучшая книга года по версии
TIME, NPR,
THE NEW YORKER



ПАТТИ СМИТ

ХЛЕБ АНГЕЛОВ

18+

ОТ АВТОРА КНИГИ
“ПРОСТО ДЕТИ”

CORPUS

Хлеб ангелов
Патти Смит

Аннотация
Патти Смит. Хлеб ангелов
Прелюдия
Сознательный возраст
Гарденс
Озарения
art/rats
“Dancing Barefoot”
My Madrigal
Mortal Shoes
Грант
Peaceable Kingdom
Капля крови
Пути бродяжничества
о фотографиях
об архивах

Аннотация

Патти Смит написала несколько книг воспоминаний, и “Хлеб ангелов” – самая личная из них. Начинается рассказ с детства, а подростком Патти уже начинает всерьез задумываться об искусстве. Артюр Рембо и Боб Дилан становятся ее главными ориентирами, она начинает писать стихи, а затем и песни, которые входят в первые ее альбомы. Но опа оставляет сценическую карьеру и выходит замуж за Фреда Соиика Смита, главную любовь всей ее жизни. Тогда-то она начинает пробовать себя в прозе. И вместе с Фредом мечтает о путешествиях в дальние страны. А дальше – тяжкие утраты, глубокие переживания, необходимость отстраивать жизнь заново. На последних страницах книги мы снова видим Смит в дороге, странницу, которая отправляется в путешествия, чтобы не терять себя, которая живет для того, чтобы писать, и пишет для того, чтобы жить.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Патти Смит
Хлеб ангелов

Препятствия суть наши крылья.[1]

Николай Гоголь

[1] Примечания: 1

Из письма Н. Гоголя художнику А. Иванову от 30 августа 1842 г. *Здесь и далее прим. перев.*

Patti Smith
Bread of Angels



Перевод с английского *Светланы Силаковой*



Copyright © 2025 by Patti Smith
© С. Силакова, перевод на русский язык, 2026
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026
© ООО “Издательство Аст”, 2026
Издательство CORPUS ®

Прелюдия

Перо царапает страницу: “бунтарский горб бунтарский горб бунтарский горб”. “И что же значат эти слова?” — спрашивает перо. “Не знаю, — отвечает запястье. — Такие слова сейчас вытанцовываются, а авторша, квартирующая сейчас в «Долине Шарлотты» на севере Польши, потом решит”. Имя “Шарлотта” вызывает из памяти фарфоровое лицо куклы. Девочка оставила куклу на траве, убежала по ягоды. Вроде ненадолго, но успела про нее позабыть, и с течением времени брошенная кукла становится Шарлоттой под дождем, Шарлоттой в снегах, Шарлоттой в пасти проказливой собаки. Фарфоровую головку укрывают тени берез, растущих все выше и выше в снежные времена года, и листья тоже укрывают: сначала красные, потом мертвые. Солнечные времена года стирают с ее щек румянец, но им непокорна бесстрастная лазурь ее мраморных глаз.

Отчего лицо фарфоровое? Отчего бы не вспомнить лоскутную куклу, такую, как у меня самой, глазки-пуговицы на тряпичном лице? Эта склон-

ность вставлять в рассказ вещи, которых у меня никогда в жизни не было, — откуда она берется? Это необъяснимое влечение к так называемым предметам роскоши, о которых пишут в книгах: жилет из натурального льна, лайковые перчатки, шевровые сапожки. Перерываю книги, словно воображаемые дорожные сундуки, в поисках одного особенного бархатного плаща — надо спрятать под ним миниатюрного Квазимодо, который заточен в нескладном детском теле. Бунтарский горб мой, он меня совсем не красит, но все равно необходим, бунтарский горб.

Отложив перо, ловлю себя на том, что мурлычу давнюю мелодию, песню болотистых лесных краев, где я когда-то медлила под быстрыми облаками, зачарованная всем вокруг. “Бунтарский горб, бунтарский горб”, проламываясь сквозь камыш, сквозь бескомпромиссные папоротники, шарахаясь от дурмана вонючего, от стай мошкары и комаров. Там я привязывала к своему ремню маленький молоток и миниатюрный фонарик. Колола булыжники, чтобы добраться до их тайных сердцевин, сигналила кораблям пришельцев — пусть увезут меня в дальние дали, терпеливо дожидалась: я бы добровольно поднялась в их летающую тарелку. Разувалась,

шла вслед за ручьями: в воде, как кружева, — водоросли и юркие головастики, высматривала во все глаза — не блеснет ли особая монета, в обмен на которую меня пустят в нижний мир? Или зазубренная кромка осколка: если приложить его в правильном месте, он соединится с остальными в карманное зеркальце, мое подобие, зеркальце не простое, а из слоновой кости.

Оставляю работу на столе и вхожу в лес, которым окружена “Долина Шарлотты”, инспектирую внутренние механизмы старейших деревьев. Между годовыми кольцами покоятся волокна четырех белых платьев, живые клетки детства. Накрахмаленные складки платья для первого причастия. Утлые лохмотья платья искусства. Вечернее платье, легкое, как носовой платок, чистосердечно-наивное, как рок-н-ролл, — подарок моего брата. И, наконец, прекрасно сохранившееся викторианское платье для чаепитий, мое свадебное платье, воплощение обетов и слез, пролитых мной по мужу, а мужа я когда-то любила больше, чем себя.

Бог шепчет сквозь морщину на обоях, капля воды лопается, образуя уравнение. Свет в лесу меркнет. Какой-то старик, сидя на бочке, поет: “Золотой нашел я в поле, кто его мне разменяет?”

Откликается девочка: “Может, моя кукла, если я ее найду. У нее полный кошелек серебра”. Одно усилие воли — и кукла материализуется. Шарлотта. Сначала рука, затем торс, затем маленькая гордая головка, пристально смотрят синие глаза, видавшие, как были низвергнуты с неба серафимы, как колыхались в резонанс, сгорая, звезды.

“Все умерли, все позабыто”, — откликается эхом чей-то голос. Составляю инвентарный перечень тех, кто все еще со мной. Бросаю составлять, добравшись только до лица моей сестры, невинного, но всеведущего. Пока она на этом свете, сохранность наших воспоминаний гарантирована. Ну, а в будущем, когда нас обеих не станет? “Пиши для этого будущего, — говорит перо, — ради выбракованного ягненка, ради ягненка, которого унес ветер, словно пепел с горящего чердака”. Песочные часы переворачиваются. Каждая песчинка — слово, слово-вулкан, извергающее тысячу других слов, первые и последние мгновения каждого живого существа.

Вижу себя на цыпочках: тянусь к малиновой книге, возбуждающей жадное любопытство малого ребенка. Я хотела знать, что там внутри, а со временем возжелала сама написать книгу. Верила, что смогу написать самую длинную книгу на

свете, записать все до одного события за каждый день. Изложить все на бумаге такими словами, чтобы каждый человек нашел что-нибудь свое. Некоторые, возможно, останутся со мной, другие улетают прочь. Я свое дело сделала — излила все, стоя на гребне лучезарного холма, в лучах беспощадного солнца, одинокая путешественница в поисках сада, где на часах всегда время детства.

Сознательный возраст

Движение — первое ощущение, которое помню. Моя рука машет взад-вперед, и эта скромная затея выливается в падение Багза Банни с моего столика для кормления. Мой безмолвный сотоварищ, только что восседавший напротив, огромный, почти как настоящий кролик, исчез, как исчезали корабли викингов, срываясь с края света. Упал так быстро, что перед глазами все расплылось, туда, куда мне не дотянуться; впервые я столкнулась с последствиями своих поступков. Помню себя на руках у отца, помню, что на руках у матери чувствовала себя совсем иначе. Отец был спокойный, я льнула к его утешительному плечу. Меня инстинктивно тянуло к нему, хотя мать, в отличие от него, всегда была около меня неотступно, всегда командовала. В неполный год отроду я сделала первые неуверенные шаги по кухонному полу. И с тех пор не останавливалась. Маме не было сладу со старшим ребенком — непоседливой почемучкой, которую неудержимо влекло исследовать мир, вырываться из ее объятий, удирать на волю в парках, теряться в

универмагах и в грош не ставить ее любовь.



День памяти павших. Чикаго, 1947 г.

Она предостерегала о последствиях тысячи моих затей, но я была просто обязана сама удостовериться в ее правоте и возвращалась покусанная, ужаленная, в синяках и ссадинах, всячески побитая жизнью. Плохо сознавая, сколько со мной хлопот, какой хаос я учиняю, я тянулась к запретному: непотушенной сигарете, серебряной настольной зажигалке — если ей щелкнуть, сверкнет красивый огонь, надевала на запястье тугую резинку. На пальце волдырь, рука посинела.

Кусочек за кусочком складываю все более обширную мозаику своей предыстории. После окончания Второй мировой войны Грант Харрисон Смит — сердце разбито, голову после малярии распирают мигрени — вернулся с фронта (он воевал в Новой Гвинее и на Филиппинах) в Филадельфию. В свое время он так и не окончил среднюю школу — предпочел стать основным танцором в семейном трио чечеточников и акробатов: он, его сестра и брат. Но война поставила крест на перспективах трио. Беверли Уильямс, молодая вдова, потерявшая сына в родах, работала в ночном клубе. Грант и Беверли были знакомы еще в ранней юности, а после войны обрели в

объятиях друг друга утешение и чувство воссоединения со старой, знакомой жизнью. Грант слегка растерялся в новые времена, но верил, что будущее — за телевидением. В 1946 году он подал документы и был принят в чикагское техническое училище, где действовала послевоенная мера стимулирования — платили стипендию, двадцать долларов в неделю. В соответствии с планами Гранта мои будущие родители заключили брак без пышных церемоний — просто записались в мэрии — и тут же уехали на поезде в Чикаго. Сняли две комнаты в пансионе в польском квартале около Логан-сквер. Мама, уже беременная мной, работала официанткой до последнего, пока могла держаться на ногах.

Меня ждали 31 декабря, но я появилась на свет в разгаре грандиозного бурана и на день раньше положенного. Отняла у мамы шанс получить новогодний подарок — холодильник экспериментальной модели, их раздавали роженицам в порядке рекламы. Пришлось обходиться старомодным ледником, каждую неделю ждать, пока возчик на телеге привезет здоровенный кусок льда.

На странице огромного альбома в выцветшей розовой обложке “От нуля до семи” — хроники

моей жизни, с записями о перенесенных болезнях, подробностями праздников и перечнями моих достижений, мать записала стихотворение под названием “Патти”. Чувствуется, что она была рада рождению маленькой девочки, хоть и болезненной — у меня были серьезные проблемы с бронхами. Отец говорил, что я раскашлялась, не успев родиться. Он закутал меня в одеяло, и родители вместе вышли из роддома. На улице кружила метель. Мать говорила, что отец спас мне жизнь: часами держал меня над лоханью, чтобы я дышала теплым паром. Но я ничегошеньки не ведала ни о папиных надеждах, ни о тяготах маминой жизни — она скоро забеременела снова.

Моя сестра Линда появилась на свет спустя тринадцать месяцев после моего рождения, тоже во время чикагского бурана. В два года я не могла выговорить “Линда” и звала ее “Динни”, это имя на какое-то время к ней прилипло. Отчетливо вижу маму: темные волнистые волосы, вечная сигарета в зубах, я кручусь вокруг, второй ребенок — в коляске, третий — в животе, скрытом от посторонних глаз под безразмерным пальто фасона “честерфильд”. Когда утаивать беременность стало невозможно, хозяин пансиона нас выселил.

Двое детей, третий на подходе. Отцу пришлось попрощаться с мечтой о мире телевизионной техники, развивавшемся семимильными шагами. Пришлось найти работу на полную ставку.

В моем альбоме “От нуля до семи” мама записывала все наши адреса. За первые четыре года моей жизни — одиннадцать переездов, из пансионов — в меблированные комнаты. Сели в поезд, прибыли в Филадельфию. Ненадолго погостили в негостеприимном доме Глории, сестры отца, красавицы, но злыдни. Отчетливо вижу спинет — это вроде маленького пианино — моей бабушки Джесси. И вижу, как тетя меня колотит за то, что я пыталась играть на спинете.

Той зимой мы переехали от Глории на улицу Гамильтон неподалеку. Отец нашел работу на фабрике, где был профсоюз, выходил в ночную смену, мать по-прежнему была официанткой. В сочельник после долгого рабочего дня, прежде чем сесть в переполненный автобус до дома, мать купила нам подарки. Денег хватило только на пару больших леденцов и пару маленьких деревянных пингвинов, раскрашенных вручную. Вышла из автобуса — а ремешок свисает: сумочку срезал вор. Год за годом она рассказывала эту историю снова и снова: в ней не утихала боль

оттого, что в том году дочки остались без рождественских подарков. С тех пор я не могу пройти мимо пингвинчиков на блошиных рынках и в дешевых магазинах — словно пытаюсь заполнить огромную льдину, которая осталась с тех пор в мамином печальном, стойком сердце.

Наш новый братик родился в июне 1949 года. Его назвали Тодд. Маленькое, сморщенное существо, закутанное в голубое одеяло. Мама уложила его в плетеную корзину и велела нам его не тревожить. Помню, как стояла над ним и смотрела во все глаза, и меня переполняло чувство, что его надо оберегать.

Спустя недолгое время у меня нашли туберкулез — в нашем квартале им болели многие дети из бедных иммигрантских семей. Чтобы оградить малышей от заразы, а меня переселить в места, полезные для здоровья, мой дед с материнской стороны, Папа Фрэнк, как мы его называли, мигом увез меня из многонаселенного пансиона в Филадельфии на свою овцеводческую ферму в Чаттануге. Он был красивый и добродушный, играл регтаймы на пианино. Мне дозволялось свободно резвиться на свежем воздухе, я набрала вес на овечьем молоке и крупных дозах стрептомицина, которые мне вкалывали гигантским

стеклянным шприцем. Позднее я узнала, что Долли, вторая жена Папы Фрэнка — она была бездетная, намного моложе мужа — замышляла навсегда оставить меня у себя.

Мама любила своего отца, но в конце концов, прожив чуть ли не год в разлуке со мной, была вынуждена пригрозить ему судом — только тогда он согласился вернуть меня домой. Мама говорила, что вернулась я с южным выговором, в лаковых туфлях и с набором серебряных столовых приборов: ложкой и вилкой с гравировкой "ПАТТИ ЛИ". Об этом периоде разлуки у меня почти нет воспоминаний. А в моем альбоме указан только день, когда самолет унес меня в Чаттанугу. Да еще страница с шапкой "Как мы праздновали мое трехлетие" осталась незаполненной.

1 мая 1950 года мы переехали вроде бы недалеко — меньше чем за две мили — на тот берег реки Скулкилл, на улицу Баринг. Я была говорливой и неугомонной, и мама разрешала мне, пока младенец спит, сидеть на крыльце одной, если я пообещаю не отходить от дома. Там я блаженствовала, наблюдая за последними пережитками сороковых годов, которые скоро сокрушил напор современной эпохи. Лошади, запряженные в телеги, возчик, который доставлял лед, тряпичник,

шарманщик с обезьянкой в красной шапочке. Напротив высилось здание в средневековом стиле, выстроенное в 1892 году одним железнодорожным магнатом родом из Ирландии. Оно было похоже на маленький замок: башни с зубцами, деревянное крыльцо викторианской эпохи, остроконечная крыша. Позднее там устроили Дом уединения Доминиканского ордена. Дом казался абсолютно сказочным, хозяйничали там, торопливо семеня, монахи в черных плащах и белых рясах. Кипучая жизнь улицы Баринг распаляла мое воображение; сказочный замок и приветливая обезьянка шарманщика просочились в сказки, которые я со временем стала рассказывать сестре и брату.

Линда была тихая, намного меньше меня ростом, глаза огромные, изумленные. Она вечно ходила за мной хвостиком, уцепившись за мой подол. У нее была кукла Джессика. Выглядела она неважнецки — то ли попала к нам уже подержанной, то ли такой уж родилась, но Линда обожала Джессику и всюду ее с собой таскала. Однажды у Джессики оторвалась рука. Я усердно пыталась ее починить, но резиновое колечко, которым она прикреплялась к плечу, лопнуло. Рука осталась лежать на полке, в ожидании более

умелого хирурга.

Теперь маме приходилось управляться с тремя детьми. Она учила нас молитвам и, точно полицейский, патрулировала драгоценные просторы моего живого воображения. В моем альбоме она записала, что я склонна говорить неправду. Если правда казалась мне неинтересной, я живописала альтернативную реальность. Чтобы обуздать мой изощренный юный ум, мама шлепала меня выбивалкой для ковров, а также тщетно пыталась давать первые уроки Библии и нравственного воспитания. Маме было недосуг отвечать на мои бесконечные метафизические вопросы об Иисусе, ангелах, ходах и выходах небесных тел. В альбоме ее торопливым почерком записаны два моих вопроса: “Что такое душа? Какого она цвета?”

Во время вечерней молитвы я так донимала маму вопросами, что она решила отдать меня в пресвитерианскую воскресную школу. В три с половиной года я стала вместе с детьми постарше учить наизусть Писание. Какое-то время я была довольна, хотя все мои вопросы оставались без ответа. Перед сном я рассказывала вызубренное Линде. Она слушала, изумленно таращась, держа на коленях свою однорукую куклу.

В младенчестве Тодди был болезненным, и мы

ходили на цыпочках, чтобы не тревожить его сон. Однажды ночью я проснулась после кошмара. Мне снилось, что я играю с малышом, пожалуй, чересчур буйно, и отрываю ему крохотную ручку. Проснулась я, обливаясь потом, не понимая, где явь, а где сон. Нащупала в темноте отломанную руку Джессики, лежавшую, словно в ожидании погребения, на нашей тумбочке. Бросилась к корзине: надо приделать ручку Тодди на место. Тодди заплакал, прибежала мама, обнаружила: я, полусонная, держу кукольную руку и тычу ей в малыша. Мама страшно рассердилась. Я напугала ее и разбудила маленького. Я вернулась в постель, недоумевая. Эта история почему-то долго не выходила у меня из головы. Год за годом кошмар возвращался, события происходили в одной и той же последовательности. Я видела себя в пижаме, которую давно переросла, с неровно подстриженными густыми темными волосами, моя рука, сжимая кукольную руку, вытягивалась, я шепотом звала брата: “Тодди”.

От хозяина новой квартиры мама успешно скрывала беременность. Но плачущего младенца не скроешь, и мы снова сорвались с места, временно поселились у тети Глории на Рэмбо-террас, продержались там три месяца, живя как на иол-

ках, в негостеприимной атмосфере, в комнатах, обитых темным деревом. Мне по-прежнему отчаянно хотелось коснуться клавиш сияющего бабушкиного спинета. Вообще-то бабушка завещала его моему отцу; мама обещала, что я получу спинет, когда у нас будет собственный дом, велела проявить терпение. Мать моего отца, Джесси, умерла от рака на Вербное воскресенье за несколько месяцев до моего рождения. Она была кроткой кружевницей, играла на спинете и арфе. Их было шесть сестер в семье, в Штаты они эмигрировали в 1890 году из Ливерпуля. Мой отец очень любил свою мать и часто говорил, что Линда унаследовала от нее свою участливость. Джесси усердно вела дневники, каждый год — в новой тетради, в основном записывала, какая была погода и как семья проводила время. Став постарше, я часто пыталась перенять ее обычай вести дневник ежедневно, но скоро забрасывала — слишком уж быстро летели дни.

6 мая 1951 года мы переехали на улицу Ньюхолл. Там временно размещали семьи военных и отставных военных, пока те подыскивали постоянное жилье. Целый комплекс домов с белеными стенами, похожий на казарму, — три двухэтажных корпуса, соединенных между со-

бой. В каждом корпусе жили четыре семьи. Окна выходили на неухоженное поле, где пестрели маргаритки и одуванчики; весь комплекс ласково прозвали “Лоскут”.

Прямо за нашим корпусом была бетонированная площадка с переполненными мусорными баками, старыми бочками, ржавыми жестянками и всевозможным хламом. Когда взрослые не патрулировали дом и окрестности, мы частенько собирались на этой площадке и искали сокровища. Обширное пространство под домами, где можно было передвигаться ползком, прозвали “Крысятник”. Этот полуподвал, кое-как заколоченный досками, был запретным местом, сердцевиной “Лоскута”, и мы его исследовали в лучах своих карманных фонариков. Темно, пыльно, тут и там сверкают красные глаза здоровенных городских крыс. Таковы были наши детские площадки — на поле царствовала природа, на помойке — отбросы, и обе площадки наша ребятня ценила одинаково высоко.

Мне было уже четыре, и я могла исследовать мир свободнее, чем сестра и брат. Тодди еще пешком под стол ходил, а Линда, казалось, родилась, чтобы сидеть в зарослях полевых цветов в окружении бабочек. Что ж, за неимением такого

места она сидела в грязи на задворках нашей трущобы, невинно созерцая облака в небе, не замечая, что вокруг снуют крысы, что в ее носочки с резинками затекает жидкая глина.

Жили мы в первом корпусе, на втором этаже. Нашими соседями по площадке были старик-еврей и его внучка. Все остальные члены их семьи не выжили. Старик озабоченно озирался, говорил вежливо и негромко, работал на шоколадной фабрике Клейна, ходил в тяжелом черном пальто. Мама делилась с ними тем, чем питались мы сами, а он вытаскивал откуда-то из складок пальто большую плитку шоколада. Вечерами мама, всегда готовая сочувственно слушать других, сидела с ним на кухне. Темноглазая маленькая девочка никогда не говорила ни слова, никогда, казалось, не выпускала руку деда, а несколько месяцев спустя они, как и многие другие, тихо съехали, не попрощавшись.

На наших глазах приезжало и уезжало много иммигрантов, но группа старожилов комплекса, в основном семьи военнослужащих, застрявших, так сказать, в финансовом лимбе, объединяли ресурсы в общий котел и присматривали за детьми друг друга. Душными летними вечерами взрослые собирались вместе, выставив на лу-

жайку шезлонги, курили сигареты, пили вино из одуванчиков или “Сигрэм” с содовой. Мужчины разговаривали о войне, женщины поверяли секреты друг дружке, дети дурачились. Шесть месяцев спустя всем жильцам прислали уведомления о выселении. Затем снос несколько раз откладывался, и в итоге нам удалось прожить там без малого четыре года. Именно в “Лоскуте” мы впервые обрели подлинное чувство дома. Когда снос вновь переносили, почти все семьи испытывали облегчение. Им было страшно думать, что этот жизненный этап оборвется. Опять жить на чемоданах, постоянно вопрошая: “Куда нам всем деваться?” Возможно, в общежитие для перемещенных лиц, или в квартиру поменьше, или во временное жилье в другом обреченном на снос здании. Пока наши родители ломали голову над своей туманной судьбой, мы, дети, упражнялись в пофигизме. Будущее было заботой взрослых. У нас, детей, были свои испытания в нашей жестокой, но волшебной реальности: крысы, задиры, собаки, разносившие клещей, великое изобилие болезней.

Месяц за месяцем я надоедала маме напоминаниями о спинете, хотя в нашей маленькой квартирке для него явно не оставалось места.

Глория отправила почти все бабушкины вещи на платный склад. У моих родителей не нашлось денег на оплату хранения, и в итоге они всего лишились — спинета, английского фарфора, книг и санок, оставшихся с папиного детства. Это стало огромным разочарованием, и мне было больно, что все попало в чужие руки. До сих пор явственно вижу, как мои пальцы тянутся, силятся достать до клавиш из слоновой кости. Диван Джесси, раскладной, с зеленой штофовой обивкой, удалось сохранить. Он занимал чуть ли не всю гостиную. Из гостиной вела дверь в маленькую кухню, где царила пузатая угольная печка. Мы все обожали этот старомодный исполинский диван. По особым случаям или во время сильных бурь мы, трое детей, мылись вместе в ванне и надевали пижамы. А мама тем временем раздвигала диван, мы забирались на него и лакомились большой порцией попкорна. Зеленый диван много лет оставался нашим убежищем и опорой, соединительным звеном между нами и бабушкой, которую мы не застали в живых.



Сестры и брат. “Лоскут”, 1951 г.

Нас часто навещал мамин младший брат Бобби. Обычно он приносил подарки. Он подарил нам

одинаковых куколок, девочкам — в розовых сумочках-конвертах, мальчику — в голубой. Тодди хотелось розовую сумочку, а мне — голубую, и мы тайком обменялись. Тодди был очень привязан к розовой куколке. Однажды, заигравшись, он уронил ее в небольшой овраг. Заплаканный Тодди дернул меня за рукав, отвел к месту катастрофы. Я увидела, что куколка застряла на середине склона в ежевике. Тодди и Линда замерли в молчании, полные надежд, а я оценила ситуацию. Поняла, в чем моя задача, прикинула наилучший способ действий. Резво спустилась бочком, цепляясь за торчавшие в склоне камни, схватила куколку и, подтянувшись на руках, выбралась наверх. Отделалась парой царапин.

Линда, она же сестра милосердия Динни, отряхнула сумочку от грязи, выдернула колючки. На лице Тодди выразилась такая благодарность, что просто сердце защемило. И Линда, и Тодди были еще совсем маленькие, еще плохо говорили, но казались мне удивительно мудрыми. Нас объединяла необъяснимая телепатическая связь. Свой отдельный язык, и самым ярким проявлением была наша игра в “Мир в ящиках” — слияние правды, которая живет в воображении, и наше общей способности мыслить, словно

коллективный разум. Когда в наказание за какое-нибудь детское преступление нас отсылали в нашу комнату и приказывали сидеть молча, мы изобрели идеальный способ связи. Мы усаживались у старого комода из кленового дерева. На каждом ящике комода была пара круглых ручек. Некоторые ручки были слегка разболтаны. Мы дожидались подходящего момента. Я подавала сигнал кивком, и мы закрывали глаза и в унисон проворачивали ручки. С легкостью поднимались на борт своего кораблика с парусами из истертых простыней, и паруса вдруг начинали сиять. Отдать швартовы! Море возможностей, по которому мы ходили, будет принадлежать нам вовеки. Без единого звука — ни радостного фырканья, ни восторженного вскрика — мы летели сквозь целый спектр синих и зеленых тонов, оттенков красного, розового, золотого и серебряного, как в самом дорогом наборе восковых мелков.

Мама сдружилась с семьей ирландских католиков, нашими соседями снизу. Лэс, Мэри, трое сыновей и Агги, их прабабушка. У Мэри на шее был глубокий шрам в форме кольца с зубами: в детстве ее укусила огромная крыса. Соседские дети боялись и уважали Агги, а я смотрела на нее завороженно. Своих бабушек я не застала, обе

умерли еще до моего рождения. Агги — она была тяжело больна, не вставала с постели — охотно читала мне сказки. Мама отчитывала меня, запрещала ее беспокоить, но Агги махала руками и поясняла, что времени у нее хоть отбавляй. На моей памяти Агги только однажды встала с кровати: крошечная-крошечная, ростом ниже пяти футов, в выцветшей ночной рубашке, с длинной, слегка растрепанной седой косой, заброшенной за спину. Порывшись в шкафу, она, наконец, отыскала “Ирландские волшебные сказки”, темно-зеленую книжку с золотым тиснением: воин поднимает щит, по бокам — две охотничьи собаки. Агги баловала меня, перечитывая мои любимые места по несколько раз. Когда она дремала, я играла с несколькими солдатиками, которых носила в кармане. Ее одеяло было для меня полем, а ее несчастный вздутый живот — горой.

Потом я слегла с корью и несколько дней не видела Агги. Когда мне полегчало, я вошла в их тихую квартиру, как входила всегда, без стука. Дверь никогда не запиралась, а Агги никогда никуда не выходила, и я рассчитывала, что сейчас ее увижу. Надеялась, она почитает мне книжку, но, войдя в ее комнату, обнаружила, что все исчезло: все ее вещи, ее мягкое одеяло в заплатках

и волшебная зеленая книга. Никто не сообразил сообщить мне, что, пока я болела, Агги умерла. В те времена детей редко посвящали в курс дела. Я постояла, гадая, что теперь делать, потом тихо села на стул, на который садилась всегда, и вообразила, что мои солдатики съезжают по стеганой горе Агги.

Недавно, когда мы с Линдой предавались воспоминаниям, я задумчиво рассказала об Агги, описала ее книгу ирландских волшебных сказок, пожалела, что уже не помню свои любимые места из этой книги. А несколько недель спустя получила загадочную посылку. Ни открытки, ни надписи. Такие посылки часто присылала мне мать. Зеленая книга с золотым тиснением, тот самый воин поднимает щит. Я не сразу решилась раскрыть книгу, но затем, сделав глубокий вдох, с упоением взялась читать про детство Финна, узнавая места, которые мне когда-то полюбились. “Все желания, кроме одного, мимолетны, но это единственное желание вечно”. Это желание обрести мудрость. Финн желал ее всем сердцем, а когда его спросили: “Что ты будешь делать, получив мудрость?”, он вскричал: “Сочиню стихи”. Читая это место, я вспоминала певучий ирландский выговор Агги, ее дрожащие руки и пламя

моего воображения.

Пришло время идти в школу, в приготовительный класс. Мне было тяжело расставаться с сестрой и братом, но в то же время снедало любопытство — какая она, школа? Автобусы туда не ходили, и я добиралась до школы пешком. В одиночку преодолевала полторы мили, от “Лоскута” до школы имени Чарльза У. Генри на Карпентер-лейн, старинной, в колониальном стиле: два этажа, стены из красного кирпича. Шла вдоль автострады, переходила по мосту через реку Скулкилл. В старые времена ленапе называли ее Тулпехане — Черепашья река. В ветреную погоду боялась, что меня сдует в реку, а если шел ливень, возвращалась домой промокшая. Вероятно, потому-то меня донимал возвратный бронхит. Но я обожала величественные здания с башенками вдали — разве с ними сравнятся заброшенные постройки в нашем обреченном на снос квартале? Сочиняла многосерийные истории о нищем ребенке, который стал любимцем короля. А потом подходила к школе и взбиралась по крутым ступенькам из известняка, входила в широкую дверь под аркой.

Потом я нашла короткий путь через небольшую рощу. Иногда по утрам надолго задерживалась

там у живописного пруда. Солнце отбрасывало ослепительные блики, и я всем сердцем верила, что это жилище духов, клочок рая. Я полюбила это тайное убежище на отшибе, хоть и недалеко от бульвара с оживленным движением. Там-то я и обнаружила старую-престарую кайманову черепаху. В те времена кайманових черепах в окрестностях Филадельфии было полно. Их ловили и продавали в рестораны — на черепаховый суп. Однажды утром черепах — я была уверена, что это "он" — медленно выбрался из пруда, с мелководья, и замер в каких-то нескольких футах от меня. Я села на камень, вцепившись в портфель — он у меня был красный, в шотландскую клетку. Смотрела как загипнотизированная. Черепах был огромный, с древними глазами, наверняка король. Мы с ним общались без слов, совсем как я с Линдой и Тодди в телепатических играх. Я вошла в его мир. Правда, где мы побывали, толком не скажу. Казалось, промелькнуло всего несколько минут, но когда я пришла в школу, учительница страшно рассердилась: оказывается, я где-то шлялась все утро, объявилась только к обеду.

Мама билась в истерике: смерть ребенка

Линдберга[2] крепко засела у нее в памяти, и она панически боялась, что ее детей похитят. Мое появление она встретила с облегчением и яростью, принялась допрашивать меня по-всякому, пытаясь докопаться, где же я была. А я могла ответить только одно: “Нигде” — разве объяснишь, где я была на самом деле? Она так разволновалась, что вмешался папа. Предложил: “Пойдем погуляем”. Попросил: “Покажи мне твое «нигде»”. Я повела его коротким путем, мимо детской площадки, и, когда мы вошли в рощу, он взял меня за руку. В роще все словно застыло. Папа сел вместе со мной на камень, и я призналась, что разговаривала с гигантским черепахом. Папа задал еще несколько вопросов, а потом мы блаженно сидели молча. Я часто вновь переживаю этот редкостный для нашей жизни момент. Мне хотелось, чтобы папа тоже увидел черепаха, но тот больше не всплывал. На обратном пути я спросила: “А маме ты расскажешь?” “Я ей скажу, что с тобой ничего плохого не случилось — ты просто замечталась, как всегда, и потеряла счет времени. А остальное

[2] Примечания: 2

В 1932 году полуторагодовалый сын знаменитого американского летчика Чарльза Линдберга был похищен с целью выкупа. Родители выплатили выкуп, но преступники не вернули ребенка. После обнаружения трупа был сделан вывод, что ребенка убили через несколько часов после похищения.

останется между тобой и мной". Отец больше никогда ни словом не обмолвился об этой истории. Мама отчитала меня за то, что я без спроса хожу другой дорогой, заставила пообещать, что я больше не буду там ходить. В тот вечер я почувствовала, что все уладилось, но немножко помолилась за короля черепах. Осознала с печалью: больше никогда его не увижу.

Мама и ее товарка по работе, Новэлла, брали на дом белье для глажки. Пять долларов корзина, деньги поровну. Однажды в субботу Новэлла повела меня и своего сына в зоопарк. Взяла нас обоих за руки, на ходу мы ели сахарную вату. Я впервые держала Новэллу за руку. Рука была большая, мягкая. И тут я подметила кое-что новое. "Тетя Новэлла, а почему твоя рука темнее моей?" — спросила я. "Ой, не знаю, детка, — засмеялась она, — такой уж меня создал Бог". На этом разговор прервался. Но, когда мы проходили мимо женщины, гадавшей за деньги на картах, эта гадалка перехватила мой взгляд и сердито зашипела. "Не обращай внимания", — сказала Новэлла. Но я встревожилась: похоже на дурной знак. Почему гадалка так сделала? Новэлла остановилась, наклонилась ко мне, заулыбалась. "Потому что ты необыкновенная. Знай и никогда

в этом не сомневайся”, — сказала она.

Сколько бы меня ни ругали за шатания без спросу, я продолжала при любой возможности исследовать мир. Сразу после Хэллоуина я отважилась на вылазку: хотелось снова поглядеть на роликовые коньки, которые я заметила на прошлой неделе в витрине магазина “Пеп бойз”. Дорогу можно было срезать по тоннелю с каменной обшивкой, ведущему прямо на Уиссахикон-авеню. Мама запрещала мне туда соваться. Облака сдвинулись, заслонив солнце, и вход в тоннель погрузился в сумрак. Я замешкалась, но солнце пробилось сквозь облака, и вспышка света озарила выход в конце тоннеля. И я различила одним глазком крохотные драгоценные камни — клад, рассыпанный поперек дорожки. Рубины, топазы и вроде бы несколько изумрудов блеснули и тут же потонули в новой волне сумрака. Передо мной промелькнули Семеро Гномов — тащат из шахты полные бочки драгоценных камней, поют: “Хей-хо!” Я потрясенно застыла, приросла к земле, но тут же спланировала свои действия. Соберу сокровища, спасу от нищеты свою семью и соседей, погашу все долги за электричество, воду и вообще. Куплю роликовые коньки, а Линда и Тодди пусть купят себе все, что сами пожелают.

Не прошло и нескольких секунд. Я ринулась к сокровищам… И замерла. На асфальте передо мной валялись сотни конфет M&M — красные, желтые, зеленые— мои рубины, топазы и изумруды, четко подсвеченные солнцем. Я никогда в жизни не видала такую уйму конфет сразу. Подобрала их, хорошенько обтерла об рукава, набила карманы. В нормальной ситуации я бы несказанно радовалась даровым конфетам, но в тот день почувствовала себя обманутой: со мной сыграли шутку мои же простодушные иллюзии. Предаваясь скорби, я, как бы назло судьбе, слопала все конфеты, ни одной не приберегла для сестры и брата.

Мое пятилетие отпраздновали без меня. Я лежала в темноте, мучаясь от сильной мигрени — правда, не такой ужасной, как у мамы — и утешаясь мыслью, что у меня это, скорее всего, от малярии, как у папы. На следующее утро я обнаружила на кухонном столе пакет от мамы; роликовые коньки на подшипниках, из “Пеп бойз”, моя тайная вожделенная мечта. Казалось, мама всегда знает, что у меня в голове, что я замышляю — и хорошее, и дурное. Она зорко следила за моими передвижениями, легко ловила меня на вранье, беспрерывно допрашивала, и

потому я старалась утаить правду, которая ни в каком утаивании не нуждалась. Вот главная причина наших конфликтов. Мама отчаянно пыталась за мной уследить и даже лепить мой характер, а я упрямо выламывалась из всех форм. Но в то же время мама умела понять, что именно для меня жизненно важно. Роликовые коньки мне очень понравились: именно о таких я и мечтала, даже сегодня вновь переживаю упоение. Надеваешь их, затягиваешь ремешки специальным ключом, чувствуешь, как вибрирует под тобой планета, когда несешься стремглав по запретным бульварам.

Приготовительный класс меня разочаровал: сидеть кружком и декламировать стишки из “Матушки Гусыни”, зубрить, что велено, в тихий час сворачиваться калачиком на столах, сдвинутых вместе. У меня ноги были слишком длинные, и вообще не спалось — я же непоседа. Подозреваю, в школе меня считали угрюмым ребенком, замкнутой одиночкой. Почти не помню, как общалась с учительницей или одноклассниками. Я предпочитала общаться с сестрой и братом и крутить в голове свои мысли, хоть и бессвязные — у меня лишь постепенно выработался язык, на котором их можно выразить. Этим языком стала поэзия.

Детство у меня было прустовское: то карантин, то долгое выздоровление. За первые шесть лет жизни меня успели потрепать самые разные заразные болезни: бронхиальная пневмония, туберкулез, немецкая корь, свинка, ветрянка. Каждый раз после начальной стадии меня надолго отправляли на постельный режим: лежа у угольной печки, где мне устраивали импровизированную больничную койку, я наглядно воображала персонажей прочитанных книг, они сходили со страниц и пускались в сочиненные мной приключения. Для меня не было ничего ужаснее, чем видеть, как доктор достает из своего чемоданчика гигантский стеклянный шприц. Я старалась подольше скрывать симптомы начинающейся болезни, часто заглядывала в истрепанный “Новый семейный травник, или Домашний лекарь”, справочник по целебным травам и природным лекарствам, унаследованный мамой от ее деда по материнской линии, сельского врача. На фронтисписе были два ангела-хранителя. Эта хрупкая книга, завернутая в полотенце, праздно томилась на нашей книжной полке. Когда мамы не было дома, я разворачивала полотенце и пыталась расшифровать содержимое книги. Иногда страницы рассыпались от

одного моего прикосновения. Я твердо решила спасти себя, сестру и брата от страшного шприца с густым пенициллином.

Вчитывалась в описания болезней в приложении к книге, а потом искала соответствующие природные лекарства. Отвар свежесобранных листьев одуванчика, лимон с медом или яблочный уксус — верные средства от легких недомоганий. Тодди не разделял моих забот — он был еще слишком мал. А вот Линда была моей союзницей. Когда у меня и Линды начались проявления неведомой болезни: жар, озноб, сопли из носа, — я раскрыла библию природных лекарств и поставила нам диагноз: дифтерия. Проглотив по добавочной ложке уксуса, мы с Линдой немедленно улеглись, забрались с головой под одеяла, хорошенько пропотели и успешно избавились от своей недолгой хвори, в чем бы она ни состояла. Нам с Линдой и сегодня отрадно сознавать, что нас связывает медицинская тайна — мы своими силами победили страшную дифтерию.

Хотя болезнь была моей постоянной спутницей, я не самоотождествлялась с книжными персонажами, прикованными к постели. Нет, я брала пример с Мэри Леннокс, дерзкой девчонки из “Таинственного сада”. В эпидемию холеры Мэри

выжила одна из всей семьи. Но эта сирота убеждает сына своего опекуна встать с инвалидного кресла. Я узнала, что Роберт Льюис Стивенсон и Л. Фрэнк Баум в детстве были прикованы к постели, но победили болезнь — окрепли благодаря мощи своих чудовищно прекрасных фантазий.

Я верила, что выжила благодаря своей силе воли и природным лекарствам. По малолетству не понимала: своим хорошим самочувствием я обязана, скорее всего, заботе окружающих. В младенчестве меня спас отец. Мать, хоть и тяжело трудилась, сидела у моей постели, когда я валялась больная. Только спустя годы и особенно после ее смерти я полностью уяснила, чем матери пришлось жертвовать, какие сложные чувства ее обуревали.

Моя мать рано осталась без опеки любящей матери. Моя бабушка Маргерита умерла еще до моего рождения. Миниатюрного сложения, зеленоглазая, задорная, играла на мандолине. Моя мама ее обожала, но случилась трагедия: у бабушки начался психоз, она стала драться, в 1932 году ее положили в больницу, и больше она домой не вернулась. Она перестала узнавать собственных детей, но они продолжали любить ее и тосковать по ней. Так развалилось когда-то счастливое му-

зыкальное семейство, и троих детей — маму и ее двоих младших братьев — сбагрили их бабушке, Олив Лили Харт. К тому времени Олив вырастила четверых сыновей. Маленьких мальчиков она приняла радушно, но мою маму — холодно и безразлично.

Маме так и не удалось размягчить жестокое сердце Олив — “Грамми”, как все ее называли. Грамми, уроженка Среднего Запада, была высокая, выглядела грозно, носила брошь-камею и юбки до пят. Она происходила из рода британских диссентеров[3], ездила верхом, вырастила своих братьев и сестер, когда их отец овдовел и перестал заниматься детьми. Такую женщину я была бы рада романтизировать, но со мной она обходилась не менее черство, чем с моей мамой. Я наблюдала, как мама стирает на Грамми — трет белье об стиральную доску, полощет, вешает на просушку, аккуратно складывает каждую вещь. Целую корзину белья настирала — и ни слова благодарности в ответ. Однажды, когда мы прощались с Грамми после визита, она достала из

[3] Примечания: 3

В Англии “диссентерами” называли пуритан и приверженцев других протестантских течений, которые отклонялись от государственной религии и, соответственно, подвергались гонениям со стороны официальной англиканской церкви.

стеклянного шкафа большую банку с леденцами и протянула Тодду и Линде, но когда я тоже потянулась за леденцом, резко захлопнула крышку. Мать стояла рядом и молчала, я взяла ее за руку и тоже ничего не сказала.

В тот вечер, прежде чем уложить меня спать, мама подарила мне сборник стихов “Серебряные пенни”, которым очень дорожила, одну из немногих вещей, сохранившихся с ее детства. Я сознавала, как много значит для нее эта книга, и приняла подарок со всей торжественностью. Мы не обсуждали странное поведение Грамми — ни с леденцами, ни с бельем. В некоторых случаях мы обходились без слов.

Слегка потрепанный сборник “Серебряные пенни” — дар нежной любви, который я получила, когда мое любопытство ничем не сковывалось. Получила без поучений и указаний, кроме совета: “Поверь”. Я размышляла над первыми строками книги: “Чтобы попасть в Страну Фей, тебе понадобится серебряный пенни. Но найти серебряные пенни нелегко”. Я была уверена: в этой маленькой книжке я найду дверь в мистический мир, желанный мне больше всего на свете. Усердно пыталась проникнуть в смысл стихов, выучила наизусть молитву эльфам и феям, проказливым

ангелам земли. “Бог и феи, приходите, вы меня не подведите. Я, дитя, вас очень жду”[4]. По дороге в школу повторяла эти строки про себя.

Я рассудила: чтобы найти серебряный пенни, нужна двуединая стратегия. Пусть сердце распахнется для других миров, а глаза все подмечают, но никого не судят. Возможно, придется выманивать стражей маленького королевства, которые хранят пенни в своей кладовой, или схватить фею за крылья и договориться — мол, услуга за услугу. Я прижимала ладонь к земле — авось почувствую шаги их крошечных ножек. Ходила, глядя под ноги — авось блеснет крыло заблудившегося эльфа: они видны только под определенным углом. Мне приходило в голову, что серебряный пенни можно еще и заработать, но некоторые загадочные стихи оставались выше моего разумения. Любимым стихам я поставила оценки — пририсовала карандашом звездочки. Больше всего звездочек получило стихотворение У. Б. Йейтса “Он мечтает о парче небес”. Жажда понимать стихи побуждала меня научиться читать получше, и под маминым руководством я освоила эти умения.

---

[4] Примечания: 4

Из стихотворения американской поэтессы Луизы Таусенд Николл (1890-1981).

Со временем мне открылось, что серебряные пенни были у меня с самого начала. Нет, не особенные монетки, а кое-что еще ценнее. Я получила это от своей матери, а она — от своей. Кладовая — этот тонкий томик, а серебряные пенни — стихи на его страницах. Поэзия, чудодейственный язык, столь ценимый юным воином Финном, начертила карту, а карта привела меня в царство безграничного воображения.

Мне не терпелось перейти в начальную школу. Думала, там царит свобода — как-никак, передо мной откроются двери библиотеки, где полно детских книг. Что ж, я освободилась от зоркого маминого присмотра, но попала под власть строгой, неумолимой учительницы. Первые несколько месяцев тянулись уныло: мы читали “Игры Дика и Джейн”[5], где также действовали их пес Спот и философствующий садовник Зик. Этот учебник я проглотила мигом, и на уроках меня часто ловили за чтением книг по собственному выбору. Меня спрашивают — а я где-то витаю. Приказывают встать, и я растерянно стою, разглядывая свои ноги. “Твои ноги не знают ответа”, — отчитывала

[5] Примечания: 5

Учебное пособие для начальной школы. По нему учились читать несколько поколений американских школьников.

меня учительница.

Моей единственной отрадой было раскладывание инструментов перед уроком чистописания: стеклянная чернильница, маленький пузырек с чернилами (его выдавали в школе), стандартная перьевая ручка и три перышка в синем, без картинок, спичечном коробке. С правой стороны парты было отверстие для чернильницы. Правда, отверстие было широковато, и несколько раз это становилось причиной катастроф. В мою парту въелись роршаховские кляксы — память о моих предшественниках. Прилежно трудясь, я скоро добавила к ним свою отметину — капельки чернил пятнали дерево, пачкали пальцы и рукава. Я любила заполнять прописи за маленькой партой. В широкие, высокие окна лился свет солнца, рассыпая лучезарные лоскуты на истертых, неровных половицах. На чтении и математике я часто ловила себя на том, что заглядываюсь на окна, предаваясь каким-то неотчетливым мыслям. Но на чистописании такого никогда не случалось. Я с нетерпением ждала, когда мы перейдем от печатных букв к письменным. Даже сегодня явственно вижу одноклассников: головы склонены над широкими разлинованными листами, перья скрипят в унисон. Я присоединялась к общему

хору, выписывая кружочки и волнистые линии, которые когда-нибудь сделаются буквами, а затем — сплошной цепочкой слов. Я наблюдала, как отец заполняет чеки, так восхищалась его изящным наклонным почерком, что со временем стала ему подражать — повторяла его подпись на аннулированных чеках снова и снова.

Казалось, все, что происходило на школьном дворе, вынуждало меня забиваться поглубже в угол, наблюдать со стороны. Здесь я уже не была командиром своей верной армии. Топталась в одиночестве у забора. Там-то я и подслушала, как моя учительница шепнула другой, что я — гадкий утенок, точно из сказки Андерсена сбежала. Я шла не в ногу с другими, но в мыслях вырывалась на несколько шагов вперед и из этих странствий возвращалась с трофеями — с мирами, где обитала в лихорадочных фантазиях, с мирами, вычитанными из книг или сотворенными мной самой.

В школе никто не подозревал, что у меня двойная жизнь: в классе я гадкий утенок, а в нашей маленькой разбойничьей шайке соседских ребят — негласная атаманша. Я лепила себя с Крошки Лулу из комиксов. Она жила в мире, где вообще не было взрослых. Лулу подсказывала мне,

как поступать: озорная, но принципиальная и независимая, она ответственно заботилась о младших. Совсем как Лулу, я рассказывала сказки, режиссировала игры, рисовала географические карты, разрабатывала замысловатые стратегии воображаемых битв и дрючила рядовых в учебке. Мы звались “Банда приятелей”, у нас были свои секретные пароли и сигналы. Мы играли в те же игры, что и наши родители: “Море волнуется”, “Третий лишний”, “Цепи-цепи, вам кого?”, но больше любили игры и сражения, порожденные нашим коллективным воображением. Мы были средневековыми рыцарями — мечи из картона, оклеенные фольгой, вместо щитов — крышки от мусорных ведер. Зимой играли в войнушку в бункерах из тщательно утрамбованного снега, с самодельными картами и невероятно сложными боевыми заданиями. Раненых — на перевязку, врага простить. А затем мне, генералу, старались не досаждать — я должна была обдумать завтрашние передвижения.

По воскресеньям после библейской школы я обычно, надев джинсы “Ренглерз” и красную клетчатую рубашку, рылась на помойке. Я же неутомимая стервятница. Однажды мне попались две стопки журналов *Vogue* и *Harper’s Bazaar*,

перевязанные красной тесемкой. Тесемку сунула в задний карман, из журналов решила вырезать одежду и украшения для бумажных кукол Линды. Раньше я вырезала кукольную одежду только из прошлогодних каталогов *Sears*, которыми пользовалась мама. А теперь, раскрыв эти журналы, обомлела: с каталогами *Sears* ничего общего. Обратила внимание на женщину, которая появлялась на страницах из номера в номер. Она меня восхитила — от нее исходила огромная уверенность. Я положила *Sears* и *Vogue* рядом, сопоставила, как там изображена жизнь, — повседневность и запредельность. В чем различие? Я пыталась понять, отчего картинки в *Vogue* кажутся мне такими родными.

Невольно задумывалась: надо же, как человек может себя держать, собранно, отстраненно, с непоколебимой уверенностью. Подсознательно впитывала творчество великих современных фотографов: Пенна, Хорста, Битона, Фрэнсис Маклафлин. Интуитивно почувствовала духовное родство. Эти номера модных журналов — я продолжала изучать их все детство и юность — оставили неизгладимый отпечаток, познакомили меня с миром искусства, фотографии, стиля, расширили мой эстетический лексикон. Много

лет спустя я выяснила, что модель, которая меня так заинтриговала, — скульптор Лиза Фонсагривс-Пенн, сама грация и интеллект.

На улицах вокруг “Лоскута” было несколько домов с заколоченными окнами. Меня тянуло к дому, стоявшему в глубине участка. Двор был не маленький, не большой, зарос высокой засохшей травой, дикой морковью, которая зовется “кружевами королевы Анны”, а еще какими-то тонкими стебельками — пшеница, воображала я. Окна поменьше разбиты, дорожка, ведущая к двери с тяжелым засовом, вся заросла. Говорили, что там полно крыс и гигантских пауков, везде пыль и паутина. Однажды после дождя я замерла перед калиткой, завороженная игрой света во дворе и на облезлом фасаде. Маленький, ничем не примечательный домик с неухоженным двором выглядел мистическим, одетым в серебро, священным. В моем кармане лежали две монетки, выданные на сладости. Я провела по ним пальцем, и на меня накатило странное предчувствие. Завеса, приветливо качнувшись, поднялась, и возникла, при содействии духов, математическая формула: в один прекрасный день эти пенни однажды вернутся мне в ладони, вернутся золотом. Я кинула свои монетки на

заброшенный двор, в полной уверенности, что их не найдет там никто — ни любопытные, ни вандалы. С того дня я кидала на этот унылый дворик все пенни, которые мне доставались. Каждый цент означал, что я жертвую маленькой конфеткой “Тутси ролл”, желейным мармеладом “Перец и мята” или палочкой лакрицы. Сладости я очень любила, но вкладывала монетки в свое отдаленное будущее. С тех пор, всю жизнь, я мысленно вижу этот всеми позабытый двор, и сотни пенни озаряются светом — целое богатство для ребенка, разбросанное по земле.

Той зимой в Филадельфии самым холодным месяцем выдался январь. Мое шестилетие ознаменовалось ветрянкой. Распространилась она быстро, мы трое, словно пятнистые костяшки домино, слегли друг за дружкой. А когда выздоровели, стали участвовать в маминых походах за углем. Шли вдоль рельсов — она впереди, мы следом. Мы любили махать машинисту, когда мимо катили вагоны с углем. Потом подбирали куски угля, которые вывалились из вагонов, и собирали в корзины — кормить пузатую кухонную печку. Других отопительных приборов у нас не было. Однажды холодным днем, пока мы собирали уголь, мамина черная собака, непоседливый

коккер-спаниель, обогнала нас, выскочила на пути, и встречный поезд ее сбил. Она погибла мгновенно. Мы застыли в потрясенном молчании, а потом, как умели, постарались утешить плачущую маму. В то ветреное воскресенье мы медленно брели домой по снегу. Нас ожидали два дела — растопить печь и схоронить собаку.

Исчезновение было все равно что смерть. Сначала исчезла Агги, потом мамина собака, а потом Дана Китчен, маленький мальчик с первого этажа. Умер от рака, успев дожить только до четырех лет. Поминки устроили дома; Дану нарядили в серый костюм с галстуком-бабочкой. Все взрослые собрались в гостиной. А нам разрешили посмотреть субботние мультфильмы в комнате, где лежал в гробу Дана. Мы передвинули телевизор поближе к Дане, сели кружком. А потом Дана исчез — словно и не бывало.

Вскоре после этого я слегла со свинкой. На постельном режиме проводила время за чтением “Питера и Венди”. Эта книга была созвучна моей двойственной натуре. Совсем как Питер Пэн, этот вожак и смутьян, я абсолютно не хотела взрослеть: меня устраивало, что я еще маленькая — ведь можно замышлять всякие невероятные эскапады. Но в то же время мне была близка Вен-

ди с ее глубокой внутренней жизнью, Шехерезада потерянных мальчиков. Я разрывалась между опьяняющим уединением и нетерпеливой тягой вернуться к банде тщедушных малышей: они ведь на меня полагались, особенно при стычках с местным задирой Джеки Райли, наводившего на всех страх.

Джеки Райли был широк в кости, с огненно-рыжими волосами и таким же огненным нравом. Он часто рыскал по улицам со своей бандой, охотясь за малышами. Четырехлетний Тодди дрожал, едва завидев Джеки. Как-то в субботу моя банда назначила сбор на задворках Крысятника, после мультиков. Обычно я постоянно защищала младших, но в тот день они пошли гулять, а мне пришлось ухаживать за мамой: у нее опять началась мигрень. Приступы мигрени порой затягивались на много часов, весь день до поздней ночи, и я должна была неотлучно находиться при маме. Я наспех смазала ей лоб кремом “Бенгей”, наложила тряпку, смоченную холодной водой, поставила у кровати ведро и выскользнула за дверь.

Скатилась кубарем по лестнице, побежала вдоль казармы, догоняя товарищей. Завернув за угол, услышала знакомый плач. Тодди попался

в руки врага. Джеки, заливаясь истерическим хохотом, встряхивал малыша. Все члены нашей банды, окруженные головорезами Джеки, трепетали. Я не могла победить Джеки Райли в драке — он был намного сильнее. Мне оставалось пробежать пятнадцать футов. Я вмиг оценила ситуацию. Джеки недавно делали прививку: на правой руке у него был большой заметный струп. На глаза мне попался острый обломок шифера. Целясь в голую руку Джеки, я швырнула шифер. Он летел, вращаясь, каким-то чудом попал в цель, срезал струп подчистую, и по веснушчатой руке Джеки полилась река крови. Тодди вырвался, издевательский свист прекратился, а Джеки Райли с истошным воплем “Мама!” убежал.

То был величайший звездный час моего детства. Ни одно чествование, ни один орден, ни одно торжественное признание заслуг не сравнится с восхищенными взглядами. А восхищались не только наши, но и армия нашего заклятого врага: все вместе кричали “ура”. Меня восславляла стайка мелюзги: лица чумазые, коленки ободранные, драные майки. Стригли нас всех дома, под горшок. Когда мы возвращались, брат и сестра гордо шагали рядом со мной. Тодди поклялся вечно быть моим рыцарем. Наверху, на лестничной

площадке нас встретила Мэри Глазго, соседка, уперев руки в боки, укоризненно качая головой. Я спасла брата из лап Джеки Райли, но изменила своему долгу — бросила больную маму. Шторы были задернуты, квартира провоняла “Бенгеем”. Мэри Глазго увела младших к себе, в квартиру напротив, а мне пришлось сидеть в темноте, менять тряпки, растирать мамины виски льдом. Ее стоны оставляли меня равнодушной.

Однажды мама сказала: “Сердце у тебя каменное”. А я твердила себе: “Генерал должен быть суровым”. В такие минуты мне хотелось унести сестру и брата в мою личную страну Нетинебудет, которую ничего не связывает с миром взрослых. И только когда я стала намного старше и сама слегла с мигренью, мне стало ясно, как же мама мучилась. Мой маленький сын ухаживал за мной самоотверженно, его даже просить не требовалось — приносил холодные тряпки, тихо сидел у моей постели.

Она врезалась мне в память: во всей красе, облаченная в наряд для первого причастия — в платье и вуаль, тщеславная, как лилия. То была Сюзанна, моя заклятая врагиня, черствое дитя привилегий, высокомерная, как верблюд из сказки Киплинга. В сказке горб стал для верблюда

карой за зазнайство. А я считала свой горб знаком отличия. Стану ценить его и лелеять, думала я, он однажды материализуется, прекрасный, как мерцающая голограмма. Сюзанна жила над нами. В пестром скопище военнослужащих и иммигрантов, дожидавшихся солдатской ипотеки или направления в другое временное жилье, царил замечательный коллективизм. Но Сюзанна и ее отец всех сторонились. Они были другой породы, нетерпеливо дожидались, пока их поселят в фешенебельном особняке в Филадельфии. Они были католики, но не объединялись даже с единоверцами, которых судьба забросила в этот лимб, — ни с полунищими ирландскими католиками, ни с немногочисленными итальянскими иммигрантами.

Сюзанна уверяла, что очутилась здесь по недоразумению, и презрительно мерила всех взглядом — мол, только посмейте об этом забыть! Ее отец в кашемировом пальто взбегал мимо нас по лестнице с таким видом, будто она завалена отбросами, — на каждом шагу брезгливо морщился. Сюзанна не включалась в наши игры — просто стояла у подъезда, совсем как киплинговский верблюд, который высокомерно фыркал. Дразнила нас, изобретала нам работу: взамен

на услужение разрешала посидеть на своем велосипеде. У нее был “швинн пикси”: колеса двадцатидюймовые, тормоз ножной, никаких тебе балансировочных колес, — единственный такой велосипед на весь квартал. Как-то в субботу Сюзанна удумала кое-что новенькое: “Слабо побегать наперегонки на пустыре?” Там валялись всякий хлам и битые стекла, сквозь трещины в бугристом бетоне пробивались колючие сорняки, на грязных голых проплешинах кое-где росли живучие одуванчики. Победителю Сюзанна обещала дать покататься на своем знаменитом велосипеде. На полдня. Новость о состязании быстро распространилась. Мальчики и девочки разного возраста, дылды и коротышки выстроились в шеренгу, приготовились к старту. Вместо финишной черты был длинный забор из железной сетки, обвитый колючей ежевикой.

Я бегала резво и рассудила: если сосредоточусь, смогу выиграть. После бесконечного ожидания Сюзанна махнула рукой, крикнула: “Марш!” Я сразу вырвалась вперед, всех обогнала, словно Сакагавея[6] в крылатых мокасинах. В каких-то

[6] Примечания: 6

Сакагавея (ок. 1788–1812) — женщина из племени шошона. Помогала первой экспедиции Льюиса и Кларка, которая в 1804–1806 годах исследовала земли от Сент-Луиса до побережья Тихого океана.

нескольких футах от финиша я запнулась об бетонный наплыв. Мигом вернулась на дистанцию. Прикоснулась к забору. На щеки капала кровь — в лоб мне вонзился осколок стекла. Другие дети завизжали. А я почувствовала, что время как бы замерло. Я смогла. Я выиграла.

Мама повезла меня на трамвае в детскую больницу. Я гордилась своим боевым ранением. Мама созналась, что заплатить мы не можем, но хирург над нами сжалился. Он применил новый метод: наложил швы кетгутом, который должен саморастворяться, наклеил пластырь-стяжку. “Такая хорошенькая девочка, — сказал он. — Обещаю, шрама у тебя не будет”. А потом выдал мне повязку — носить на правом глазу, чтобы не попадал сор.

На следующий день, в воскресенье, я подстерегла Сюзанну, когда она возвращалась с мессы. Подошла к ней. Она была с другой девочкой, обе чуть постарше меня. Я схватила велосипед за руль, откинула подножку, уставилась на девочек. Они первые отвели глаза. “Покатаюсь и вернусь”, — сказала я. На двухколесном велосипеде я еще никогда в жизни не каталась, но терять мне было нечего. Я вскочила на велосипед, набрала в грудь воздуха, неторопливо, глубоко, и — правда,

далеко не с первого раза, велосипед подо мной вихлялся — укатила. Выехала за пределы “Лоскута”, помчалась в сторону Уэйн-авеню. Целый час я, девочка шести с половиной лет с семью швами на лбу, чувствовала себя чемпионкой, катаясь на двухколесном велосипеде Сюзанны.

Пусть Сюзанна виновна в жестокосердии, но мой проступок, возможно, был еще почище: я нарушила десятую заповедь, возжелала то, что принадлежит ближнему моему. Много раз, сидя напротив Сюзанны, я смотрела, как она раскладывает на ковре свои мирские сокровища. Том сказок в кожаном переплете, наручные часы с Золушкой, браслеты с брелоками, снежные шары с видами дальних стран. Но самым чудесным было платье, которое она хранила под своей кроватью, в белой блестящей коробке. Редко, очень редко она вытаскивала коробку и неспешно поднимала крышку. Там, закутанное в несколько слоев папиросной бумаги, под вуалью, приготовленной для первого причастия Сюзанны, лежало белое платье.

Перо замирает, и сердце у меня в груди — тоже. До сих пор вижу его отчетливо: белый шелк в мелкую крапинку, пояс атласный, платье-облачко. Сюзанна дозволяла мне его рассматривать,

упивалась моим обожанием. Я порывалась его потрогать, но это воспрещалось — вдруг нечаянно испачкаю? Сюзанна никогда не вынимала платье из коробки целиком, о его силуэте, длине юбок и вуали мне приходилось догадываться самой.

Платье являлось мне в мечтах — больше дух, чем платье, тюлевые воланы в форме голубя. Я живо представляла себе, как надену его и возьму свой картонный меч и щит из железной крышки. Верила, что оно волшебное — наподобие плаща-невидимки, оберегает от всех бед. В таких ажурных доспехах я все на свете смогу, сумею по-настоящему защищать брата и сестру, оберегать малышню нашего квартала от всех внешних сил. А еще я навоображала, что платье, возможно, сумеет перевоспитать мою врагиню. Все может быть — авось, когда Сюзанна пойдет причащаться к алтарю, она станет добрее.

Сюзанна войдет в сознательный возраст раньше меня. Перейдет на новую ступень жизни, одетая в белое платье с вуалью, — она ведь католичка. Наша семья не причисляла себя ни к одной организованной религии, у нас не было таких ритуалов и предметов религиозного культа. Правда, была большая семейная Библия с иллюстрациями, купленная отцом незадолго до

моего рождения.

Накануне дня, когда у Сюзанны было назначено первое причастие, я пришла к ней домой. Мы стояли бок о бок. Я была рослая для своего возраста, но Сюзанна была выше. На ее кровати со светлым покрывалом лежало приготовленное белое платье. Рядом — белые четки и молитвенник с именем Сюзанны, вытисненным золотом. Ну до чего же красиво. Я ничего не могла с собой поделать — вожделела заполучить эти вещи. Сюзанна упивалась моей завистью. Дразнила меня, разрешая смотреть, но не дотрагиваться. А еще пообещала после причастия отдать мне свой старый скапулярий на коричневом шнурке. Ей подарят новый, на белой шелковой тесемке. Я обрадовалась: в его особенную силу я тоже верила. Уже предвкушала, как Сюзанна вложит скапулярий в мои алчущие руки.

В волшебные свойства вещей я верила всегда. Еще бессловесным младенцем хватала их и тянула к себе. Вот и теперь поверила, что в скапулярий воткана тайна, которую я разгадаю. Вообразила: если я его надену, мои молитвы усилятся. Но, как обычно, придержала эти надежды при себе, попыталась изобразить, будто мне все равно.

Ничего красивее я в жизни не видала: Сюзанна

в белом платье замерла на верхней площадке. Вуаль, прикрепленная к венку из крохотных беленьких цветочков, ниспадала до талии. В руках, затянутых в белые перчатки, — молитвенник, отделанный перламутром. Поравнявшись со мной на лестнице, Сюзанна повернула голову, показала мне язык и самодовольно спустилась, высокомерная, как никогда.

Вернувшись из церкви, Сюзанна постучала в нашу дверь, поманила меня. В своей квартире она подошла к холодильнику, открыла его, достала банку майонеза. Все знали, что к майонезу я питала сильнейшее отвращение. Сюзанна взяла тяжелую серебряную ложку, запустила в банку, зачерпнула целую гору майонеза, помахала ложкой перед моим носом.

— Хочешь скапулярий — съешь вот это без остатка!

Я отказалась.

— Значит, ты не любишь Иисуса! — обвинительно сказала она.

— Нет, я люблю Иисуса, конечно, люблю!

— Раз ты его любишь — ешь. Ему это дали на кресте.

— А вот и нет. Ему дали уксус.

Мы препирались, пока мне не надоело. Я ушла с

пустыми руками, а она все размахивала ложкой с майонезом на душной кухне. Ее отец разминулся со мной на лестнице, посмотрел сквозь меня, будто я еще ничтожней привидения. Я вернулась к нам. Отец слушал по радио репортаж с бейсбольного матча.

— Пап, — спросила я, — что воины дали Иисусу пить на кресте?

— Уксус, — уверенно ответил он, снял с полки семейную Библию и прочитал мне это место из Писания.

Удовлетворенная, я взяла Библию, еще раз поднялась наверх, постучала. Открыла Сюзанна, все еще в том самом в белом платье.

— Смотри сюда, — сказала я, — тут все написано.

И показала ей страницу из Писания, доказала, что на самом деле ему дали уксуса. Она злобно вытаращилась. Спор я выиграла, но скапулярий не получила.

— Я его выбросила, — сказала она мне.

Я внутренне поежилась, вообразив, как вещь, которую я нескрываемо алкала, валяется, скомканная, на нашей кишащей крысами помойке, свернувшись среди свежих отбросов. Все эти переживания отмечены на карте моей детской

души. Я клялась вести себя лучше, но опасалась, что на мне уже лежит печать греха.

Вскоре после этого моя врагиня и ее отец-фашист покинули “Лоскут”, не попрощавшись, глядя прямо перед собой. Дети квартала провожали их презрительным свистом. Я заметила, что дверь их квартиры не заперта, и юркнула туда — прибрать к рукам оставленные вещи. На кухне была облупленная статуя какого-то святого и стопка журналов *Life*. Святого я взяла, журналы не тронула. Немного постояла перед холодильником. Вообразила, что в нем полным-полно банок с протухшим майонезом. Закрыла за собой дверь, спустилась по лестнице вприпрыжку. Мой бунтарский горб сиял.

Отец иногда баловал себя — ходил в цирюльню. Брился и стригся, а мы зачарованно наблюдали. Иногда парикмахер разрешал мне сесть в кресло и подравнивал мою челку — у мамы никогда не получалось подстричь ее по линеечке.

Однажды мы обнаружили в цирюльне корзинку с кудлатыми щенятами — парикмахер раздавал их в добрые руки. Нас пленил самый маленький в приплоде. Девочка, шерсть короткая, как у овчарки, но мастью похожа на колли. “Папа, можно нам ее взять?” — взмолились мы.

Он дал слабину, согласился. Мы назвали ее Бэмби, потому что личико у нее было как у оленя. Я к ней привязалась. Когда я заболевала, она лежала у меня в ногах.

Бороться с новыми хворями мне приходилось частенько, но я гордилась тем, что всякий раз выздоравливала. И однако же знала, что у одной девочки постарше, жившей в нашем корпусе, болезнь неизлечимая, подтачивающая силы, — волчанка. Стефани не вставала с постели, была обречена на одинокую жизнь, выздороветь не удавалось. Менялись времена года, но Стефани лишь увядала. Иногда я навещала ее, присаживалась у постели. Она напоминала мне Клару Сесеман из “Хайди”[7]: Клара была старше Хайди, а Стефани старше меня, и здоровье у Клары тоже было хрупкое — она ведь с рождения жила в большом городе, не то что Хайди. Я не сомневалась, что смогла бы помочь Стефани исцелиться, совсем как Хайди исцелила Клару, но мне не удавалось уговорить Стефани подняться с кровати

[7] Примечания: 7

Роман швейцарской писательницы Иоханны Спири (1827–1901). Девочка Хайди живет в Альпах, а затем попадает в Франкфурт и становится компаньонкой болезненной Клары. Девочки сдружились. Когда Хайди, истосковавшись по горам, возвращается в Альпы, Клара отправляется к ней в гости, и природа, а также настойчивость Хайди творят чудеса: Клара начинает передвигаться самостоятельно.

или выйти из дома на солнышко.

Мама Стефани поощряла мои визиты. В ее комнате было красиво. Полки уставлены талисманами и безделушками, а еще была коробка от сигар с коллекцией брелоков и шкатулка с крохотным серебряным ключиком — для драгоценностей. Стефани и я всегда сидели в ее комнате одни. Никаких драгоценностей она не носила. Лицо у нее было бледное, волосы заплетены в косы. Иногда она погружалась в дрему, а я сидела и читала ее комиксы. Если честно, в гости к Стефани меня влекло именно ее собрание комиксов, особенно про Супермена — у нее были все до одного выпуски.

Как-то ранним зимним вечером, когда я увлеченно вела одну из наших гражданских войн, я вдруг почувствовала зов Стефани. Нехотя бросила игру и поднялась к ней. Она была совсем снулая, и я скоро заскучала, захотелось вернуться в поле, строить с ребятами снежную крепость. Должно быть, Стефани почувствовала, что мне неймется уйти. Она попросила меня принести шкатулку, объяснила, как ее открыть. Когда я медленно приподняла крышку, зазвучала какая-то мелодия, закружилась маленькая балерина. Уловка Стефани сработала: украшения в маленьких отсеках,

выстланных бархатом, меня пленили. Я знала, что такое хорошо и что такое плохо, но в тот зимний вечер, пока Стефани дремала, обложенная горой подушек, я стащила из ее шкатулки брошку в виде фигуристки.

Когда Стефани открыла глаза, я все еще сидела в изножье ее кровати. Я подумала: “А вдруг она знает, что я сделала?”, но она и словом об этом не обмолвилась. Возможно, если бы я попросила, она сама подарила бы мне брошку. А что я вместо этого сделала? Взяла да обокрала подругу, прикованную к постели. Не предвидела последствий своего поступка: угрызения совести накатывались волнами, парализуя, лишая сна. Я по-прежнему ходила к Стефани, но с растущей тревогой. Когда ее мать разговаривала со мной, я не поднимала глаз. Но никто ни разу не упомянул о брошке.

Во встроенном шкафу, под расшатанными половицами, хранилась моя тайная заначка. Броский мусор, собранный на помойке: обрывки и обломки бижутерии, бусинки от четок, глиняные животные из рождественских вертепов. Все это сторожила моя старая голубая зубная щетка. Я верила, что щетка волшебная: когда я чищу зубы, она говорит со мной без слов. Когда мама

заменила ее новой, не способной к телепатии, я спасла старую из мусорного ведра и положила ее рядом с облупленным гипсовым святым. Там-то я и спрятала прикарманенную фигуристку, в пыльном нижнем мире под половицами.

На день рождения, 30 декабря 1953 года, когда мне исполнилось семь, мама сделала сюрприз — мы впервые вместе поехали на трамвае в книжный магазин “Лири”. Он занимал большое трехэтажное здание с покатой крышей. Четыре этажа книг, если считать полуподвал, плюс мезонин. Детские книги продавались на верхнем этаже. Я гордо предъявила мистеру Лири свое свидетельство о рождении и заплатила ему доллар. Согласно политике фирмы, каждый ребенок в день своего рождения мог по своему выбору набить целый пакет книгами. Мама оставила меня выбирать книги и ушла на работу в “Стробридж”, в паре кварталов от магазина. Эти несколько чудесных часов в окружении книг я провела в полном уединении. Целое утро полного ликования. Мистер Лири заглянул проверить, как у меня дела, осмотрел мои стопки книг — я их сортировала, отбирала самые желанные. “Да у тебя глаз-алмаз”, — сказал он, взяв в руки “Рождественскую песнь”: переплет из зеленой мягкой

замши, имя Диккенса вытиснено золотыми буквами. В свой обеденный перерыв мама вернулась за мной. Мистер Лири сказал, что я выбрала столько дорогих книг, что он скоро прогорит. Я смутилась, вызвалась вернуть ему половину. Он книг не взял. Более того, подарил мне знаменитую фирменную закладку магазина “Лири”. На ней был нарисован джентльмен из старинных времен: стоит на красном табурете-лесенке, выбирает книги.

Сколько бы я ни конфликтовала с мамой, в тот день зародился новый уникальный, между нами двоими, ритуал, основанный на том, что мы обе были страстные книгочейки. Как бы сложно ни складывались наши отношения, мама зорко примечала, какие вещи для меня важны. С тех пор она, пока была жива, непременно дарила мне на день рождения книги — от “Близняшек Бобси” до Уильяма Блейка и Бодлера. Моей любимой книгой из выбранных в то блаженное утро стала “Алиса в Стране чудес”. То, чего мне и надо, — я ведь желала нелинейных приключений. В Алисе я узнавала себя, восхищалась ее отвагой и независимостью. После своей долгой беседы с королем черепах я ничуть не сомневалась в достоверности ее долгих споров с лесными обитателями.

Глава “Синяя Гусеница дает совет” наталкивала меня на размышления.

“Кто ты такая?” — спрашивает Гусеница.

“Кто я такая?” Я и сама часто задавала себе такой вопрос. Родные меня абсолютно устраивали — я не жалела, что они такие, какие есть. Но невольно чувствовала: я от рождения словно бы другой породы. А ведь любовью я обделена не была, причина крылась в чем-то другом. Алиса обыскала всю Страну чудес, а потом все Зазеркалье, надеясь найти свое верное подобие. А я задавалась вопросом, отчего так отличаюсь от родных — и наружностью, и нравом. Всматриваясь в их лица, не находила своих черт. Наши соседи лукаво подшучивали над этим фактом.

В те редкостные моменты, когда нам дозволялось посмотреть семейные фотоальбомы отца и матери, я исподтишка искала подобие себя на любительских снимках дедушек и бабушек, теть, братьев и сестер. И однажды подметила кое-что важное, рассматривая пожелтевшее фото из газеты. Мой отец разрывает грудью финишную ленточку. Пришел первым на состязаниях по бегу в Нью-Хейвене, городе его детства. Я тоже бегала быстро, быстрее всех детей в квартале. Спросила: “Можно я ее возьму?”, и мама вставила вырезку

в маленькую жестяную рамку. Вот для чего я пришла в мир, рассудила я. Чтобы пробиваться сквозь стены, рвать грудью финишные ленточки. “Вот кто я такая, — прошептала я. — Я — это ты”.

За вступление в сознательный возраст приходится расплачиваться. Вскоре после седьмого дня рождения я опять слегла с бронхитом. И, пока шла на поправку, осознала со всей остротой ужас своего поступка. Я обокрала девочку, прикованную к постели; я-то могу свободно бегать на улицу и играть, а она не может. Цена взросления — угрызения неумолимой совести. Это от нее пытался сбежать хулиганистый и любопытный Пиноккио. Я свою совесть запятнала. Именно это мы томительно жаждем себе вернуть — детскую чистоту помыслов, ключ к Божьему царству любви. Когда мама Стефани стала упрашивать меня навестить ее снова, я не смогла отказаться. Стефани еще больше притихла и побледнела. Пока я читала ее комиксы, она заснула, и меня осенило: может, пока она дремлет, сумею сунуть брошку в шкатулку, на прежнее место?

Когда Линда тоже пошла в школу, мне вверили заботу о ней: переводить ее через мост над рекой Скулкилл, всегда и везде держать ее за руку. Когда зимой кружила вьюга, мы пробирались по мосту,

вцепившись друг в друга, страшась порывов ветра. Ну разве могла я поделиться с невинной сестрой своими мучительными переживаниями? Мало мне было зависти, страшного греха, — я еще и стала мелкой воровкой. По ночам чувствовала: брошка тут, рядом, и серьезность проступка в моем понимании нарастала. Я боялась, что брошка восстанет из-под половиц, глянет укоряюще: фигурка в юбке с воланами, на серебряных коньках.

Несколько дней я невольно поднимала глаза к окну Стефани: мерещилось, что она меня зовет. Решила сознаться — не втихую подложить брошку в шкатулку, а чистосердечно признаться. Положила брошку в карман, постучалась к Хольтам. Нервно дожидалась, пока откроют. Открыла ее мать, сказала: “Приходи на днях, сегодня нельзя”. На следующий день я опять пришла. Мать Стефани, чем-то обеспокоенная, рассеянно глянула на меня и снова сказала, что Стефани не в состоянии принимать гостей. Я угрюмо поплелась домой; брошка, завернутая в салфетку, осталась в моем кармане. Несколько дней спустя, после уроков, я еще раз сунулась к Стефани. На сей раз мне не открыли, и я ушла, растерянная, с ощущением, что от меня отгородились. Снова

убрала замусоленную салфетку с печальной контрабандой под половицы. Пришел февраль, и сурок увидел свою тень.

Я читала сестре и брату “Дика Трейси”, разложив на полу воскресную газету. Дело было вечером, в воздухе висело огромное напряжение. Обычно мы втроем залезали в ванну, мама отмывала нас по очереди, а потом мы надевали пижамы и всей семьей смотрели начало “Шоу Эда Салливана”. Но в тот вечер пришла какая-то незнакомая женщина, уложила нас спать рано. Оказалось, Стефани увезли в больницу, и соседей попросили сдать для нее кровь. Мои родители долго не возвращались, и я не могла заснуть. Помню головную боль, а еще странное ощущение — словно я в каком-то другом мире. Я уговорила нашу временную няню разрешить мне лечь на зеленом штофовом диване, укрывшись одеялом. Няня смотрела телевизор, а я пыталась вообразить, что сейчас происходит в больнице, — плохо представляла себе, что значит “сдавать кровь”. У меня была новая мантра: “Пусть тебя обойдет беда”; я беззвучно декламировала ее, обращаясь к Стефани.

Я чувствовала себя ребенком, но в то же время древним существом, живым реликтом перво-

бытной культуры. Больше всего мне хотелось, чтобы всесильный добрый гений подхватил меня на ладонь и унес; я повелела бы ему обратить время вспять, чтобы я могла сесть в изножье кровати Стефани, неторопливо открыть шкатулку, шкатулку цвета роз и слоновой кости, и, хотя медлительное кружение балерины действует на меня, как гипноз, на сей раз я не стану копаться в ее вещах, даже не притронусь к ее часикам и ожерелью, не возьму брошку-фигуристку. Мне было больно думать, что мы обречены жить в линейном времени. Если для Бога время ничего не значит, отчего мы должны страдать? У нас наверняка когда-то была способность жить иначе, как народ путешественников во времени. Я лежала на диване, пытаясь вернуться в прошлое как можно глубже, к самому началу своих воспоминаний, намного глубже той минуты, когда мои пальцы приподняли крышку шкатулки. Разыскивала древний портал. А он существовал на самом деле, совершенно точно.

Родители вернулись поздно ночью, лица помертвели от изнеможения, все усилия пошли прахом. Пока мама сдавала кровь, Стефани впала в кому. А папину кровь признали непригодной — у него ведь до сих пор случаются приступы

малярии. Папа осунулся, у мамы глаза были заплаканные. Она вспылила, увидев меня: отчего это я на диване в гостиной и вдобавок не сплю? Но женщина пояснила, что мне нездоровится. Сняв перчатки, мама обнаружила: лоб у меня горит, на груди алая сыпь. Решила, что я подцепила какой-то новый штамм кори. Побежала мочить тряпки холодной водой — прикладывать к моим глазам. Я и сегодня отчетливо чувствую, как намокла моя челка, каким было одеяло на ощупь, чувствую ауру нарастающей лихорадки.

К утру меня так залихорадило, что мама вызвала врача. Помню встревоженные, испуганные лица, мокрые простыни и ощущение, что мои ступни не дотягиваются до пола. Оказалось, я заразилась скарлатиной — при том что в Филадельфии и окрестностях больше ни одного случая не зафиксировали. Меня немедля поместили в карантин. Педиатр сказала, что детей, заболевших скарлатиной, обычно держат дома примерно две недели, но сейчас бушует эпидемия полиомиелита, и она рекомендует выделить еще несколько недель на выздоровление. Пришел человек из местной санэпидстанции, прикрепил к нашей двери большую табличку “КАРАНТИН”. Моих брата и сестру спешно увезли к родственникам.

В тот же день Стефани Холт умерла от уремии в Абингтонской мемориальной больнице. Ей было двенадцать лет. Значит, мне никогда уже не удастся погреться в лучах ее всепонимающего взгляда, так и не удастся загладить свой грех. Меня никогда не накажут — никто и не подозревает, что я натворила. Перспектива гореть в адском пламени была мне не так страшна, как немилость Бога. Через несколько дней после смерти Стефани я унаследовала часть ее вещей. Ее мать, убитая горем, отдала мне комиксы, о которых я вожделенно мечтала, и коробку со всеми брелоками, которыми я так восторгалась. В эти дни я не могла наслаждаться этими богатствами — слишком сильно болела, но голова у меня работала, и я уяснила страшную иронию этого подарка.

Затяжная лихорадка и большие дозы пенициллина наверняка были причиной галлюцинаций. Я чувствовала, как поднимаюсь на несколько дюймов, срываясь с матраса, руки и ноги удлиняются, а ступни разрастаются до великанских размеров. К постели медленно приближалась медсестра, удерживая в равновесии шприцы на серебряном подносе. Голова у нее была не человеческая, а лисья, с рыжей шерстью. В шприцах был густой пенициллин. Как же медленно, казалось

мне, он растворяется в крови. Я была не в силах встать с постели и разыскать полуистлевший прадедушкин травник. Но втайне полагала: все равно подходящего лекарства в нем нет, ведь у меня не только скарлатина, а что-то, засевшее намного глубже, непобедимое. Скарлатина стала моей мистической болезнью. Она украдкой проникла в меня в тот самый момент, когда Стефани испустила дух.

И все-таки в одном я была уверена: победа останется за мной. Я буду как Джо Марч: она сочиняла истории, черпая их в своем горячем, как лихорадка, воображении. Ее сестра, милая Бет, умерла от осложнений скарлатины. Джо, потеряв Бет, написала в память о ней роман, который стал классикой. Читая “Маленьких женщин”, я оплакивала Бет, но понимала — я ей не чета. Я останусь жить. Правда, тогда я даже не воображала, что однажды, по примеру Джо Марч, возьму в руки перо. Прошло десять дней. Я все еще была слаба, кожа облезала. Мама еще несколько недель держала меня в четырех стенах, не только из-за эпидемии полиомиелита. Она боялась, что скарлатина даст осложнение — ревматическую лихорадку. Родители уходили на работу, брат и сестра жили у родственников, а я лежала одна

со своими книгами, облокотившись на подушки, слушала папину любимую радиостанцию — она передавала классику. Иногда услышанная музыка вселяла в меня чувства, которые я не умела описать словами. Как-то утром я услышала несказанно красивый голос, словно бы перенеслась в другую вселенную. Записала на бумажке название песни — точнее, арии из “Мадам Баттерфляй”, и стала слушать радио внимательно — надеялась услышать ее еще разок.

В том году Пасха была поздняя. Мама приготовила серое платье с красной лентой. Я вконец исхудала, волосы у меня поредели. Самая быстрая бегунья квартала теперь едва держалась на ногах. Отец повел меня на воздух, и я впервые с начала февраля вышла из квартиры. Отошел подальше, поманил меня — и я пошла, дергая ногами и руками, но решительно. Увидела, что Тодди и Линда просияли от радости и облегчения, когда я сделала первые неуверенные шаги и не стала останавливаться. Скоро снова помчусь по “Лоскуту” сквозь высокий бурьян, и меня никто-никто не обгонит.

Вернувшись после первого дня в школе, я обнаружила, что все мои пожитки исчезли. Мой любимый облезлый кролик, моя голубая пижама,

все брелоки и комиксы Стефани, включая самый первый выпуск “Супермена”, сложили в топку в подвале, превратили в обеззараженный пепел. Сожгли все, выполняя требования санэпиднадзора. Я страшно горевала, но смутное чувство, что это справедливое воздаяние — чаши весов правосудия уравновесились, — частично притупило боль потери. Меня пронизало неослабевающее чувство милосердия, исходившее не с небес, а от призрака девочки в ночной рубашке, обложенной подушками на одре болезни. Она меня не перебивала, когда я трещала о своих планах повидать мир: пагоды Киото, соборы Франции, пирамиды и Тадж-Махал. Стефани, бледный ангел покаяния, прожила на свете слишком мало, чтобы их увидеть. А я в своих путешествиях повидала много всего подобного и в конце концов простила себя за то, что выжила.

Взрослеть мне не хотелось. Я ни капельки не стремилась влиться в мир взрослых — в нем столько обязанностей, не продохнуть. Хотела свободы: рыскать по свету, выстраивать, комната за комнатой, архитектуру моего собственного мира. Но механизм неизбежных изменений уже готовился включиться. Я больше всего сопереживала сорным деревьям и грустила, когда их вырубали.

В них еще теплилась жизнь, и их тонкие ветки сочились какой-то молокообразной жидкостью. Райские деревья — так они называются по-научному — считались помехой, но мое сердце, сердце лгуньи, им сочувствовало. Я надолго задерживалась у железнодорожных путей, где сорные деревья все еще чувствовали себя вольготно. Я здорово вымахала за лето и чувствовала, что эти деревья такие же, как я, — они тоже росли быстро. Вы мой бамбук, шептала я, вы принцессы товарных станций.

Маминой опорой был ее самый младший брат, Бобби. Он был хороший человек и никогда не производил впечатления взрослого, было в нем что-то простодушное. В жизни ему не очень повезло, но в глубине души он, бесспорно, был праведник. Когда пришло очередное, более суровое извещение о выселении, мама взяла решение в свои руки и поехала с дядей Бобби на машине в Саут-Джерси. Надеялась отыскать по сходной цене жилище, где поместятся семья из пяти человек, плюс собака и кошка. Где-то вычитала про новый небольшой поселок, который назывался Вудбери-Гарденс, выбрала участок, а также самую недорогую модель дома. Дядя Бобби повез нас смотреть участок, пока папа был на работе. Он на-

ходился в конце дороги. По бокам — болотистые низины. Дорога уходила дальше, делала поворот к забору гигантской свинофермы. А сам участок был какой-то укромный. Задний двор длинный, узкий, пологий. Напротив, по ту сторону дороги — поле площадью несколько акров. Его хозяева были квакеры. На поле — два амбара: старый, черного цвета, и другой, поновее, с надписью “Хоудаун”[8] над дверью. К полю примыкал персиковый сад. Дом стоил 9999 долларов. Ипотеку дали под высокие проценты, родители погашали ее целых тридцать лет. До сих пор, как подумаю об этом — сердце разрывается.

По выходным мы ездили посмотреть, как неспешно строится наш будущий дом. Мама хотела, чтобы нам жилось лучше. Но мы, дети, были уверены, что нам и на старом месте отлично живется. И все же “Лоскут” постепенно пустел. Я печально наблюдала, как заброшенные земли вокруг него расчищают под застройку. Атмосфера становилась все мрачнее, но из сумрака блеснул нежданный свет — новая подруга. Клара была некрасивая, сероглазая, русые волосы заплетены в косы. Я проходила мимо ее дома, если возвра-

[8] Примечания: 8

Народный танец типа кадрили. В переносном смысле — шумная вечеринка.

щалась из школы другой дорогой. Однажды она поманила меня рукой, пригласила сесть рядом на кресло-качалку на террасе, затянутой москитной сеткой. От движения меня мутило, и мы крепко упирались ногами в пол, чтобы кресло не раскачивалось. Клара раскрыла книгу на своих коленях. Там было полно картинок — самые разные экзотические растения и травы. Она хотела заниматься наукой, может быть, ботаникой.

С террасы я могла заглянуть в дом, но внутрь меня не пригласили. Я пообещала вернуться и на следующий день притащила старый тяжеленный учебник дяди Бобби. С уймой иллюстраций: одноклеточные животные, амфибии, планарии, изгибы ракушек, ракообразные в разрезе. Клара не могла наглядеться. Она впитывала знания жадно — совсем не то что Стефани, смотревшая на мир без любопытства. Следующие несколько недель я навещала Клару, как только удавалось улизнуть из дома.

Клара жила с дядей, вечно встревоженным, нервозным. Он поглядывал то на свои карманные часы, то на пустынную улицу по ту сторону сетчатой двери. Он приносил нам чай в тяжелых стаканах, привезенных из Богемии, где они жили раньше. Клара показала мне вазочку рубинового

цвета с гравировкой — крохотными белыми оленями. Может быть, это ваза ее мамы, подумала я, но расспрашивать не стала. Мы почти не разговаривали — общались без слов, неспешно рассматривая страницы одной и той же книги. Я полюбила там бывать: на нас нисходил покой, мы подолгу молчали, не мешая друг другу. Иногда улыбка перерастала в смех — смех попросту беспричинный. Однажды мы так расхохотались, что в дверях появился ее дядя, и солнце на миг проглянуло сквозь облака, и дядя тоже улыбнулся. Мы по очереди подметали террасу, собирали граблями первые опавшие листья.

В один холодный день, зайдя к Кларе после школы, я увидела, что глаза у нее заплаканные. Она сказала, что они скоро отсюда уедут. Мы держались за руки, сидя, как всегда, в кресле-качалке. По дороге домой я попала под внезапный ливень. Ступила в лужу, промочила ноги, простудилась. Мама выпустила меня из дома, только когда я совсем поправилась. Что ж, проболела я лишь несколько дней. Выздоровев, взяла из книжного шкафа толстый серый учебник — подарю Кларе, даже если меня за это накажут. С радостным предвкушением побежала к ее дому. Но, увидев его, похолодела: кресло-качалка застыло недвижно,

дверь приоткрыта. Уехали, поняла я. Оставила книгу снаружи, впервые переступила порог их дома. Обыскала комнаты: обстановка скудная, ни одной безделушки, никаких следов присутствия людей. На полу в маленькой спальне лежала Кларина книга по ботанике. Несколько страниц вырвано. Я вообразила Клару на тропе среди разбросанных цветных гравюр с образцами флоры и фауны. Клара была какая-то бестелесная, печальная.

Наконец пришла пора снести подчистую старые дома, в том числе домик Клары и наши давно обреченные корпуса. В памяти фасады и пустыри неизменны, в памяти я иногда возвращаюсь в ее комнату, где сквозь ситцевые занавески струится пестрый в крапинку свет, долго не меркнет на деревянных половицах. Нечеткие контуры кресла-качалки — оно смутно движется. Внезапное исчезновение Клары подействовало на меня иначе, чем смерть Стефани. Я так и не смогла никому доверить тайну своей дружбы с Кларой. Это был только мой секрет, и со временем мне пришлось самой себе доказывать, что Клара существовала взаправду.

Стефани дала мне историю, которую можно рассказывать другим, подсознательный урок

нравственности, но в конечном итоге именно Клара сподвигла меня к писательству, хотя во времена нашей дружбы я для него еще не созрела. Белые пятна в истории Клары стали этакой гаммой, которую я играла неслышно; ловила себя на том, что прорываюсь сквозь мембраны, мысленно ползу сквозь вакуум. Воображаемые приключения девочки из Богемии, девочки с толстыми косами, серыми глазами и щуплыми квадратными плечами: Клара — ботаник, Клара — заядлый сыщик, Клара отправляется на пароходе в экспедицию в дождевые леса Амазонии. Эти истории я никогда не записывала, их место — на пороговом этапе, когда мое становление даже не начиналось.

Пришло извещение об окончательном выселении. Все жильцы покидали “Лоскут”, мы отправили на склад почти всю мебель. В середине октября по Филадельфии пронесся ураган “Хейзел”, один из самых грозных в 1954 году. Мама страшно перепугалась. По ее приказу мы несколько часов лежали ничком под кухонным столом. Выл шквалистый ветер, молнии били в окрестные деревья, электричество вырубилось. Деревья повалились, загородив вход в “Лоскут” своими огромными стволами. Отец всю ночь в

темноте, под ливнем, на ураганном ветру, лазил по валунам и обломкам. Утром я вместе с ним вышла на улицу посмотреть, велики ли разрушения. Толстое дерево упало на крышу дальнего корпуса, провалилось прямо в детскую, где спал младенец. Отец вместе с другими мужчинами поднял толстый сук, под которым оказалась кроватка. Младенец, заблокированный в ней, не пострадал; все назвали это чудом. Буйство разрушительной стихии соперничало с продолжавшимся сносом кварталов, и мы с удовольствием взбирались на обломки, которые никто не удосужился убрать. Меж тем надвигалась безжалостная зима.

30 декабря 1954 года, мой день рождения, стал нашим последним днем в “Лоскуте”. Я поднялась по лестнице, разглядывая свои ступни. Я носила оксфорды — туфли на шнуровке. Ступни у меня росли очень быстро, и оксфорды мне всегда покупали на вырост — а то никаких денег не напасешься. Мыски я набивала туалетной бумагой. В неполный год отроду я сделала первые шаги на чикагской кухне. Научившись ходить, так и норовила удрать от мамы — а она тогда была на восьмом месяце беременности. Мое юное сердце печалилось оттого, как быстро пролетело время, и я с каким-то ностальгическим рвением обошла

все любимые места. Разоренная богадельня, голенастые сорные деревья, заброшенный домик с заросшим двором. Швырнула на священную землю свои последние пенни. Проводила их взглядом: они провалились в снег. И пообещала: в один прекрасный день я о вас расскажу.

На следующее утро, в канун Нового года, мама торопила нас — дядя уже ждал в машине. Я мешкала, билась над своей дилеммой. Брошка с фигуристкой, опирающейся на блестящие цифры “1952”, так и оставалась под половицами. Натягивая пальто, я приняла решение. Мне было восемь; новый год уже расправлял крылья. Не стану забирать свои диковинные сокровища — брошку, гипсового святого и зубную щетку-телепатку. Я даже не сказала им “прощайте”. Просто ушла.

Промежуточный пункт назначения выбрала мама: поменяла один обреченный жилой комплекс на другой. Наша семья, покинув “Лоскут” одной из последних, оказалась в числе немногочисленных жильцов в доме под снос на улице Ист-Бристоль в районе Хуанита, в северо-восточной части Филадельфии. Полгода в режиме ожидания, пока не сдадут наш дом в Саут-Джерси. Лучший вариант, который тогда был маме по средствам. Всего лишь в четырех милях от

нашего любимого “Лоскута”. Но “Лоскут” мы больше никогда не видели. Линда, Тодд, я — все мы неосознанно носили по нему траур.

Наше новое жилище окружали пустующие здания. В моей памяти тот район — абстрактное полотно, страдающее гепатитом: болезненно-бледная желтизна, перечеркнутая по диагонали красной полоской, ряды кирпичных домов, сросшихся стенами, и ядовитые дымы в небе. В то время я зациклилась на детективах, жадно читала книжки о Нэнси Дрю и Трикси Белден. Жутковатая атмосфера окрестных улиц была мила моему уму сыщика-любителя. Соседей у нас не было, кроме двоих братьев, которых сплавили на попечение их полуслепой бабушки. Братья Догерти, хулиганистые, агрессивные, играли в ножички не перочинными ножами, а мясницкими тесаками, убивали крыс молотком. Я их не боялась, но они были выше меня ростом, и я держалась от них подальше.

Мы с Линдой ходили пешком в школу имени Фрэнсис Хопкинсон, похожую на гигантскую психиатрическую лечебницу XIX века. Идти было недалеко — всего три квартала. Приятная перемена после Джермантауна, где мы таскались в школу за две мили, а школа больше походила на

загородный дом. Январь выдался теплый, помню солнце, которое не отбрасывало теней — городские трущобы кисти Де Кирико.

Однажды утром Линде нездоровилось, ей пришлось остаться дома и полежать. Я зашагала в школу в своем резвом темпе. Обычно я подлаживалась под Линду, а она, как могла, пыталась за мной угнаться, а если отставала, растерянно улыбалась. Присутствие сестры меня успокаивало, без нее во дворе нашей новой школы было одиноко. Нет, надо мной никто не издевался — просто в упор не видели и уж тем паче никто не считал меня кумиром. Я носила клетчатую повязку на глазу — исправляла косоглазие, череда болезней оставила отпечаток на моей наружности, а мой коричневый портфель в шотландскую клетку необъяснимо вонял муравьями. Помню: перехожу дорогу быстрым шагом и вдруг поскальзываюсь на свежеуложенном битуме. Застежка ланчбокса сломалась, новый термос грохнулся на мостовую. Я заторопилась, схватила его, сунула обратно, но пришлось еще немного задержаться: вытащила шнурок из туфли, обвязала ланчбокс, чтобы не открывался. На большой перемене села за столик одна, налила теплое какао в красный пластмассовый колпачок. Гладкое стекло внутри

термоса стало похоже на карту, покрылось сетью тоненьких трещин.

Приближались местные выборы, и школу посетил один из кандидатов в муниципальные депутаты. Принес огромный лист картона. На нем были значки с развевающимися ленточками, словно боевые медали. На перемене политик предложил значки детям. Я алчно созерцала их, но мне строго воспрещалось брать подарки от незнакомых. Каждое утро, отправляя нас в школу, мама говорила: “Не садитесь в машины к незнакомым людям, не берите ничего у незнакомых”. Я стояла одна у стены. Молодой политик, наверное, подумал, что я застенчива, подошел и спросил: “Хочешь значок?” Я лишь опустила голову, промямлила: “Не хочу”. В полном унынии присоединилась к одноклассникам. Возвращаясь в класс, они шагали гордо, щеголяя значками. Я думала о медалях солдат, бегунов и великих ученых — мадам Кюри, например. Ничего, сказала я себе, когда-нибудь сделаю что-нибудь необыкновенное и сама заслужу себе медали.

Весна приближалась. Мы подмечали, что мама воодушевлена, а папы не видать — он работал сверхурочно, чтобы подкопить денег к июню, на новоселье. Однажды вечером мы, отмытые,

причесанные, уже в пижамах, уговорили маму показать нам семейные фотографии. Почти все наши пожитки хранились на складе, но коробку с фотографиями мама держала при себе — боялась потерять. Я подтащила стул к встроенному шкафу в спальне, вытянула руки, схватила с полки огромную белую коробку. Но в коробке что-то заерзало, и я ее уронила. Мама вскрикнула, из коробки во все стороны разбежались крысы. Мама в ужасе наклонилась, подняла крышку. Мы хором охнули: внутри одна труха. От драгоценных памятных снимков ничего не осталось. Свидетельства о крещении и хрупкие газетные вырезки: “Похищен ребенок Линдберга”, “Рузвельт скончался”, “Война окончена”. Первая половина XX века в объективе старинного фотоаппарата с мехами. Папа Фрэнк на ослике. Молодая Маргерита с моей мамой на руках. Мой отец в военной форме. Неизвестные нам сослуживцы. Мама в ночном клубе, с зачесанными наверх волосами. Тетя Глория в концертных туфлях отбивает чечетку. Бэмби в щенячестве. Наша троица, вооруженная хотдогами на палочках, широко улыбается в клубах дыма на барбекю у тети Дот. Все невосполнимые фотографии канули в прошлое, разодраны на подстилки для крысиного

гнезда, стали похожи на волокна жевательного табака или черные конфетти. Все фотографии, которые так притягивали наши восхищенные взгляды и занимали наши пытливые умы. Все мы горевали. Мама плакала несколько дней. Позднее я смекнула, что владею единственным уцелевшим обрывком прошлого — газетной вырезкой в старой оловянной рамке, где мой отец, блеклый, словно призрак, рвет грудью ленточку.

Гарденс

Наш отец жил в своем мире, а новый мир отдал в распоряжение нашей матери. Из убогой квартиры на Ист-Бристоль, всего за несколько дней до сноса, мы перебрались в собственный дом, практически на ранчо в глухомани. Наш двенадцатый переезд, если отсчитывать с моего рождения. Все даты тщательно занесены в мой альбом “От нуля до семи”. Поначалу переселение в деревню меня бесило, я скучала по кучам трущобного хлама, по зарослям райских деревьев на пустырях и заунывным гудкам паровозов. После квартиры жить в отдельном доме было непривычно. Наши голоса отражались эхом в пустых комнатах. Здесь было две спальни, у каждого ребенка появилась своя кровать. Мама спала на большом зеленом раздвижном диване, дожидаясь отца с ночной смены.

Поселок был небольшой, жители совсем небогатые — нижняя прослойка среднего класса, семьи демобилизованных солдат, благодарившие судьбу за первое в своей жизни собственное жилье. Дворы были голые, неказистые, выжжен-

ные солнцем. Но по ту сторону дороги землю устилали лепестки цветов персика — точно на поле битвы при Шайло. По ночам из болот выползали длинные черные змеи, были тучи комаров и мошек, полным-полно дневных бабочек. И длиннокрылые, бледно-зеленые ночные бабочки — они называются “сатурния луна”. И мускусные крысы, и сычи, а на наш двор иногда забредали дикие свиньи. Визит одного из этих щетинистых чудищ, этакого библейского бегемота, стал поводом для нашей любимой семейной шутки. Мама пошла на задний двор вешать белье. И вдруг вбегает на кухню через черный ход, с криком:

— Грант, там во дворе кабан!

А папа, уткнувшись в газету, отвечает:

— Просто не вступай с ним в разговор.

Мама для виду рассердилась, но скоро мы все захохотали. На кухне мы собирались, словно церковная община, по утрам в воскресенье — из-за графика родителей только в этот час могли побыть все вместе.

Мама ликовала: настоящий дом с кухней-столовой, где ее новые подруги могут пить кофе, курить и делиться невзгодами. Мой отец, талантливый каллиграф, начертал над черным ходом: “Друг стучит прежде, чем входит, а не после того,

как уходит". Никто из нас толком не понимал, что это значит. "Попробуйте додуматься сами", — сказал папа.

Машина была отцу не по карману, а работал он по-прежнему в ночную смену на заводе "Ханивелл" в Филадельфии. В любую погоду шел пешком на автобусную остановку, за две мили. Мама устроилась в кафетерий в немаленькой аптеке в одном из первых торговых центров в округе. Скоро стала там практически заведующей. Мы, дети, сами готовили себе ужин, обычно что-нибудь посильное: рыбные палочки, консервированное рагу или горячие бутерброды с сыром. Оставаясь без родительского присмотра, жили в основном под открытым небом, в дом заходили редко. Когда смеркалось, сбивались в кучку под черным пологом деревенской ночи, расцвеченным сияющими фигурами мифических существ.

Томасово поле было непохоже на "Лоскут", но искрилось своим особым волшебством. Этими тринадцатью акрами, почти наверняка бывшими землями ленапе, владели несколько поколений семьи Томас, квакеры. С нами Томасы разговаривали лишь изредка, но по своей доброте не возражали против наших игр в их частных

владениях. А вот фермер Бейкер, владелец сада напротив, был крайне неприветлив. Когда его персики падали на землю, мы пробирались сквозь заросли травы и подбирали их, маме на пироги. Бейкер патрулировал сад с дробовиком, заряженным каменной солью, и не раз попадал в цель. У дороги стоял нужник, которым я иногда пользовалась: наш тесный санузел часто был занят. Меня нужник ничуть не раздражал, как и муравьи, залезавшие на мои туфли. Тут все было пленительно: спать на траве, справлять нужду над ямой, брать с собой в лес перекус — сэндвич с арахисовым маслом, завернутый в бандану. Я боролась со своим независимым нравом, но продолжала совершать ребяческие преступления — исследовала запретные территории, равнодушно относилась к маминым страданиям, таскала монетки из отцовских брюк, пока он спал. Нескончаемая галерея прегрешений.

Телевизор подбрасывал новые источники вдохновения. Бастер Крэбб — мы перед ним преклонялись, когда он играл Флэша Гордона — вернулся на экран в образе капитана Галланта из Иностранного легиона. Герой Галактики, а теперь и пустыни. Тодди и я, обвязав головы красными тряпочками, ползли с самым драматичным

видом — понарошку заблудились в пустыне. А Линда с бутылкой воды прибегала нас спасать. Эти драмы об обезвоживании мы разыгрывали на дальнем краю поля, где оно примыкало к запретному для нас, довольно коварному гравийному карьеру. Там собирались мальчики-подростки, курили сигареты.

Сериал “Дэви Крокетт” с Фессом Паркером и Бадди Эбсеном пленил сердца американских детей, и мы не стали исключением. Мы играли в лесу — высматривали медведей и рысей. На церковном благотворительном базаре мне подвернулось игрушечное ружье, похожее на старинный винчестер. Ствол один-единственный, металлический, приклад деревянный. Я, совсем как Дэви, вырезала на прикладе “Старушка Бетси”. Однажды в воскресенье, когда я целилась во дворе в незримую мишень, ко мне со спины подскочил разъяренный отец. Вырвал у меня ружье, переломил надвое, швырнул на землю. И велел нам, всем троим, никогда не направлять оружие, даже игрушечное, ни на одно живое существо.

Мы сроду не видели папу в такой ярости. Позднее мама объяснила, что ему, скорее всего, вспомнилась война. Его отправили в Австралию, оттуда в Новую Гвинею, а затем на Филиппины

— сражаться с японцами. Многие из его сослуживцев погибли под огнем своих же войск. Они в испуге, поскальзываясь, брели по джунглям, кишевшим снайперами и змеями, их трепала лихорадка. Отец после малярии много лет страдал кластерными мигренями. Ранен не был, но вернулся с душевным надломом и разбитым сердцем: атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, навеки остудили его патриотизм. Столько смертей и разрушений в одно мгновение невозможно оправдать, даже при ударе в отместку. Эти события оставались одной из его самых больших печалей, он считал их уникальным позором Америки.

Дело было на летних каникулах, когда я перешла в четвертый класс. Приключения нашей троицы сменили колорит. Мы больше не подражали другим и больше не поднимались мысленно на борт своего золотого кораблика, бороздившего Млечный путь. Теперь мы были самими собой, бродили по окрестным болотам, зачарованно разглядывая странные бутоны гелониаса и василистника, держались подальше от скунсовой капусты, остерегались бумажных ос и кусачих шершней. На болотах открыли для себя рогоз, поджигали его — играли, будто курим сигары.

На другом конце поселка была большая роща с массивным холмом — тонны и тонны красной земли. Мы нарекли его Гора Красноглинье. Мы всему давали имена, и имена эти сохранились доныне. Подальше был арсенал — большое кирпичное здание. На территории стоял танк — скорее украшение, чем вооружение. Раз в месяц там устраивали танцы для подростков.

В амбаре с надписью “Хаудаун” воскресными вечерами танцевали народные танцы. Взрослые кружились в рилах и вальсах, мы носились по полю, гоняясь за светлячками, и ветер разносил звуки скрипки и топота. Если мне не спалось, я выскальзывала из дома, разглядывала высокие кусты с той стороны дороги, оплетенные колючей ежевикой. В лунном свете ее побеги словно бы вздрагивали, и однажды я убежденно поняла: это обитель Бога. Такие мысли я держала при себе, они не поддавались переводу на театральный язык наших игр. Чувствовала, что Томасово поле меня чем-то озадачивает, даже внушает беспокойство. Казалось, у него какая-то своя, особенная энергия, его жизни подыгрывает едва различимая нестройная музыка, хотя скрипачи давно разошлись по домам.



Рано утром я часто исследовала лес в одиночку, прихватив с собой Бэмби. Она была кроткая, никогда не отходила от меня, ее никогда не приходилось брать на поводок. Мы наблюдали за передвижениями головастиков в Радужном ручье, безмолвно выслеживали скрытную рыжую

лису или лежали вместе на росистом поле под широким пустым небом. Я начала ценить наш новый дом и его окрестности, особенно Томасово поле. Здесь повсюду были духи — их присутствие ощущалось отчетливо, воздух потрескивал, вокруг облаков сияли розовые нимбы. Итак, из "Лоскута" с клочками дикой природы мы попали в Гарденс, где мама сажала цветы, а папа ухаживал за живыми изгородями. Безукоризненно подстриженные, высокие-высокие изгороди просились на иллюстрацию к "Алисе в Стране чудес". Здесь была тайна — тайна, присущая не людям, а скорее самой местности, амбарам, нужнику, окрестным болотам, красной земле, в которой содержится глина для сотворения мира. Я слышала зов тайны, приглашающий воспринимать мир на еще незнакомой мне частоте. Снедало чувство, что всякий из нас уже знает все на свете, у всякого из нас уже есть свой замочный механизм и ключ. Я спрашивала себя, что я сама смогу отыскать, что я дам миру, что я смогу добавить к бесконечному океану над своей головой.

Моя мать была очень близка со своим отцом, Папой Фрэнком. И простила свою молодую мачеху за попытки ей манипулировать, когда та замышляла оставить меня в своем доме. Неожи-

данная смерть Папы Фрэнка от разрыва сердца стала для мамы безутешным горем. Я проснулась посреди ночи от звона разбитого стекла и увидела маму над осколками моей копилки: она, рыдая, пересчитывала жалкую кучку монет. Ей надо было купить билет на автобус, чтобы попасть на похороны в Чаттанугу. Мама еще много месяцев предавалась нехарактерной меланхолии, пока в нашу дверь не постучались Свидетели Иеговы[9]. Они подарили маме надежду воссоединиться с ее любимыми родителями при новой системе, после Апокалипсиса.

Скоро мама стала истовой Свидетельницей. Со временем она стала брать меня на все собрания. По части Писания я уже была хорошо подготовлена и в их общине адаптировалась быстро. Правда, иногда я находила, что принадлежность к определенной религии меня несколько сковывает. Мой отец регулярно читал и анализировал Библию, но отвергал все организованные религии, и я чувствовала, что его метод изучения Библии подходит мне лучше. Мама отдалась своей новой вере на эмоциональном уровне, но не могла полностью принять ее обязательства и постепенно

[9] Примечания: 9

В Российской Федерации эта организация признана экстремистской и запрещена.

отдалилась от общины. А чтобы сохранить прочные отношения со Свидетелями, переложила свою веру на мои плечи. Я не возражала, даже пожертвовала субботними мультфильмами ради того, чтобы ходить по домам с проповедью доброй вести. В 1950-х Свидетели Иеговы широко сталкивались с непониманием и гонениями. Когда по субботам мы стучались в двери, враждебно настроенные люди частенько обливали нас ведрами мочи и фекалий. И именно эта враждебность окружающих больше всего побуждала меня тянуться к Свидетелям Иеговы. Отец и мать поощряли мою врожденную склонность принимать сторону угнетенных и изгоев.

В четвертый класс в новую школу я пришла в матроске, с прической “конский хвост”. Это в Филадельфии я была болезненной и странной. А здесь оказалась такой, как все, разве что самой тощей и долговязой, но это, похоже, никого не коробило. Скоро обнаружилось, что бегаю я уже не быстрее всех, и я рассудила: придется отыскать что-нибудь новенькое, чтобы выделяться среди других. Поскольку я принадлежала к Свидетелям Иеговы, по утрам я не произносила клятву американскому флагу — правда, “Отче наш” читала. Меня не задевали насмешки над тем, что я

не клянусь вместе со всеми, ведь в восемь лет я начала чувствовать, что присяги на абсолютную верность чему-то — не по мне. Мне хотелось знать все на свете: про ярусы небес, про другие миры, которые, возможно, существуют, про сердцевины камней и содержание недоступных мне книг, про истинные мысли людей, которые они не высказывают вслух. Узнать, какая незримая сила держит нас в узде, что удерживает нас от действий и что к ним подталкивает. Пока все спали, круговерть этих мыслей навевала ощущение, что я заточена внутри парящей капли. Вот бы проткнуть ее пальцем — стенки испарятся, вода взметнется к потолку, найдет дырочку, унесет меня прочь.

Я победила туберкулез, скарлатину, корь, свинку и ветрянку, но в пандемию азиатского гриппа подхватила вирус A (H2N2). Казалось, враг теснит меня на всех фронтах. Дома снова объявили карантин, брата и сестру спешно переселили к соседке. Вирус, точно божество мести, был вооружен целым набором мечей. Меня лихорадило, тошнило, все тело ломило, оставалось только лежать и молиться о забытье. Откуда-то доносились голоса: педиатр разговаривала с моей мамой. Мама плакала. Помню слова врача: “Не знаю,

Беверли, выкарабкается она или нет". Я хотела возразить, но губы не слушались. Чудилось, что разговаривают где-то далеко, хотя они стояли прямо у кровати. Мое сознание пыталось докричаться до них, сказать им, что я выкарабкаюсь, но я не могла ни пошевелиться, ни открыть глаза.

Мои воспоминания об этой болезни — вроде обрывков полуистлевшей кинопленки: глотки воды, ледяные компрессы, мамино отчаяние, мой маленький череп в тисках кластерных мигреней. Помню, с какого-то момента мне все стало безразлично. На кухонной полке стояла стеклянная банка с мамиными чаевыми — деньги на продукты и непредвиденные расходы. У нас каждый цент был на счету. До меня донесся звон: мама высыпала деньги из банки, тихо вышла. В полузабытье я почувствовала, что на груди лежит что-то тяжелое. Открыть глаза не смогла — сил не хватило. Пощупала тяжесть рукой. Коробка. Внутри были пластинки, опера "Мадам Баттерфляй", и либретто на двух языках — английском и итальянском. Я не могла даже выразить свою реакцию. Мама сказала: "Ты сможешь слушать эти пластинки в любое время, но только когда выздоровеешь". И потянулась к коробке, но я ее не выпускала. Мама позволила мне еще немнож-

ко за нее подержаться.

Несколько дней и несколько ночей меня снедало желание сбежать из своего тела, и только одно желание брало над ним верх — жажда услышать Пуччини. Мамино условие, категоричное, но продиктованное любовью, сработало эффективнее, чем все дозы пенициллина и молитвы. Коробку мама поставила на тумбочку, чтобы мне ее было видно. Я то и дело впадала в забытье, голова опять гудела от мигрени, но я отчетливо ощущала, что крепну, клетки-целители в моих жилах множатся. Я пила воду, ела желе и засыпала. Изящный рисунок на коробке — Баттерфляй в японском головном уборе и кимоно — придавал мне сил.

После выздоровления я наконец-то смогла снова услышать арию *“Un bel di Vedremo”*[10], и тот самый голос — словно у небесного вестника — снова перенес меня в другую вселенную. В коробке было три пластинки с крылатыми херувимами на наклейках: их выпустила фирма под названием *Angel*. Я пыталась одолеть сложное либретто, но, если честно, понимала арию и так. Потратив все деньги из банки, мама, несомненно, много чем пожертвовала. Все это я помню. Моя

---

[10] Примечания: 10

В один прекрасный день мы увидим *(ит.)*. Начальные слова арии Чио-Чио-Сан.

жажда услышать Пуччини плюс мамина догадливость, подсказавшая, как докричаться до меня сквозь огненные валы беспощадной лихорадки, сделали свое дело. Брачный союз искусства и самопожертвования. Вот что вернуло меня с того света.

Приближался мой день рождения. Мне исполнялось десять. Больше всего на свете мне хотелось велосипед, чтобы передвигаться быстрее и странствовать одной, но родителям такой подарок был не по средствам. Мечта о велосипеде была иного порядка, чем мое жадное книгочейство и очарованность талисманами, — выражала инстинктивную потребность в свободе. Время после Рождества пробежало быстро, день рождения настал. Будничная жизнь шла своим чередом, и я разочарованно решила, что родным, наверное, безразличны мои желания. Вечером отец попросил меня помочь — надо, мол, установить в душевой кабине стеклянную дверь, на которую накопила мама. Я даже не попыталась скрыть свое отношение. Надула губы, замешкалась. Отец словно бы и не заметил. Попросил помочь ему вытащить дверь из громадной коробки. “Я подтолкну с одного конца, а ты засунь руку в коробку и тяни другой”. “Неужели кроме меня

некому?” — думала я, засовывая руку в здоровенную картонную коробку. И, к своему изумлению, вытащила голубой “швинн” с двадцатиодно-дюймовыми колесами и ножными тормозами. Я лишилась дара речи. Папа привинтил руль и подставку, и на следующее утро, второпях проглотив завтрак, я выскочила из дома и буквально полетела на велосипеде под горку. А спустя пару дней заметила, что в душе висит новая полиэтиленовая занавеска взамен такой же старой. Ради моего заветного желания мать пожертвовала своей мечтой о стеклянной двери.

Отец не разрешал мне гонять на велосипеде, но я обожала скорость. И однажды, когда я резво катила с крутого холма, навстречу устремилась целая туча мошкары. Окутала меня с головы до пят, я запаниковала, попыталась затормозить, задела правой ступней за цепь и грохнулась с велосипеда. Скорее всего, я сломала какую-то кость стопы: вспухла болезненная шишка. И все же сумела, еле ковыляя, забраться с велосипедом обратно на холм. “Включай голову”, — твердил мне отец. Мне не хотелось, чтобы он узнал, что я не послушалась. Я попросила брата замотать мне ступню пластырем. И, хотя я хромала, вроде бы никто ничего не заметил.

Позднее попробовала разобраться, в чем моя промашка. Я поддалась страху и отвлеклась от своей задачи. Надо было сохранять спокойствие, даже внутри тучи мошек, когда они лезут в глаза и нос. Мошки не ядовитые, просто надоедливые, надо было сохранить самообладание и просто проехать через тучу. Ведь грозы, например, я не боюсь, не то что некоторые дети. Часто тихонько выскальзываю из дома полюбоваться молниями. А тут сама себя разочаровала: отчего такая мелочь выбила меня из колеи?

Папа часто читал нам стихи, особенно поучительные. Однажды усадил нас на диван и прочитал “Заповедь” Киплинга. Первые строчки сразу отозвались в моем сердце: “Владей собой среди толпы смятенной”[11]. Эта мантра мне куда больше понравилась, чем папина личная “Включай голову”. Я задумалась о рыцарях в сказках: столько на них разом наваливается заповедь бед и трудных дел, а они побеждают, потому что сохраняют здравомыслие, не поддаются соблазнам, от которых их предостерегли, не отвлекаются на ерунду. Я сказала себе: “Нельзя терпеть неудачи из-за беспричинного страха. Храбро смотри опас-

---

[11] Примечания: 11
Перевод М. Лозинского.

ностям в лицо, но не недооценивай их и проявляй смекалку". Ступня в конце концов зажила, но под кожей всегда прощупывалась этакая маленькая костяная шпора, напоминала о моей промашке. "Не теряй голову", — твердила я себе; любое препятствие — всего лишь мошкара.

Мама неожиданно забеременела. Грядущему прибавлению в семействе больше всех радовалась Линда. В начале августа 1957 года родилась Кимберли, щекастая жизнерадостная крошка, вылитая мама. Оправившись после родов, мать вышла на работу в вечернюю смену, вверив заботу о Кимберли нам троим. Кимберли лучилась жизнерадостностью, но страдала сильной астмой. Когда ее срочно отвезли в больницу, доктор велел устранить все аллергены. В доме устроили генеральную уборку, устранили наш фамильный беспорядок. Первым делом избавились от огромного дивана с зеленой штофовой обивкой, с ржавыми, выпирающими наружу, пружинами, заподозрив, что в нем живут пылевые клещи. Диван отправили в отставку и торжественно вынесли на придорожную помойку. Мы, дети, все вместе уселись на нем лицом к шоссе. Делились друг с другом воспоминаниями, а потом примолкли. Мы понимали: перемены необходимы. Диван,

словно монументальная веха, символизировал: определенный период времени заканчивается, как мы чувствуем и сами, защитный панцирь детства начинает трескаться. Не факт, что детская невинность нас покидает, но аура и некий коллективный дух, сотворенные нами втроем, угасают. Появился новый ребенок. Новые тревоги и новые обязанности. Мое детство, каким я его знала, подходило к концу. Я знала: такова реальность, но придумала себе новую молитву: “Пусть я останусь десятилетней, со своей собакой, книжками и велосипедом”.

Начало игры. Дети, влюбленные во все на свете. Синхронно вертятся и, доведя себя до головокружения, падают друг другу в объятия. В глазах все плывет от радости. Но теперь это ощущение понемногу уходило. Однажды мы, раздухарившись, боролись на заднем дворе. Дело было летом, в жару. Мама позвала меня в дом, велела надеть рубашку. Я запротестовала: “Слишком жарко. И Тодди тоже без рубашки”. Мама сказала: “Ты должна носить рубашку. Ты ведь уже большая, скоро станешь взрослой барышней”. Это нежданное известие вызвало у меня шок и омерзение. Ведь я воображала, что смогу увильнуть от перемен, от следующей стадии физического развития.

Для меня имели значение только развитие моего ума, моя свобода. Я остолбенела, гадливо скривилась. Но не могла же я сопротивляться маме. Поясню: я вовсе не хотела быть мальчиком, точно так же, как не хотела стать взрослой барышней. Хотела только одного — просто быть самой собой. Я надела рубашку, ушла в лес одна, села читать “Питера Пэна”. Страна Нетинебудет показалась мне своего рода религией — сулила детский рай, где можно жить, никогда не взрослея.

Я любила свою семью, но задыхалась в родном доме. Только преданная любовь к брату и сестрам удерживала меня от побега. Да и куда бы я сбежала? Костлявая девчонка, без гроша в кармане, с хроническим кашлем. И потому, оставаясь у всех на виду, я иногда исчезала. Сидела у ручья, подгоняя палкой головастиков. Торс не оголяла — ведь я постоянно, даже на большом расстоянии, ощущала на себе зоркий взгляд матери. Чувствовалось, что совершается какая-то перемена, незримая, но осязаемая. Словами я не могла ее назвать — было только ощущение. Мне абсолютно не хотелось выбирать между мальчиком Питером и девочкой Венди. Лучше носить в себе их обоих, жить в хижине в заповедном лесу, среди папоротников, которые колышутся

на ветру, среди болот, среди ночных бабочек лунного цвета.

У Кимберли случился еще один серьезный приступ астмы, и ее снова отвезли в больницу. На этот раз нам пришлось пожертвовать нашими любимыми питомцами. Маминой кошкой Варежкой и нашей верной Бэмби. Никто из нас не был виноват, что так получилось, но мы все горевали. Мама обещала отдать Бэмби одной семье. Я знала их дочку по школе. Эта девочка напомнила мне Сюзанну: изводила меня заявлениями: “Скоро твоя собака станет моей”. Я подумывала сбежать из дома вместе с Бэмби, думала с горечью: если мне нельзя оставить ее у себя, пусть не достанется никому.

Утром в воскресенье встала рано, повела Бэмби на Красноглинье. Мы уселись у Радужного ручья, и я рассказала ей обо всех надвигающихся событиях. Она смотрела мне в глаза и, искренне верю, все поняла. Потом мы пошли на Томасово поле. День был погожий, бабье лето. Мы лежали на траве, смотрели на облака вместе. Она положила свою оленью мордочку мне на колени, мы обе задремали. Когда я проснулась, солнце поднялось уже высоко. Не понимая, который час, я помчалась домой через поле. Бэмби убежала, вырвалась

вперед. На нее это было непохоже — она никогда от меня не отходила. Я окликнула ее: “Подожди”, и она остановилась прямо на середине шоссе. Добежав до обочины, я еще раз ее окликнула. Она замерла, уставившись на меня, мы смотрели друг другу в глаза, казалось, несколько минут, но, скорее всего, лишь две-три секунды. Вдруг, словно из ниоткуда, появилась пожарная машина. Вылетела на бешеной скорости из-за поворота, сбила Бэмби прямо перед моим носом. Водитель затормозил, подошел к нам. Я потянулась к Бэмби, вскрикнула.

Прибежал отец, за ним — сестра и брат. Он взял Бэмби, завернул в мягкое одеяло, и мы похоронили ее около дома. Несколько часов спустя приехала семья, которая хотела забрать Бэмби. Мой отец пояснил, что она погибла. Никто не проронил ни слова упрека. Было ощущение тихой скорби. Я много лет прокручивала эту сцену в своей голове, снова и снова, подозревая себя в бессознательном соучастии. Линда с ее даром сострадания сняла с меня обвинения. “Бэмби не хотела уходить от нас, — сказала Линда. — Она сама так решила”.

Приближалась осень, погода была безоблачная, но вдали слышались раскаты грома, небо

рассекали внезапные вспышки сухих гроз. Молния, ударившая из ниоткуда, подожгла старый черный амбар. Все страшно оживились, Тодди помчался на поле, где скоро собрались зеваки, но я должна была остаться с Кимберли. Держа ее на руках, я стояла у нашего дома, удрученно наблюдала, как ветхий амбар уступает натиску пламени. Этот старый амбар я очень любила. Внутри не было ничего, кроме сов, летучих мышей, гигантских паутин и сломанных лопат, еле видных в сумраке, лишь кое-где пробивались тонкие лучи света, в которых кружились пылинки. Я злилась, что не могу присоединиться к зевакам, но тут посмотрела на Кимберли, она улыбнулась мне всем своим милым лунообразным личиком, и на меня снизошло что-то вроде умиротворения. Потом Тодди описал все в подробностях: массовый исход грызунов, истошный писк летучих мышей и, наконец, скрипучий последний вздох — амбар опрокинулся, словно раздавленный цилиндр Харпо Маркса.

Шел 1959 год, год Иллюзиониста Мандрагора[12], год ненадежной, взрывной магии. Еще не умея читать, я сосредоточенно разглядывала комиксы в воскресной газете: Мандрагор в иссиня-черном плаще действовал на меня гипнотически. Казалось, это не плащ, а кусок ночного мрака. “Может, плащ свалился ему на плечи с неба?” — думала я. Воображала, как тоже обзаведусь вещью, которая произведет во мне трансмутацию, — чем-то наподобие плаща Мандрейка или знамени и меча Жанны д’Арк. Мне пока было невдомек, что воображение, этот талисман мысли, лучше всех ковров-самолетов и плащей-невидимок — оно еще сильнее. Но даже тогда мне была ясна разница между атрибутами добродетели и банальными сокровищами, я сознавала, что волшебные способности надо применять в благородных целях, как учат все великие сказки о доблести.

Посмотрев фильм “Потерянный горизонт” по книге Джеймса Хилтона, я пленилась рассказами о королевстве Шангри-Ла, где никто никогда не

---

[12] Примечания: 12

Иллюзионист Мандрагор (в русскоязычных источниках также Мандрейк) — главный герой одноименного комикса, выходившего в американских газетах с 1934 по 2013 г. Мандрагор, профессиональный иллюзионист, применяет в борьбе со злодеями свои сверхспособности: он гипнотизер, оборотень, может становиться невидимым и телепортироваться.

стареет. Откопала в библиотеке книгу; узнала из интервью автора (пожелтевшая вырезка из газеты лежала между страниц), что он вдохновлялся древними тибетскими священными книгами. Так возник новый интерес; меня влекла тибетская культура, мысль о потаенных цивилизациях доводила меня до экстаза. Я отчетливо воображала монахов, которые охраняют тайное знание и практикуют таинственное искусство полета. Это пробудило во мне надежду, что после запечатления Писания ангелы не умерли, а просто переместились на Крышу мира, где монахи непрерывно молились за землю, хотя другие ее уничтожали.

В шестом классе, на обществознании, нам задали собирать материалы о других странах. Каждый должен был выбрать себе страну, вырезать и наклеивать в тетрадь статьи из газет, раз в неделю делать доклад. Почти все выбрали европейские страны, а я, вопреки насмешкам одноклассников и неудовольствию учительницы, — Тибет. Она даже сомневалась, что Тибет — настоящая страна, но я показала его на глобусе: граничит с Индией, Непалом и Китаем. Учительница скрепя сердце согласилась.

“Потерянный горизонт” привел меня в Тибет, а

Тибет — к буддизму и осознанию взаимосвязанности всего сущего. Идея вроде бы красивая, но мне становилось не по себе. Мне казалось, что Вселенная — вроде голограммы: могу наблюдать за ней, даже трогать руками, но все равно не чувствую себя ее частью. Возможно, мне не хватало эмпатии — я не могла отождествить себя со всей Вселенной. Я была слишком погружена в свой собственный мир. Когда мы с братом и сестрой смотрели фильм “Невероятный уменьшающийся человек”, финал вверг меня в ужас: герой дематериализовался. Я не могла не противиться идее, что необходимо раствориться в мире, покориться воле космоса, даже воле самого Бога. Мне хотелось, чтобы существовал путь, объединяющий все на свете, и чтобы каждый из нас, опираясь на свое воображение, обрел индивидуальное чувство связи с прошлым, настоящим и будущим.

Хоть я и понимала, что поступаю нехорошо, но все равно молилась: пусть в Тибете что-нибудь случится, пусть придет хоть какая-нибудь новость, чтобы мне было о чем рассказать. Каждую неделю на обществознании тетради одноклассников пухли от вырезок, а моя оставалась незаполненной. Учительница теряла терпение, убеждала меня взять другую страну, но

мое упрямство и преданность пересиливали. Я не уступала, перед сном молилась вдвое усерднее.

10 марта 1959 года тибетские повстанцы напали на китайских должностных лиц, а руководство Китая начало наступательную операцию в Тибете и захватило Лхасу. Двадцатитрехлетний Далай-лама XIV бежал из Лхасы пешком. Тибет, моя, казалось бы, всеми позабытая страна, попал на первые полосы газет. Мой отец собрал для меня вырезки из разных изданий, которые читали его сослуживцы. Все, что нужно для занимательного доклада по обществознанию: фотографии, карты и драма с продолжением — исчезновение и побег Далай-ламы. Все обомлели: показалось, что я умею заглядывать в будущее. Мой доклад получил высшую оценку и был выставлен в стеклянной витрине. Сладостный, пополам с горечью, школьный триумф. Моя когда-то потаенная страна вышла на мировую арену. Я рассудила, что своими пылкими ребяческими молитвами разбалансировала экосистему судеб. Загадала желание, выгодное мне одной, и злой гений укусил меня за пятку.

Я мысленно следила за путешествием молодого Далай-ламы, молилась о его спасении, пока он пробирался пешком по местам с коварным

климатом — из Лхасы через Гималаи в Индию. В конце апреля на обложке журнала *Time* появился портрет молодого Далай-ламы в приметных очках. Мама принесла журнал мне. Далай-лама благополучно прибыл в индийскую приграничную деревню Таванг. Некоторые полагали, что от авиации коммунистического Китая его укрывали туман и низкие облака, ниспосланные по молитвам буддистских святых людей. Я не сомневалась в способности их молитв притянуть облачную завесу. Но, если безоговорочно верить в их молитвы, приходилось задуматься о потенциальной губительной силе моих молитв.

Меня раздирали противоречивые чувства. Я оседлала велосипед и понеслась под горку, к оконечности холма, где, отгороженные забором, начинались запретные места — царство змей, комаров и зыбучей глины. Девственные болота, где зов странных птиц приводил тебя в места, еще не испорченные внешним миром. Я положила велосипед на землю, протиснулась в дырку в железной сетке, пустилась в путь по болоту. В высокой траве присела на корточки. В тот момент я была полностью уверена, что праведницей никогда не стану. Когда я встала, мой бунтарский горб проклюнулся из своей детской оболочки, оброс

жесткой, как у молодого кабана, щетиной.

Озарения

Искусство – высшая форма надежды.
Герхард Рихтер

Не знаю, почему отец однажды повел нас в музей. Какой дух в него вселился? Но для меня наша единственная семейная вылазка в Филадельфийский музей изобразительных искусств стала откровением. Я открыла для себя искусство. Не искусство как понятие, не картинки в журналах. Познакомилась с ним лично. Вообще-то мы никогда не ходили в музеи и галереи. Даже в кино и рестораны не выбирались всем скопом. На это у нас не было денег. Самое дорогое, что мы могли себе позволить, — летний пикник. Что ж, возможно, в тот день в музее была скидка для семей. Или все проще: в музее тогда экспонировалась картина Сальвадора Дали “Постоянство памяти”, а отец перед ним преклонялся. Пока отец восхищался Дали, его мастерством рисовальщика и сюрреалистическими образами, я улизнула, решила сама осмотреть залы. Мне понравились красивые полотна Сарджента — мир в натуральную величину. На холсте Модильяни я узнала

свою голенастость. А потом вошла в целый зал Пикассо; в памяти он удлиняется и искривляется, эволюционируя от меланхоличного цирка с голубыми и розовыми арлекинами до раннего кубизма.

Когда меня разыскал отец, я пристально разглядывала большую картину в стиле кубизма. Отца Пикассо не впечатлил — мол, Дали рисует лучше и видит мир глубже. А я уже успела запасть на Пикассо. Так я впервые обнаружила, что мое категоричное мнение расходится с категоричным мнением отца, и, не стесняясь, принялась отстаивать свое. Ведь теперь я знала: у меня есть гениальные союзники, и однажды они приведут меня в совершенно новый мир. Я послушно последовала за отцом к выходу из музея, но не отреклась от своей незримой метаморфозы. В тот день я без памяти влюбилась в искусство.

Его звали Джонни Стал. Жил он в низине, первый поворот справа. Стрелял в лесу кроликов и белок — себе и родным на обед. Моя сестра училась в школе с его сестрой. Насколько помню, матери у Джонни не было. Его отца я опасалась: худой, неулыбчивый, глаза бегают — посматривает да помалкивает. Джонни держался тихо и уверенно. Он отдал мне коричневый шнурок от

своего ботинка — носить ключ для роликовых коньков. Первый в моей жизни подарок мальчика; скорее жест, чем подарок, *beau geste*[13].

Я оставляла велосипед у дороги, робко приближалась к калитке, пыталась угадать, дома ли Джонни. На заднем дворе сушились на веревке кроличьи шкуры. Я заметила, что у двери стоит дробовик. Джонни казался мне не таким, как другие. Говорил мягко, держался особняком. Он привязал к рулю моего велосипеда хвост енота и пообещал принести еще один. Говорил редко, но если говорил, то всегда, казалось, к месту. Волосы у него были белокурые, нестриженые, падали на глаза — как у молодого Джеймса Дина. Мы, сами того не сознавая, были наподобие задумчивого Кэла и пылкой Абры из фильма “К востоку от рая”. Наши разговоры остаются в сфере времени — не утраченного времени, а времени, замершего на бегу.

Примерно в миле дальше по шоссе — миновать свиноферму, взять немного вправо — был роллердром. Джонни пригласил меня покататься на роликах в субботу. Мы шли пешком вместе; помню легкий ветерок, помню ощущение счастья.

---

[13] Примечания: 13
Благородный, великодушный поступок *(фр.).*

Мальчик, который мне нравится, благосклонность природы и наше общее ощущение свободы. Вход стоил пятьдесят центов, прокат коньков — двадцать пять. Они лежали рядами: ремешки из белой кожи, деревянные колеса. Отчетливо вижу, как Джонни наклоняется, завязывает белые шнурки на моих коньках. После нескольких кругов он взял меня за руку, и мы понеслись вместе, и показалось, что все на свете исчезло, кроме этого мгновения, когда мы приняли друг друга такими, какие есть.

Засыпая, я мысленно пережила это мгновение снова. Теперь мне есть кому рассказать о своем внутреннем мире, готовом расцвести. Но Джонни не давал о себе знать. Несколько дней спустя я спонтанно вскочила на велосипед, поехала с ним объясняться. Подъезжая к дому, увидела: их отец жестами подгоняет Джонни и его сестру. Их старая машина, “универсал” с деревянными панелями, нагружена пожитками, удочки и дробовики привязаны к багажнику. Отец проявлял нетерпение. Я поставила велосипед на тормоз и стала наблюдать. Джонни, не поднимая глаз, сел в машину. Отец медленно выехал задним ходом со двора. Джонни прижал растопыренную ладонь к стеклу. На его лице я прочла все, что

он хотел сказать, в том числе “Прощай”. Наше последнее мгновение. Я не могла дотянуться до стекла машины, тоже прижать к нему ладонь. Солнце било мне в глаза. Машина умчалась, увозя с собой девчоночьи мечты.

Я лежала в высокой траве на Томасовом поле, глядя вверх, в пустое небо. Вокруг, со всех сторон, кипела жизнь, но меня это странным образом не волновало. Я чувствовала, что меняюсь, то, чем я прежде дорожила, отступает в прошлое, его вытесняют новые интересы, новый взгляд на мир. Я проезжала на велосипеде мимо бывшей улицы Джонни: теперь двор зарос, дом пустует. Воображала разговоры, которые мы могли бы вести. Теперь я их вела сама с собой. Твердила свою мантру: “Сомневайся во всем”. Ее я наверняка переняла у отца: он всегда рассматривал каждый спор с нескольких разных точек зрения. У него были свои сомнения, у меня — другие, но он поощрял мою врожденную склонность сомневаться, в некотором смысле давал мне добро на вопросы, из-за которых я иногда наживала неприятности.

На занятиях по Библии я становилась все угрюмее: терзалась тревожными мыслями, давала свою оценку толкованиям Писания. Я внима-

тельно слушала рассказ одного старейшины об Апокалипсисе и сотворении Нового Мира, и перед моими глазами мелькали страшные образы: охваченные огнем музеи, скульптуры, памятники архитектуры, не говоря уже о картинах Пикассо. Эти мысли кипели в моем сознании, проедали его насквозь, лишали сна. Эстетика постапокалиптического мира, декор Царства Христова не давали мне покоя. Что станется с произведениями искусства? Этот вопрос значил для меня все, даже когда над ним посмеивались. Меня затрясло, когда один почтенный мужчина из нашей общины пренебрежительно отмахнулся от моих расспросов.

Через несколько дней я заговорила с другим старейшиной, поделилась своими переживаниями. Возможно, высказалась слишком задиристо и нарвалась на выговор. В те времена в нашей общине было недопустимо сомневаться в мнениях высокопоставленных старейшин. Мне объявили, что в Царстве Христовом нет места искусству, и посоветовали призадуматься, во что я на самом деле верю. Но я знала, во что верю. Я верила в Творца, в то, что природа говорит разными наречиями, в нравственные уроки волшебных сказок, в язык деревьев и в глину Земли. Я верила

в тех, кто пасет облака, в ловцов душ, в монахов, которые умеют путешествовать, выходя из своего физического тела. Кропотливо разрабатывала формулу, которая объемлет все на свете. Бога — бесконечное царство, Иисуса — мост между божественным и человеческим, и художника — материальный рупор.

В ночи я искала решение своей теоремы; казалось, в атмосфере витает древняя весть. Я задумалась о тех, кто в далеком прошлом любовался небом и упорядочивал звезды в созвездия — в картины, рожденные людским воображением. Возможно, те, чей глаз разглядел в небе картины, были одними из первых художников. Я, Свидетельница Иеговы, раньше верила в Новую Систему, но теперь призадумалась: что, если систем много? Когда-то считалось, что есть всего одна планета, одна солнечная система, но в действительности мы обнаружили, что их много. Мне казалось, что профессия художника тоже священная — искусство требует больших жертв. Промаявшись много ночей без сна, я пришла к решению: брошу изучать Библию, ноги моей больше не будет в Зале Царства. В то же время я была глубоко признательна за возможность обстоятельно изучить Писание. Я отказалась от

своей религии, отказалась не без жгучей печали, но одновременно — с чувством раскрепощения. Я сама выбрала свой путь, посвятила вызревающее во мне “я” искусству, решила готовиться к жизни художницы, поклялась не отступаться, невзирая на последствия.

Избавившись от тисков религиозного рубрикатора, я теперь могла мыслить, как вздумается. Мое сознание походило на косу из множества прядей — они переплетались, в них было вплетено все на свете. Вся история, все знание, все откроется тебе само — сумей лишь разгадать шифр. Лицо Иисуса, Ковчег Завета, телефонный номер Бога, неоткрытые области Вселенной, новые приключения литературных персонажей. Мы рождаемся с сознанием, распахнутым всему миру, бесстрашным, не знающим границ, но с каждым новым правилом и ограничением сознание разгораживается на отсеки. Входя в сознательный возраст, мы учимся жить, соотносить себя с миром, с устройством общества, нащупывать баланс между воображением и планетой, где воздух пригоден для дыхания. Я верила, что мудрость и священные тайны содержатся в тайном языке моих любимых книг; их авторы наверняка знали хотя бы несколько букв

древнего алфавита. Книги влекли меня еще когда я не умела прочесть ни слова, но интуитивно чувствовала: в них чудо. Что ж, я прочла уже много книг, но мысль записать бесконечный поток идей, роившихся в моей голове, никогда не возникала. Я считала, что это от природы свойственно читателям, а книги пишутся другими — точно не мной. А потом начала писать, но никак не получалось толком выразить свой яркий внутренний мир. Я пока не нашла свой голос.

Однажды мне попался “Великан-эгоист” Оскара Уайльда. В *Children’s Digest* его, как ни странно, причислили к волшебным сказкам. Я никогда еще не читала ничего подобного. Потрясенно опознала свою, родную мне эстетику — совсем как на фотографиях в *Vogue*, в стихах Йейтса и на картинах Пикассо. Снова и снова перечитывала сказку, пытаясь уловить, чем она уникальна. И тут осенило: все на свете — потенциальное стихотворение. Стоические молитвы насекомых, которых так и зовут — “богомолами”, всепонимающие глаза моей собаки, скрип пера по бумаге. Белая змея шевельнулась, незримый контур бунтарского горба неуверенно мигнул, а затем засветился в полную силу, похожий на разноцветный плащ Иосифа.

Отец вынырнул после идеального прыжка в воду. Он был похож на мифического бога. К его волосатой груди прилипли красные кедровые щепки. Плавал он великолепно — грациозный, атлетически сложенный. Дело было во время нашего единственного ежегодного выезда на природу всей семьей. В наших местах многие дети из небогатых семей ездили, взамен летнего лагеря, в библейскую школу к баптистам.

Мы с Линдой читали наизусть Писание, а потом нас загоняли в автобусы и вместе с наемными работниками везли на ферму. Под ослепительным солнцем долгими часами мы собирали голубику и заодно ели. Прерывались попить воды из поливального шланга. Я продвигалась медленно: злилась, что приходится вкалывать, удивлялась, что работники фермы успевают собрать бушель ягод быстрее, чем я — пинту. По окончании смены нам платили. В первый день я заработала неполный доллар. Думала, оплата почасовая, а не сдельная, и, должно быть, больше съела, чем собрала.

Когда библейская школа закрывалась, нашим семьям дарили бесплатную однодневную поездку на озеро Сентертон. Мы жарили хотдоги и маршмеллоу. Наши родители сидели и разгова-

ривали — не о войне, а о нынешних временах, о том, что все еле сводят концы с концами. С их веселыми пересудами и смехом смешивался плеск: купальщики прыгали в воду. Мы с Линдой сидели на берегу — ни она, ни я так и не научились плавать, ведь во время эпидемии полиомиелита нас не пускали купаться. Я не огорчалась — терпеть не могла погружаться в воду. Мы обе радовались, что смогли подарить родным этот день — всего-то пришлось поскучать в баптистской библейской школе. Когда нас поманила музыка из музыкального автомата в павильоне, мы с Линдой вскочили, пустились в пляс.

Танцевать мы любили, все трое, особенно под последние хиты ритм-энд-блюза и рок-н-ролла — они выражали подростковые томления, которые в нас просыпались. 1961 год начался с песни группы *Shirelles* *“Will You Love Me Tomorrow”* (“А если завтра ты меня разлюбишь”) — одной из самых красивых и спорных в свое время. Католическая церковь ее запретила, но в чартах она стала хитом номер один — первый в истории такой успех женской черной группы. То было время гениальных ритм-энд-блюзов, выражавших весь спектр подростковых переживаний. Было и под что потанцевать, и под что выплакаться, и под

что повыпендриваться перед зеркалом. Музыка стала для нас спасением, выражала невыразимое. Мы эволюционировали вместе с музыкой, а радио было нашим аппаратом жизнеобеспечения.

Когда летняя библейская школа закрылась, танцы в арсенале стали устраивать чаще — раз в неделю. Два часа посидишь с ребенком — хватит на входной билет и порцию содовой. Собираясь на танцы, девочки прихорашивались бесконечно долго, часто преображались просто впечатляюще. А мне было неинтересно маскировать себя макияжем, накручивать и закреплять лаком волосы, кокетничать, морочить головы парням. Возможно, это снижало интерес парней ко мне. Но на танцах в арсенале мне нравилось: несколько часов крутятся пластинки, парни стоят у одной стены, девочки, сбившись вместе, — у другой, танцуют в основном девочки с девочками. Умение танцевать — гордость жителей Саут-Джерси. Мы танцевали лучше всех, и я лично — вполне недурно, не лучше всех земляков, но неплохо. С какого-то времени в арсенал стали приезжать парни из Южной Филадельфии. Почти все — в кожаных куртках, но один, немногословный, выделялся среди всех. Носил длинный плащ, держался в сторонке, просто наблюдал. Он не был

признанным вожаком, но, сразу видно, и у других на поводу не шел. Звали его Бучи Мэджик. Он стал лицом моих первых подростковых фантазий.

На танцах он появлялся нерегулярно, и я жила только ради шанса побыть несколько часов вблизи него. Так много о нем думала, что уверила себя: он видит меня насквозь, не может не знать, что творится в моем сердце. Как-то летним вечером я, вдохновившись комиксом “Малыш Абнер”, набралась храбрости, объявила свой личный День Сэди Хокинс[14] — сама пригласила Бучи на танец. А он лишь обронил: “Извини, я не танцую”. Я улыбнулась и отошла, пожалуй, слегка смущенная, но не обескураженная. Потанцевала одна, а затем, почувствовав общую нервозность, решила выйти на улицу проветриться. И только подошла к выходу, разгорелась потасовка. Я обернулась в ту секунду, когда кто-то, швырнув кожаную куртку, сшиб осиное гнездо с низкой балки прямо над моей головой. Оно упало мне под ноги, вокруг меня взволнованно закружились потревоженные осы. События развивались

[14] Примечания: 14

День Сэди Хокинс — эпизод из комикса “Малыш Абнер”. Отец некрасивой Сэди Хокинс устраивает состязание по бегу: все местные холостяки должны участвовать, а тот, кого Сэди догонит, обязан на ней жениться. Комикс дал начало традиции “Дней Сэди Хокинс”, когда женщины сами приглашали мужчин танцевать и назначали свидания.

стремительно; несколько ос меня ужалили. Я так опешила, что замерла на месте. Ребята заорали, и филадельфийские парни всем скопом бросились к выходу. Пока они мчались мимо меня, словно стадо бизонов, я обалдело стояла. В мою шею впилась оса. И вдруг он возник передо мной, заглянул мне в глаза, словно приказывая не шевелиться. Не отводя глаз, неторопливо выдернул осу вместе с жалом, положил на свой носовой платок и удалился, без единого слова.

Именно этого томительно жаждут писатели, сидя с блокнотом рано утром в кафе, или в пустынном салоне отеля, на скамье в тишине собора. Внезапный проблеск, внутри вибрирует конкретный миг жизни. Джонни Стал завязывает мне шнурки. Пальцы Бучи Мэджика выдергивают жало. Незапятнанная память о спонтанных добрых поступках. Эти поступки — хлеб ангелов. Роняю авторучку, начинаю бередить фантомные раны. Филадельфийские парни больше не появлялись на танцах в арсенале. Мне исполнилось пятнадцать, и мои потаенные фантазии заполонило другое лицо. Ангелы принесли мне новую порцию вдохновения: я открыла для себя Артюра Рембо.

По субботам я работала натурщицей в Фила-

дельфийской академии художеств взамен на уроки рисования. Напротив автовокзала был лоток с книгами по 99 центов. Однажды я, как обычно, все там перерыла, и меня привлекло лицо молодого поэта на обложке “Озарений”. Раскрыла книгу, и его слова с первой же минуты очаровали меня не меньше, чем его нахальная красота. Доллара у меня не было, а если б даже был, я бы с ним не рассталась. Я просто сунула “Озарения” в карман. Совершила преступление, но в этом не раскаиваюсь. Его книга показалась мне отчасти непостижимой, но подарила новый поэтический язык. Я поискала другие вещи Рембо в библиотеке. И набрела на слова, которые сразу меня окликнули и долго находили во мне отклик, слова вечные и эфемерные: “Одно лето в аду”, путеводитель моего неистовства.

“Одно лето в аду” — в равной мере поэзия и исповедь о неблаговидном. Рембо поступается своей просто нечеловеческой властью над языком, изливает пламенную ненависть к самому себе. “Гиеной останешься ты”[15], — пишет он, раздирая себя надвое, ведя сам с собой гражданскую войну. В этой двуликости я узнала себя

---

[15] Примечания: 15
Перевод М. Кудинова.

— демоничность рука об руку с милосердием. Меня поразило, что он это написал в девятнадцать лет, вложил свои страдания в книгу — словно загерметизировал, сохранил. Мне хотелось верить, что исповедь спасла его из пучины внутреннего раздора, я стремилась пройти с ним его испепеляющий духовный путь.

Затем, на мое шестнадцатилетие, мать подарила мне книгу "Необычайная жизнь Диего Риверы". Первая биография художника, которую я прочитала. Книга о Ривере тоже глубоко меня потрясла, ее стрелы — правда, нисколечко не отравленные — попали в цель. Я узнала о его приключениях в большом мире и многочисленных этапах творчества, о том, чему он научился у Пикассо, а что отверг, как он ввязался в политические волнения, познакомилась с историческим наследием и национальным характером его родной страны. Меня заинтриговали образы главных женщин в его судьбе — волевое мужское лицо Гуадалупе Марин и облик художницы-революционерки Фриды Кало. Книга свидетельствовала о самопожертвовании, трудолюбии и эстетической цельности художника, качествах, к которым я сама стремилась.

Мама и не догадывалась, как на меня подей-

ствует такая книга или другие чудесные подарки, которые она по своей наивности для меня выбирала. Она изо всех сил старалась держать меня в узде, но, сама того не ведая, приносила мне карты путей к бегству. Сначала “Серебряные пенни”, затем книгу о Диего Ривере, а позднее — диск *“Another Side of Bob Dylan”* (“Другая сторона Боба Дилана”). Пластинку она купила на распродаже в аптеке, меньше чем за доллар. Сказала: “Судя по лицу, он должен тебе понравиться”. В семнадцать лет я переключилась с Рембо на Боба Дилана абсолютно плавно. Дилан тоже изобрел заново священную руку поэзии[16]. Даже их лица непокорных херувимов в чем-то похожи — они зеркало друг друга. Я была убеждена, что песня *“A Hard Rain’s A-Gonna Fall”* (“Будет страшный ливень”) многим обязана стихотворению в прозе “После потопа” из “Озарений”. И легко представляла себе, как Рембо, полеживая на поле, слушает *“It’s Alright, Ma. (I’m Only Bleeding)”* (“Все в порядке, мам. (Просто истекаю кровью)”). Отчетливо чувствуется, что слова обоих поэтов обращены

[16] Примечания: 16

Возможно, отсылка к названию популярного у англоязычных читателей сборника “Рука поэзии: пять мистических поэтов Персии” (в книгу включены лекции суфия Инаята Хана и переводы стихов персидских классиков).

к племени паршивых овец, изгоев, пытающихся выжить во времена, выпавшие им на долю. А еще — что оба поэта заточены в своем тягучем настоящем, но различают перспективы будущего — многогранника, который раскладывается и складывается, поворачиваясь разными сторонами.

В высших учебных заведениях, включая педагогический колледж, где училась я, студенты, сидя за длинными столами, анатомировали Рембо или анализировали треки с альбома *“Highway* 61 *Revisited”* (“Возвращение на 61-й хайвей”). Я не присоединялась: мне были неинтересны их методы дешифровки. Никто не сможет до конца постичь, что именно намеревались вложить Рембо или Дилан в многослойные “Алхимию слова” или *“Desolation Row” (*“Переулок Опустошения”). Совсем как один лишь Иоанн Патмосский мог полностью понять свое Откровение, хотя толкований тысячи и тысячи. Докапываться, о чем это стихотворение или песня? Я считала, что мои потенциальные задачи поважнее. Мне хотелось переселиться в их новообретенный язык, совсем как в детстве — попробовать мяса белой змеи, оно учит языку птиц, или говорить иными языками, как апостолы в Духов день. Иоанн Апокалиптик

хранил ключ к Апокалипсису совсем как Рембо — ключи от жестокого цирка[17]. Что, если те же самые ключи мистическим образом попали в карман священных джинсов Боба Дилана и однажды он обронил один ключ? А вдруг я отыщу этот ключ в дорожной пыли, растоптанный тысячами копыт, — мой новый аналог серебряного пенни.

Детская невинность идет под снос, Питер Пэн, Тряпичная Энн и Мишка Смоки убраны с глаз долой, в пыльное святилище. Нашу “Страну игрушек” не выкупить даже за все пенни на свете. Порог испещрен зарубками, которые мы нанесли сами, ненароком. В девятнадцать лет я, третьекурсница колледжа, обнаружила, что беременна. Залетела по неопытности. Я прекрасно понимала, как сурово общество в таких ситуациях и сколько проблем на меня навалится. Поэтому я сделала первые мучительные шаги к самому трудному решению своей юности. В 1966 году материнство вне брака все еще сурово порицалось, и я втайне от своих родных, забросив все прочие дела, хлопотала о благополучной судьбе своего будущего ребенка.

---

[17] Примечания: 17

См., например, стихотворение в прозе “Парад”. Кстати, Артюру Рембо доводилось работать в настоящем цирке — то ли переводчиком, то ли кассиром.

Помолилась: “Пусть мое решение окажется правильным”, созвала всю семью — пора поставить их в известность. Я знала, что родители возлагали на меня большие надежды: думали, окончу педагогический колледж, получу место, стану помогать родным. Горько было их разочаровывать, но я верила, что их участливость и терпимость возобладают. Невозможно выразить все противоречивые чувства, которые тяготили меня накануне разговора. А после разговора они улетучились в раскрытых мне объятиях. Я стояла перед родными, сознавая, чем они ради меня пожертвовали, как направляли меня на правильный путь, от скольких болезней вылечили.

— Я беременна, — сказала я. — Я взяла на себя ответственность и нашла ребенку хорошую семью. А потом, если не устроюсь работать на фабрику, уеду отсюда.

Замерла в плотной атмосфере озадаченного молчания: родители не верили своим ушам. Брат раздавил сигарету.

— Вот это я и хотела вам сказать, — сказала я. И инстинктивно обернулась к Тодду. Он всегда мной восхищался. — Я беременна, — повторила я. — Что вы теперь обо мне думаете?

Прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, за-

говорил Тодд. Вверг нас всех в шок — признался, что тоже долго мучался над серьезной личной дилеммой. Много лет он тайно надевал женскую одежду, и все вещи, пропавшие из наших скудных гардеробов, спрятаны в его шкафу, под бейсбольной экипировкой и комиксами. Он обернулся, посмотрел на нас, не опуская глаз. Линда хранила сочувственное молчание, мама плакала, наш отец, хоть и смотрел на жизнь философски, сник. Тодд уставился на меня.

— Я наполовину женщина, наполовину мужчина, я трансвестит, — сказал он. — Что вы теперь обо мне думаете?

Ради меня он бросился на свой меч, отвел от меня бесчестье. Возможно, своим признанием я и для него открыла дверь. Но в те времена я не вполне понимала, как мучителен его внутренний разлад, сколько он уже выстрадал, как будет строить свое будущее. В любом случае, я без тени сомнения поняла: у меня есть свой рыцарь и, как бы он ни одевался, он всегда рядом, пробивает мне дорогу.

Мы забываем и думать о географических картах, оставляем дома компасы, которые носили в зюйдвестках, прокладываем курс по инопланетным морям. Мы отделяемся и начинаем путь к

новому миру, который не дает нанести себя на карту. Берем с собой личные талисманы, клянемся совершить мучительный переезд, ловко собираем заново капризный хронометр. Песочные часы переворачиваются вновь, песок засыпает дороги, которые нам теперь закрыты. Тодд, не дожидаясь призыва в армию, завербовался на военный флот. Я накануне Дня независимости собрала волосы в неаккуратный конский хвост, надела свой плащ художника и не без жестокости бросила родных, педагогический колледж, ребенка и ежевичные стены обители Бога на краю Томасова поля. Отправилась выполнять клятву, которую безмолвно дала в тринадцать лет в зале Пикассо.



Мое “Платье Свободы”

art/rats

О! Наши кости оделись в новое, влюбленное тело.[18]

Артюр Рембо

Содним чемоданом, клетчатым, как шотландский килт, я приехала в Нью-Йорк. Вышла из дверей автовокзала Порт-Оторити. Больше всего мне хотелось служить искусству — стать художницей. Возможно, у меня не было умений, которые требуются художникам, но было стремление выучиться: я верила, что нашла свое истинное призвание, и целеустремленно искала работу. Появление этой идеи было похоже на экстатический паралич. Клятва, которую я дала в юности, не предполагала никаких фаустовских сделок, никакого расчета на содействие неких божественных сил. Выбрав путь художницы, я сознавала, что должна полагаться только на себя, но все же надеялась повстречать духовного соотечественника, и провидение привело меня к нему.

---

[18] Примечания: 18
“Озарения”, перевод М. Кудинова.

Этот американский мальчик рос в семье военного католической веры. В церкви был алтарником, в школе отличником, играл на саксофоне в марширующем оркестре, получил стипендию ROTC[19] на обучение графике и дизайну в Институте Прэтта. Мать горячо надеялась, что он, ее любимец, станет священником. Но отец с детства прочил его в офицеры, рассчитывал, что он дослужится до высоких чинов, а диплом художника-дизайнера — это так, запасной вариант. Кожа у него была бледная, глаза зеленые, темные кудрявые волосы острижены под солдатский бобрик. Ноги слегка кривоватые, матросская походка — от природы. Согласие пойти по пути, который за него выбрал отец, вознаградилось — ему достались квартира, высокие кавалерийские сапоги, начищенные до блеска, щедрая стипендия. В Прэтте он показал себя виртуозным рисовальщиком и некоторое время не сбивался с предписанного пути. Никто не подозревал, что внутри него зреет другое “я”.

В двадцать лет Роберт Мэпплторп распрощался с сутаной, саксофоном, сапогами и винтовкой. Поэкспериментировав с ЛСД, он посмотрел на себя в

[19] Примечания: 19

Корпус подготовки офицеров-резервистов — программа в высших учебных заведениях США.

зеркало и увидел вовсе не священника и не будущего капитана ROTC, а самого себя. Он больше не мог сопротивляться трепету, который охватывал его с раннего детства, хоть и не постоянно. Этот трепет был зовом Искусства. Призванием. Глядя в то зеркало, он мгновенно дал клятву верности и так же стремительно лишился всего. Стипендии, квартиры, карманных денег, которые выделяли ему родители, и — это было всего больнее — одобрительного отношения отца. И тогда, весело хлопнув себя по бедру, он шагнул в новый мир.

Немного пожил у приятеля в маленькой комнате почти без мебели. Спал на простой белой чугунной койке, разложив вокруг папки со своими работами. Спал, а рядом балансировал Эрос с луком и стрелами, нагой, не прикрытый никакими флагами. Этого мальчика я встретила в дни Лета любви[20]. Я нашла к нему дорогу, а он открыл глаза и улыбнулся мне.

Мы спасли друг друга. Его изгнали из семьи, объявили: “Ты нам больше не сын”. У меня после трудных родов болела душа и ныло тело. Мы были друг для друга спасательными плотами, мы оба верили в клятвы, которые дали самим себе.

---

[20] Примечания: 20

То есть летом 1967 г. в США. Эти месяцы считаются золотым временем культуры хиппи, периодом светлых надежд и душевной чистоты.

Я подарила ему серебряное кольцо с якорем, а он мне — золотое, с камешком цвета его глаз. Денег у нас было мало, и почти все вечера мы проводили у себя дома. Крутили пластинки Тима Бакли, рассматривали альбомы Пикассо и сюрреалистов. Дождливыми вечерами лениво полеживали в обнимку, и я рассказывала ему истории или пела песенки, а он медленно приподнимался на локте, чтобы выкурить сигарету, и простыня сползала до пояса. Я подмечала, что в моем художнике есть что-то от оборотня: ранимый матрос, эфемерная кокетка или юная гейша с тончайшим слоем помады на губах. Возможно, он чуял, что во мне есть двойственность: увлечение мальчишескими играми, презрение ко всему девчачьему, но в то же время тайная мечта о белом платье и вуали для первого причастия. В Вербное воскресенье Роберт подарил мне белое платье совершенно иного сорта — рваное, из тонкой льняной ткани, так называемой платочной. Вообще-то не платье, а нижняя рубашка викторианской барышни. Я надела его через голову и нарекла “Мое Платье Свободы” — оно напоминало тунику женщины, которая несет знамя Июльской революции на картине Делакруа “Свобода, ведущая народ”.

В миг, когда я пишу эти строки, платье передо

мной: скреплено булавками, чтобы не развалилось на лоскуты, ему ведь больше ста лет, Роберт нашел его уже изношенным, в секонде — в 1968-м таких магазинов было много. Там продавалось все, что доступно воображению: мужские сорочки с монограммами, кашемировые пальто, первосортные простыни, шелковые плащи-дождевики, столовое серебро, фарфоровые чайные пары, бархатные скатерти с бахромой, дагерротипы, довоенные открытки с видами Европы, окрашенные сепией. Роберт и я зависали в таких магазинах на много часов. Денег у нас либо не было вообще, либо было очень мало. Но однажды Роберт пошел один, на поиски подарка, который все равно был ему не по карману. Теперь платье лежит в небольшом фирменном, от “Луи Вюиттон”, сундуке со сломанным замком. Его я тоже отыскала в секонде лет тридцать назад, на Бауэри. Платье выцвело, совсем как виды Флоренции в старом кафе “Данте”, прокопченные табачным дымом за десятки лет. Выцвело под воздействием любви и неаккуратности, на нем поблекшие следы крови и ржавых английских булавок. Сколько же надежды и наглости содержится в этом легком — слово “материя” для него слишком увесистое — наряде, который теперь хранится в сложенном

виде, словно лебедь-оригами.

Из нежной атмосферы нашей бруклинской квартиры, нашего общего кокона, Роберт и я вышли в большой мир, под своды отеля “Челси”. Мы вынесли все испытания, вместе стали очевидцами смены десятилетий, бесстрашно шагнули в семидесятые. В конце концов мы оба разошлись путями, которые выбрали сами, но никогда не разрывали золотую нить наших нерушимых уз. Роберт ушел с головой в фотографию, искал новые горизонты в плане тематики, но в полной мере исследовал ее возможности как искусства. Скоро он познакомился со своим замечательным спутником и будущим меценатом Сэмом Уэгстаффом, а тот оценил творчество Роберта по достоинству. В “Челси” номер у нас был тесный, работать негде, и я проводила много времени в вестибюле отеля — писала, изучала что-то, наблюдала. Там я пересекалась со множеством музыкантов и писателей. Самое большое влияние оказал художник Бобби Нойвирт, тот самый верный приспешник Боба Дилана, запечатленный в фильме “Не оглядывайся назад”. Бобби читал мои стихи, знакомил меня с художниками и музыкантами, которые тогда были в ударе, уговаривал писать тексты для песен.

В то время музыкальная жизнь в “Челси” била ключом. Роберт поселился в лофте неподалеку; я осталась жить в отеле со своим новым возлюбленным, драматургом Сэмом Шепардом, человеком авантюрного склада. Он включил пару моих ранних баллад в свою пьесу “Блюз бешеной собаки”. Получив шанс прочесть стихи в церкви Святого Марка — побыть на разогреве у Джерарда Маланги, я захотела попробовать что-нибудь новенькое. Сэм посоветовал найти гитариста, чья манера будет под стать энергии моих стихов. Идея меня увлекла. Незадолго до этого я познакомилась с писателем Ленни Кэем, работавшим в музыкальном магазине “Вилидж олдиз”, а он упомянул, что немножко играет на гитаре. Сэм поддержал меня, я отправилась в магазин и завербовала Ленни. Ленни на все соглашался без долгих разговоров. Если я воображала автокатастрофу, он изображал ее звуками. А если хотела спеть незамысловатый блюз, подыгрывал мне. Наше выступление в церкви Святого Марка неожиданно привлекло большое внимание — и позитивное, и негативное. Стив Пол, импресарио (основатель скандально известного клуба “Сцена”, коммерческий директор Джонни Уинтера), предложил мне контракт с его новой

фирмой звукозаписи *Blue Sky*. Дескать, я буду первой артисткой, с которой начнется история фирмы. Хотел сделать из меня что-то вроде Шер, только менее лощеную, этакую Шер из городских трущоб. Предлагал большие деньги, но при условии, что он получит полный контроль над моим имиджем и выбором музыкантов для совместной работы. Предложение мне польстило, но на такие условия я не согласилась бы никогда в жизни. Я пошла своим путем.

Весной Сэм и я написали пьесу “Ковбойский язык”. Премьеру назначили в театре “Американ плейс”, главные роли исполняли Сэм и я. Сэм дополнил сцену, где мой и его персонажи вступают в перепалку, ремарками — мол, надо импровизировать, спорить на языке поэзии. Я никогда раньше не импровизировала на сцене, но Сэм сказал, что волноваться нечего — облажаться невозможно. Его метод был прост, но запоминался крепко: собьешься с ритма — придумай свой. Я затвердила этот урок, и он стал бесценной мантрой, пригодился во всех последующих творческих затеях. Мне повезло: в конечном итоге я покинула “Челси”, осмелевшая, вооружившись целым арсеналом добрых советов. Сэм поощрял меня ломать стены, а Уильям Берроуз наставлял,

что главное — беречь свое честное имя, остерегаться запятнать его.

В 1973 году я переехала в маленькую квартиру на улице Макдугал напротив бара “Другой коленкор” — его завсегдатаем когда-то был Керуак. Началась стремительная эволюция. Днем я работала на полставки в книжных магазинах, а вечером писала, сидя на полу в своей квартире. Иногда страницы дневника казались мне слишком узкими, и я прикрепляла к оштукатуренным стенам большие листы бумаги, принималась рисовать с уверенностью на грани нахальства. Мое творчество становилось все материальнее — строки стихов, не умещаясь на бумаге, перебегали на штукатурку. Я изливала стихи во весь голос, и в моей личной маленькой вселенной разворачивался слегка забавный манифест: *we are art/rats, filthy pups, words we use up*[21].

Как-то утром зашел Роберт с несколькими пуговками пейота, завернутыми в носовой платок. Я не решалась употреблять священное растение в неправильных целях, но Роберту доверяла, и мы разделили пейот. Время перестало что-то значить, и утро переплавилось в вечер. “Где ты

[21] Примечания: 21

Мы арт\рты, крысы искусства — это мы, помойные щенки, замусоленные слова.

побывала?” — спросил он. Я вошла в полую гору, гору без вершины, и появилась великолепная птица, начала истекать кровью, пока не побелела полностью. Взлетела на гряду горы, и ее благородная голова, белая как снег, стала вершиной, и мне стало видно все внутри и вовне. С неба упали пятьдесят две звезды — лица предназначения, преображаясь в колоду карт. “А ты?” — спросила я. Роберт улыбнулся. “Все оно вот здесь, я сделал это для тебя”, — и протянул мне материальный талисман, тонкую полоску сыромятной кожи с узелками и стеклянными бусинами — ковбойские четки.

Мы дошли по Бликер-стрит до “Розовой чашки”. Роберт заказал оладьи, а я — жареного сома с кукурузной кашей и черный кофе. Помню, мне подумалось, что Роберт даже под влиянием священного растения остался художником, а я — сочинительницей. “Никто не мыслит так, как мы с тобой”, — сказал он и ушел в ночь. Я повесила ковбойские четки на гвоздь у своей кровати.

По вечерам, пристроившись на пожарной лестнице, как на насесте, непременно с книгой на коленях, я читала Мрабе, Жене, Коссери и Пола Боулза. Сидя над непрерывным потоком бурной жизни, высматривала наших современных ан-

гелов. Самые ранние их изображения нам дало искусство: крылатые андрогины, хорошо знающие, что такое престол Господень. Агари ангел явился с утешением, Марии — с благой вестью, а Иоанну Патмосскому — с Откровением. Безусловно, они по-прежнему находятся среди нас, но станут ли они теперь разговаривать с нами? Надежда есть — для этого мы должны вернуть себе власть над временами, когда все аспекты знания не выдавались нам по щепотке, а присутствовали постоянно, витали в воздухе, которым мы дышим.

Меня вновь и вновь посещали видения кочевников, пустынь и оливковых рощ. Я варила кускус, спала в муслиновой джеллабе, купленной в марокканской лавке за углом. Слушала Патти Уотерс, Альберта Эйлера и *Pearls Before Swine*. Танцевала одна под *Rolling Stones* и *Velvet Underground*. В то время я была счастлива, казалось, мне все по плечу. Я выступала в “Ла МаМа” и играла в одноактных пьесах Сэма Шепарда. Выходить на сцену нравилось, но я четко понимала — быть актрисой не по мне. Повторяемость, свойственная театру, скоро приелась: каждый вечер выговаривать чужие слова. Я предпочитала сочинять и произносить свои. Писала рецензии

на альбомы, которые мне нравились, продолжала работать в книжном магазине “Скрибнерс”. В обеденный перерыв часто заходила к Андреасу Брауну, владельцу книжного “Готэм бук март”. Ему пришлось по вкусу мое творчество, он выпустил книжечку моих стихотворений в прозе, устроил мою первую выставку рисунков в маленькой галерее при “Готэме”.

В отеле “Челси” я познакомилась со многими поэтами и музыкантами. Ходила на их литературные вечера в церковь Святого Марка, и однажды меня пригласили читать стихи вместе с Джимом Кэрроллом и Алленом Гинзбергом. Шанс выступить вместе с этими великими поэтами стал для меня большой удачей, но меня не оставляло желание прорваться еще дальше. Кто-то из друзей познакомил меня с блистательным, эклектичным Сэнди Буллом. Когда-то, учась в школе, я часами слушала его альбом *“Fantasias”* (“Фантазии”) . Мы решили попробовать сделать что-нибудь вместе в маленьком джаз-клубе, открывавшемся за полночь. Я принялась зачитывать поэму *“All the hipsters go to the movies”* (“Все хипстеры ходят в кино”), но на середине бросила и стала просто риффовать поверх витиеватых мелодий, которые Сэнди исполнял на уде. Этот

опыт меня взбодрил: Сэнди вдохновил меня и заставил попотеть. Чувствуя благотворный попутный ветер, я бессистемно сделала первые шаги в публичную сферу. Декламировала и пела свои стихи, часто под электрогитару Ленни Кэя, в художественных галереях, библиотеках, на крышах домов и даже в планетарии.

“Мы сами себе не хозяева”, — написал Герман Гессе. Я много размышляла над этими словами и пришла к своему выводу: может, Гессе и прав, но мы хозяева своего творчества. Мысленно я продолжала брать пример с Боба Дилана — с ним самоотождествлялась больше, чем с кем бы то ни было. Мне были близки его язык, его походка, его имидж на обложке альбома *“Tarantula”* — рубашка с воротником на скрытой застежке, темные очки. Но никогда в жизни не ощущала себя Диланом — всегда только самой собой. А временами вообще ни с кем себя не отождествляла. Объявляла свой личный период гранджа — носила вязаные кофты с винтажными платьями. Надевала армейские ботинки, чеканила шаг по Вашингтон-сквер, вопрошала: “Какая роль подойдет моей душе?”

У нас с Ленни появились первые фанаты — немногочисленные, но преданные. Мы спо-

радически выступали со своей смесью поэзии, трех аккордов и благословенного шума. Этот совместный проект подходил нам обоим. Мы не задумываясь сверяли свой путь по Рембо. Решив почтить столетие публикации “Одного лета в аду”, мы почувствовали, что пора расширяться в музыкальном смысле, стали искать пианиста, который бы нам аккомпанировал. Дэнни Филдс — у него был глаз-алмаз по части музыкального сватовства — прислал нам Ричарда Сола. Он был молодой, младше нас, с длинными золотыми кудрями — вылитый Тадзио из “Смерти в Венеции”. Мыслил интуитивно, получил академическое образование, мог одинаково непринужденно играть концерты Мендельсона, мелодии из мюзиклов и рок на три аккорда. Благодаря Ленни и Ричарду я нашла и усилила свой голос. Теперь я могла бесконечно плыть по ритмическим структурам аккордов Ричарда, а Ленни получил свободу играть интерпретации моего текста. Мы стали одним целым: три сосны, есть где заблудиться, как говаривал Ленни.

В 1974 году мы стали искать единомышленников и нашли — двух поэтов, Тома Верлена и Ричарда Хэлла, создателей группы *Television*. Они еще раньше наткнулись на бар “Си-би-джи-би” на

Бауэри — никому тогда не известный, обшарпанный. Его хозяин Хилли Кристэл разрешил Тому и Ричарду соорудить в баре небольшую сцену. Никаких правил, кроме “будь свободным человеком”, никаких ожиданий по части материальных благ. Все мы жаждали новизны, соединяли поэзию с роком, искали голой правды, без фальши, без прикрас. В погоне за озарением мы можем вляпаться в грязь, но в погоне за простотой очищаемся; все мы стремились и к озарению, и к простоте.

Меня тянуло к Тому Верлену, развинченному мультипликационному ангелу, пожалуй, самому талантливому и красивому из нас. Впрочем, молодость красива по определению, и даже сквозь прыщавый фасад несовершенства просвечивает что-то изумительное. Теперь, оглядываясь на прошлое, видишь, что эта музыкальная сцена, бурно развиваясь, была ошеломляюще яркой, арт-крысы с удовольствием обнимали, а затем раздирали в клочья колоссальную историю культуры, рвались в будущее, переполняемые резвой, плодотворной энергией.

В начале июня Ричард, Ленни и я собрались в студии звукозаписи *Electric Lady Studios* на Западной Восьмой, в нескольких кварталах от моей

квартиры. Когда-то, в 50-х и начале 60-х, то была улица художников. В этом самом здании, где Джими Хендрикс создал свою студию, когда-то преподавал Ганс Гофманн, напротив находились мастерские Джексона Поллока и Ли Краснер. Мы записали независимый сингл — кавер на *“Hey Joe” (*“Эй, Джо”) в версии Хендрикса и рэп *“Piss Factory”* (“Мочекомбинат”), навеянный бесчеловечными условиями на фабрике в Саут-Джерси, где мне когда-то довелось работать. В профсоюзе я не состояла, защитить мои права было некому. Роберт с гордостью оплатил нам три часа студийного времени, продюсером стал Ленни, а Том Верлен внес в *“Hey Joe”* свою сольную партию — напористую, вопрошающую. Сингл напечатали в Филадельфии, мы назначили цену — два доллара — и торговали им сами на улицах, в парке Вашингтон-Сквер, “Готэм бук марте” и на ступенях у входа в музей Метрополитен. В августе наше трио при поддержке *Television* две недели играло на верхнем этаже в “Макс’ Канзас-сити” — там же, где я когда-то впервые услышала *Velvet Underground*. Ричард опустил четвертак в музыкальный автомат в “Максе”, поставил *“Piss Factory”*. Для нас всех это стало предметом гордости.

Никаких планов, никаких расчетов — просто некий органичный переворот привел меня от письменного слова к устному слову. От уединения к сотрудничеству. Из “Челси” в кафе “Данте”, а оттуда на подмостки кабаре. Детали головоломки, падая с неба наугад, соединялись сами. Организацией наших концертов неофициально занялась фирма *Wartoke Concern* под руководством Джейн Фридман. Они предоставили нам репетиционную базу позади старого кинотеатра “Виктория” на западной стороне Таймс-сквер — неутомимого сердца Нью-Йорка. Теперь Ленни, Ричарду и мне было где работать над новым материалом. В день кончины Рембо мы представили в отеле “Рузвельт” у вокзала Гранд-Сентрал программу “Рок-н-Рембо-III”, специальный гость — Сэнди Булл. Площадка вдали от исхоженных путей, но очередь на вход вытянулась вокруг квартала — живое доказательство нашей необъяснимой, но растущей популярности. Затем мы сели в самолет вместе с Джейн Фридман и прибыли на Западное побережье: играли в клубах и барах, воспевали Рембо в музыкальном магазине “Довольно заезженные пластинки” (*“Rather Ripped Records”)*.

Круг фанатов и размах наших музыкальных

замыслов росли как на дрожжах, и мы единодушно решили: пора еще немного расшириться. В середине декабря шли сильные дожди. Мы прослушивали на своей базе потенциальных гитаристов-басистов. Берегли свое своеобразие — искали кого-нибудь, кто играет в похожей манере и не потащит нас в сторону мейнстрима. Талантливый Иван Краль, беженец из Чехословакии, выделялся из общего ряда. Вдобавок большинство тех, кто приходил на прослушивания, отказывались играть в группе, где лидер — какая-то баба. Иван, доброжелательный и трудолюбивый, легко вписался в нашу компанию. На репетициях мы час за часом добивались нераздельного слияния поэзии с тремя аккордами. Получалась этакая холмистая равнина, где я могла риффовать и танцевать. Квартетом мы впервые выступили в клубе “Мейн пойнт” в окрестностях Филадельфии, на разогреве у Эрика Бёрдона. Для всех нас это была большая честь — открывать концерт участника первого состава *Animals*.

В первый день весны, на пару с *Television*, мы начали пятинедельную серию выступлений в “Си-би-джи-би”. Играли с четверга по воскресенье, два концерта за вечер, в том числе на Пасху и в Светлую Пятницу. Раньше мы выступали

несистематически, то там, то сям, а теперь сосредоточенная работа на привычной площадке дала шанс эволюционировать на сцене в реальном времени. Этот маленький бар с бильярдным столом, с множеством надписей в сортирах тогда еще не вошел в моду, в нем собирались те, кто сколачивал новые группы и работал над новым материалом. Никто не вел счет успехов и неудач, поэтому наши аранжировки возникали и развивались органично. Каждый вечер мы были вольны двигаться в разных направлениях, имели возможность исследовать внутренний мир своих песен и дальние пределы импровизации. Музыка моей группы струилась, как переменчивая река, и я, блуждая вдоль ее излучин, восторженно обнаруживала необычайные притоки. Ничуть не боялась сбиться, а если сбивалась, просто следовала совету Сэма.

Вечера были разные — то публика буянит, то в зале почти пусто. Были проблемы со звуком, поломки аппаратуры, слезы и маленькие триумфы. Наши заядлые фанаты вскоре последовали за нами на Бауэри. Клайв Дэвис, Лу Рид и Дейв Марш из журнала *Creem* приходили послушать обе группы, когда концерты стали преимущественно электрическими. Свое выступление мы

завершали звуковым пейзажем на три аккорда, который был вдохновлен классической вещью Криса Кеннера *“Land of a Thousand Dances”* (“Страна тысячи танцев”). Я быстро развивала историю о злоключениях Джонни: этот персонаж — мой дружеский кивок Роберту, а заодно потомок Джонни из “Диких мальчиков” Берроуза. В один из переломных вечеров Роберт в своей неизменной косухе сидел рядом с Уильямом Берроузом. Присутствие моей музы и моего ментора меня, конечно же, вдохновило. В конце апреля в “Си-би-джи-би” впервые случился переаншлаг.

30 апреля 1975 года завершилась война во Вьетнаме. Активистка Кора Уайсс и музыкант Фил Окс, чьи песни стали знаменем антивоенного движения, организовали бесплатный фестиваль “Война окончена”. Он состоялся 11 мая на Овечьем лугу в Центральном парке. На эту историческую акцию собрались тысячи человек. Выступали Гарри Белафонте, Джоан Баэз, Белла Абзуг и Пол Саймон. Фил Окс, собравший всех вместе, великодушно выделил время нам, молодым да ранним выскочкам. Я вышла на сцену в темных очках, рваной белой рубашке и черном шелковом галстуке. Перед такой толпой мы еще ни разу не играли, но я, окинув взглядом людской

океан, почувствовала: как ни странно, тут командую я. Тысячи людей сидели на пологих склонах. Ричард и Ленни заиграли *“Gloria”*, подражая звукам горнов, и тогда на эти преисполненные надежд толпы словно бы наложилось поле битвы, заваленное ошметками минувшего десятилетия. Даже в центре этого светлого, пополам с горечью, праздника мы оплакивали голоса, которые вознеслись к небу, а затем угасли. Теперь к нашему поколению перешла обязанность воскресить пламенный дух нашей культурной революции.

В конце мая мы дали бесплатный концерт в поддержку нашей великой контркультурной радиостанции WBAI. Трансляция шла в прямом эфире, из перестроенной церкви близ моста Куинсборо. Во время исполнения *“Gloria”*, в перерыве на импровизацию, я кратко рассказала, как объединилась наша четверка. А в самом конце бросила клич в прямом эфире: нет ли для нас подходящего барабанщика? Джей Ди Догерти откликнулся на зов, и два-три дня спустя мы уже репетировали вместе. Не прошло и месяца, как мы впервые выступили прилюдно в качестве рок-н-ролльной группы: *art/rats* завертелись со скоростью 78 оборотов в минуту.

26 июня 1975 года мы играли в Вилидже, в “Бит-

тер энд". Первый наш концерт с барабанщиком, примета того, что у нас настоящая рок-группа. С первой же секунды на сцене я ощутила что-то необычное, атмосфера невероятно наэлектризованная. Вначале подумала: это из-за нашего нового, многослойного звучания. Но нет — еще что-то происходит. Я почуяла это, как кожа чувствует повышенную влажность; воздух заряжен, и это еще больше подзадоривало наше буйство на сцене. После концерта в нашу гримерку вошел Боб Дилан. До меня донесся голос, который ни с каким другим не перепутаешь: "Тут, за сценой, поэтов не найдется?" В моих жилах кипел адреналин, и я в необъяснимой запальчивости выпалила: "Ненавижу поэзию". Отчего, сама не понимаю, особенно в свете того, сколько значил для меня Дилан. Но он лишь засмеялся, и показалось: нет ничего чудеснее, чем видеть улыбку Боба Дилана. Его присутствие вызвало фурор, несколько человек защелкали фотоаппаратами. Фотограф Чак Пулин попросил разрешения снять нас вдвоем снаружи около входа. Несколько дней спустя снимок появился на обложке *Village Voice*, и я занервничала: как к этому отнесется Дилан? И тут же столкнулась с ним на Западной Четвертой, прямо у киоска с целой стопкой этих номеров.

Он лукаво спросил: “Вам знакомы эти двое?” А я спросила, сердится ли он. Он лишь помотал головой и ухмыльнулся.

Некоторое время мы жили на одной улице, и в то лето он иногда проходил мимо моей пожарной лестницы. Мы случайно встречались, и иногда он брал меня с собой, куда бы ни шел. Однажды вечером мы пришли в чей-то лофт в Вест-Вилидже. Там все были старше меня, и я чувствовала на себе зоркие, подозрительные взгляды, но, скажу вам честно, меня это не напрягало. Я села у его ног, а он взял акустическую гитару и сыграл все песни, которые позднее вошли в альбом *“Desire”* (“Желание”) . Больше всего меня пленила *“One More Cup of Coffee”* (“Еще чашечку кофе”), в ней звучало что-то арабское. Слушать эти песни было истинным благословением свыше, но немного погодя я начала ерзать. Пока он готовился сыграть очередную песню, я вскочила. “Сваливаешь?” — спросил он. “Да, — застенчиво сказала я, — тут не совсем моя компания”.

Боб, похоже, никогда не обижался на мои слова, и я полагала, что вольна свободно высказывать свое мнение. Он спрашивал, над чем я работаю, и сам рассказывал о своей работе. Не могу утверждать, что мы были друзьями, но он,

по-видимому, доверял моему мнению по определенным вопросам. Когда он затеял снимать некий фильм и ему понадобился сценарист, я упомянула о Сэме Шепарде, сказала: “Позвони ему”. В другой раз Дилан спросил, нет ли у меня знакомых девушек-певиц для его нового диска.

— Ну, я певица, — сказала я.

— Нет, я хотел сказать — настоящих певиц.

— Хочешь сказать, я не настоящая певица?

— Нет, — засмеялся он, — я хочу сказать, что ты скорее вроде меня.

Я для виду надулась, но, если честно, мне было приятно это услышать.

Несколько дней спустя он упомянул, что надо бы организовать что-то вроде бродячей концертной труппы, и позвал меня, ничего не объяснив, прийти в “Гердс фолк сити”. Я не знала, чего ожидать. Когда я пришла, там уже собралась толпа широко известных музыкантов, чувствовалось, что все ждут чего-то грандиозного. Боб сидел в окружении своих близких и друзей: там были его жена Сара, Джоан Баэз, Рэмблин Джек Эллиот и Аллен Гинзберг. Я смекнула, что каждый должен что-нибудь сделать — прочитать стихи или спеть. Призадумалась, гадая, что сделать мне: ни на одном музыкальном инструменте я не играла,

никаких номеров заранее не готовила. И тут прозвучало мое имя. Я огляделась по сторонам, набрала в грудь воздуха и сымпровизировала повесть о безумных отношениях лучника и его сестры в Японии XVI века. Эрик Андерсен стал подыгрывать мне на гитаре. После нескольких запинок я выработала мощный ритм и закончила декламацией: “Я движусь в другом измерении”. На высокое искусство это совсем не тянуло — процесс чисто на звериных инстинктах, но я не ударила в грязь лицом, доказала, что могу вывернуться не сходя с места. А потом откланялась и отправилась через весь город в “Си-би-джи-би”, оплот безвестных, — предпочла общество своих товарищей по племени.

Я чуяла, что энергия подталкивает меня сменить направление. Вдобавок арендный договор истек, квартплату сильно повысили, и мне пришлось искать новое жилье. Я знала, что буду скучать по своей пожарной лестнице над оживленной улочкой, но была готова к переменам. Меня пригласили на первый сбор труппы *Rolling Thunder Revue* в Нью-Хейвене. Я сидела в пустой гримерке, все еще толком не понимая, что мне придется делать. И тут вошел Боб. Сел на стул. Как-то беспокойно заерзал. Его что-то гнетет,

почувствовала я. Сказала: “Говори все напрямик”. Он сказал, что желающих сыграть набралось неожиданно много. Мой номер пришлось сократить, и в программу тура он, скорее всего, тоже не попадет. На меня произвел большое впечатление тот факт, что Боб сказал мне об этом самолично и не пряча глаз. Я не обиделась — я и сама понимала, что в их шоу не вписываюсь: слишком уж я дикая и непочтительная. Я укутала ему шею своим длинным индийским шарфом и пожелала удачи. Позднее я видела его фото в этом шарфе — казалось, он передает мне привет, и этого мне было достаточно. Я гордилась тем фактом, что он что-то нашел в нашей группе. Это стало моим якорем в трудные времена, ожидавшие нас впереди. Одобрение Боба побудило других окружить нас почтительным кольцом. Я не стала участницей шумного *Rolling Thunder*, но заключила контракт с Клайвом Дэвисом на его новом лейбле *Arista* и скоро оседлала своего скакуна.

Церковь Святого Марка в Бауэри на Восточной Десятой много лет остается пристанищем танцоров, поэтов и активистов. Памятник истории, украшение моего нового квартала, место, где я впервые прочла свои стихи прилюдно, где завязалось мое творческое сотрудничество с Ленни

Кэем. Я нашла себе квартиру вблизи церкви, на Восточной Одиннадцатой: седьмой этаж, дом без лифта, ванна — на кухне. Том Верлен, живший рядом, помог мне перевезти вещи — маленький письменный стол, постельное белье, папки с рисунками, а также все мои книги и пластинки. Я расстелила на полу матрас, повесила над окнами марокканские ткани, разложила свои талисманы и провозгласила квартиру своим домом.

Засиживалась допоздна — слушала *Velvet Underground*, писала длинные стихотворения в прозе. Иногда говорила себе: “Лучше бы писательство было моим единственным призванием”, но какая-то сила все равно вела меня в другие роды искусства.

Утром я спускалась на улицу, покупала кофе и шоколадные донаты, чтобы принести их наверх Тому. Телефонов у нас не было, но окна наших кухонь были напротив, и мы перекрикивались или просто отыскивали друг друга на улицах. У нас обоих были свои группы и работа на полставки, а на досуге мы ходили по книжным магазинам. Надолго зависали в книжном “Новости о летающих тарелках” на Девятой авеню, рылись в целой сокровищнице трудов по духовной и научной уфологии, строили догадки о смысле

гигантской жестяной вывески в магазине — “Клиника преуспеяния”. Мы были словно древние дети — держась за руки, плели байки, где сказки Альгамбры[22] соединялись с отчетами землян, похищенных пришельцами.

В восточную часть Манхэттена я старалась не углубляться — по ту сторону Авеню Би тогда случалось много чего, связанного с тяжелыми наркотиками. Но можно было спокойно ходить по Сент-Марк-плейс с кустами кизила и небольшим кладбищем, пить яичный крем[23] в кафетерии газетной лавки “Джем спа”, заказывать яичницу-болтунью с халой в *B&H*, покупать продукты в итальянских пекарнях и на овощных лотках, работавших спозаранку. Поздно ночью Ист-Вилидж странно затихал, уличные фонари начинали казаться мистическими и в то же время бутафорскими, словно находишься на киносъемках, и пробуждалось томительное ожидание чего-то, что пока не произошло, события, которое взбудоражит все твои чувства, чего-то мрачного

---

[22] Примечания: 22

Отсылка к одноименной книге Вашингтона Ирвинга.

[23] Примечания: 23

Безалкогольный коктейль из молока, газированной воды и сиропа. Считалось, что именно в “Джем спа” подавали лучший яичный крем в Нью-Йорке.

и энергичного, словно красавец-пироман.

Как-то ночью, возвращаясь пешком из “Си-би-джи-би”, я увидела: за забором на детской площадке мелькнул в воздухе красный мячик. Послышался чей-то голос: “Лови”. Но там не было ни души. Торопливо свернув за угол, я чуть не столкнулась с одиноким хаски. Он замер, уставился на меня, из его белых глаз хлынула музыка. Позднее я намурлыкала Ленни обрывки мелодии. Аккорды пригодились для *“Free Money”* (“Даровые деньги”) , первой песни, которую мы написали вместе. Слова *“Scoop the pearls from the sea, cash them in and buy you all the things you need”* (“Зачерпни все жемчужины из моря, сдай взамен на деньги и купи себе все, что нужно”) написаны для моей мамы. Каждый из нас мечтает о чем-то, что ускользает из рук; мама мечтала купить нашей семье большой, с множеством спален дом на обрыве, с видом на реку Мистик.

В репетиционной, в укромном закоулке прямо у Таймс-сквер, мы могли двигаться вперед в своем темпе, затворившись в средоточии нашего творчества, где время медлило, пока вокруг все головокружительно мчалось. Многие наши песни эволюционировали на концертах, а потом текст доводился до ума в репетиционной: в приливе

вдохновения я осекалась на середине песни, чтобы занести альтернативный вариант на бумагу. *“Redondo Beach”* первоначально был стихотворением, сочиненным в вестибюле отеля “Челси”; позднее Ленни, Ричард и я превратили их в регги. Текст к жизнерадостной песне *“Kimberly”*, сочиненной Иваном Кралем, я сочинила, чтобы окружить младшую из моих сестер мистической защитой. Кимберли — талантливая, миниатюрно сложенная умница, обожаемая нашей мамой — отличалась непростым характером и выбрала себе тернистый путь, хотя все мы изо всех сил старались обуздать ее порывы. *“And I feel like some misplaced Joan of Arc and the cause is you looking up at me”* (“И я чувствую себя Жанной д’Арк, которую занесло не туда. Это потому, что ты смотришь на меня снизу вверх”). Строки навеяны давним воспоминанием: я держу Кимберли на руках в то время, как посреди Томасова поля рушится старый черный амбар, охваченный пламенем.

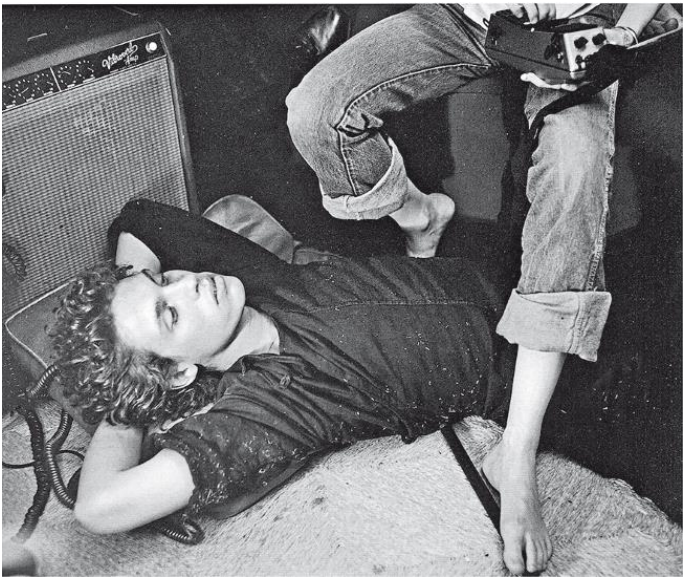
Мне было довольно нелегко переключиться со стихов на тексты песен, и я попросила совета у Тома: он-то фонтанировал песнями без остановки. Он поделился одним из своих методов. Открыл мой блокнот наугад — на моем сне, навеянном историей Прометея: Джим Моррисон,

закованный в цепи, дремлет внутри своего мраморного подобия. Во сне я почувствовала, что в нем зашевелилась жизненная сила. Закричала ему: *“Break it up!”* — “Разбей его, разбей его, Джим, разбей!” Я сама была заточена внутри своего вакуума, но кричала, и наконец его мраморный кокон треснул, раскололся; я увидела, как Джим, уже крылатый, вышел из кокона и стремительно взлетел в небо. Соединив обрывки нашего разговора со строчками из моего блокнота, мы написали текст песни *“Break It Up”*, и Том по ходу работы положил его на музыку.

Пока группа готовила наши песни к записи, я размышляла о нашей миссии: какой вклад мы, невзирая на свою неопытность, способны внести в канон нашей культуры? В юности я, романтично одобряя любое геройство, интуитивно поняла, что герой может достичь высот, даже выйдя из низов. Что ж, пришла пора заставить эти юные мечты служить самой неожиданной для меня форме искусства — музыкальному альбому. Я стала третьей из музыкантов, с которыми заключил контракт новый лейбл Клайва Дэвиса *Arista*. Юридические вопросы я препоручила фирме *Wartoke*, но настояла, что получу полный творческий контроль над раскруткой и рекламой

своих произведений. Мной интересовались и другие лейблы, предлагали более крупные суммы, но только Клайв, всей душой понимавший мою позицию, предложил творческую свободу, в которой я нуждалась. Решение по тем временам уникальное, особенно для топ-менеджера, чьи решения частенько приносили музыкантам успех у массовой аудитории. Правда, наша договоренность повлекла за собой несколько ожесточенных споров, но Клайв никогда не изменял своему слову.

В *Wartoke* решили, что для студийной работы мне отлично подойдет Пол Ротшильд, в прошлом продюсер *The Doors*. Мы встретились в офисе *Wartoke*, но ничего не вышло. Я, в старом сером плаще и битнических сандалиях, сижу на диване, и тут входит безупречно одетый Ротшильд, встает надо мной. Начинает разговор с похвальбы своими достижениями — мол, я сделал Джима Моррисона звездой, я верю, что смогу и вас сделать звездой, но вы должны отдать все под мой полный контроль. Я немного подумала над его предложением, встала и, направляясь к выходу, ответила: “Джим Моррисон был поэт. Он, скорее всего, создал себя сам”.



С Ричардом Солом в репетиционной на Таймс-сквер

В конце концов я остановила выбор на Джоне Кейле. Он был художник и композитор, не имел привычки, в отличие от Ротшильда, хвалиться своими талантами и ставить условия артистам. Вся наша группа восхищалась музыкальным наследием Кейла и высоко оценивала саунд его сольных альбомов. К сожалению, нам были не по

карману услуги его блестящего звукорежиссера Джона Вуда, но Кейл согласился прилететь из Лондона в Нью-Йорк, чтобы с нами поработать.

На следующий день после Дня труда мы явились в студию, созданную Джими Хендриксом. Ленни, Ричард, Иван, Джей и я спустились по лестнице и переступили порог *Electric Lady*, прошли по коридорам, расписанным космическими пейзажами, вошли в студию "А", где нас уже ждал Джон Кейл. Весь вечер ребята таскали и настраивали инструменты. В полночь мы записали свою версию *"Gloria"*, скрестив классическую вещь Вэна Моррисона с моим стихотворением 1968 года *"Oath"* ("Клятва"). Вряд ли найдется хоть одна начинающая рок-группа, у которой не было бы своего кавера на *"Gloria"*, но до меня вряд ли был хоть один кавер с женским вокалом. Работа над этой песней стала своеобразной инициацией, а заодно ответом тем, кто пытался загнать меня в угол или требовательно вопрошал: "Кем ты себя считаешь?" Ричард уверенно сыграл вступительные аккорды, а я произнесла — пение напополам с речитативом — строчку из *"Oath"*: *"Jesus died for someone's sins but not mine"* ("Иисус умер за чьи-то грехи, но не за мои"). Провозгласила, что беру на себя ответственность за свой выбор в жизни и

искусстве.

Студийная *“Gloria”* в точности повторяла нашу концертную аранжировку. Я мало что смыслила в процессе звукозаписи и хотела сохранить достоверную атмосферу живых выступлений. Я была еще салагой, иногда рассуждала неразумно, отчаянно старалась уберечь наше творчество, настороженно реагировала на любые изменения — хоть на чересчур рьяные наложения звука, хоть на предложения насчет струн. Иногда случались споры, Джон, как мог, старался удовлетворить наше стремление звучать правдиво, но параллельно убеждал воспользоваться еще неведомыми нам потенциальными возможностями, которые дает студия.

“Birdland” (“Страна птиц”) была, говоря словами Ленни, самой ослепительной вспышкой на всем нашем пути в музыке. Она пережила мутацию. Первоначально она называлась *“The Harbor Song”* (“Песня гавани”) и была метафорической историей о странствии птиц, летящих под водой. Мы исполняли ее под аккорды Ричарда, струящиеся рекой. У нее не было заранее заданного текста, и мы рассчитывали, что это будет идеальная импровизация в составе альбома. Джон оценил ее музыкальные достоинства, но идея безудерж-

но импровизировать текст перед микрофоном вызвала у него сомнения. Я настаивала, а Джон потребовал, чтобы я доказала свою правоту делом. Понукал нас: глубже, еще глубже, мы выматывались, записывая дубль за дублем. Я вообразила по-своему сцену похорон отца из только что прочитанной "Книги снов" Питера Райха[24]; сыну чудятся огни звездолета, прилетевшего за отцом, и сын умоляет: "Заберите меня вместе с ним". Текст перестал быть моим, теперь он рассказывал о преображении сына, излучал фосфоресценцию. Мы пронеслись по полю эмоций, словно природный пожар, рыдания отчаявшегося мальчика звучали громче всего, а "фендер-стратокастер" Ленни подражал крикам дроздов. Джон, заметно потрясенный, наконец-то заявил: "У вас все получилось". После записи Джон стал допытываться, кто я по происхождению. "Частично ирландка, частично англичанка", — сказала я. "Ты не ирландка, — сказал он, — ты валлийка, возможно, из рода валлийских проповедников". Сделал мне большой комплимент — ведь Джон сам был валлиец.

"Land" ("Страна"), десятиминутная заключи-

---

[24] Примечания: 24
Сын психоаналитика-неофрейдиста Вильгельма Райха.

тельная композиция, выросла из песни *“Land of a Thousand Dances”* (“Страна тысячи танцев”). Она представляла собой трудоемкий синтез простоты с импровизационным бедламом. Ее изменчивые извивы сохранили ауру места, где она по-настоящему сформировалась: мигающие тусклые светильники в “Си-би-джи-би”, поодаль неизменно маячит фигура Хилли Кристэла, воняет мочой и пивом, развеваются волосы Лиззи Мерсье, у слушателей вид озадаченный, а потом публика в горячечном темпе высыпает на Бауэри. Все они были нашим зеркалом, экзальтированным и осквернённым. Джонни с сияющей, как великие стремления, кожей блуждает в руинах своего столетия, из нескончаемого коридора путь приводит в школу танцев Криса Кеннера, а затем в видение о смерти на Портобелло — Джими Хендрикс уходит из жизни, убаюканный пульсом рок-н-ролла. Мне хотелось, чтобы в звучании сохранилась непосредственность игры вживую, но в то же время возник образ: хор серафимов указывает дорогу Джонни, а затем набрасывается на него. Мы спланировали работу: под терпеливым руководством Джона я записала и скрупулезно разметила несколько дорожек с вокалом. Мы вместе сводили их вручную. Эти часы сосредо-

точенной совместной работы — самое лучшее в интенсивном курсе обучения, который мы охотно прошли в студии “А” в *Electric Lady*.

“Elegy” (“Элегия”) — салют ушедшим. Мы записали ее в пятую годовщину смерти Джими Хендрикса. Безукоризненно внимательный Ричард аккомпанировал мне на фортепиано. В кабинке вокалиста я сфальшивила и невольно подумала, что, увы, не особо продвинулась по части пения, но Джон и группа меня подбадривали. Музыку написал Аллен Ланьер из группы *Blue Öyster Cult*. Он же добавил в композицию свои неземные гитарные партии. Я задумала, что последние ноты *“Elegy”* должен сыграть Чет Бейкер, но его гонорар никак не укладывался в наш бюджет. И все же зов его трубы каким-то загадочным образом остается со мной — на безмолвной территории, где пребывает все, что не свершилось.

Выстраивая последовательность композиций на альбоме, я стремилась хотя бы абстрактно создать иллюзию кинопросмотра. Решила, что альбом будет начинаться с нашей версии *“Gloria”* — декларации о праве творить, ни перед кем не извиняясь, с позиции, которая выше гендерных или общественно-социальных определений,

но не выше долга делать свое дело на совесть. Сопроводительный текст служил своего рода поэтическим манифестом. Я писала его с мыслями о своем брате — он тоже разрывался между двумя гендерами. В детстве и юности я сокрушалась, что не родилась мальчиком. Но в действительности мне хотелось не быть мальчиком, а оставаясь самой собой, иметь выбор, который, как я полагала, есть у мальчиков. Я желала свободы, а в детстве это значило для меня, что можно носить фланелевые рубашки и синие, а не красные кеды, выбирать и отвергать одежду по моему собственному вкусу. В подростковом возрасте свобода означала, что можно обходиться без косметики и лака для ногтей, не брить ноги, не допускать, чтобы меня готовили к жизненному призванию, которое мне вроде как подобает. В двадцать лет свобода значила, что можно не считаться с любыми заранее заданными моделями женского поведения, которые нам предлагают. Именно этому я сопротивлялась, именно от этого бежала.

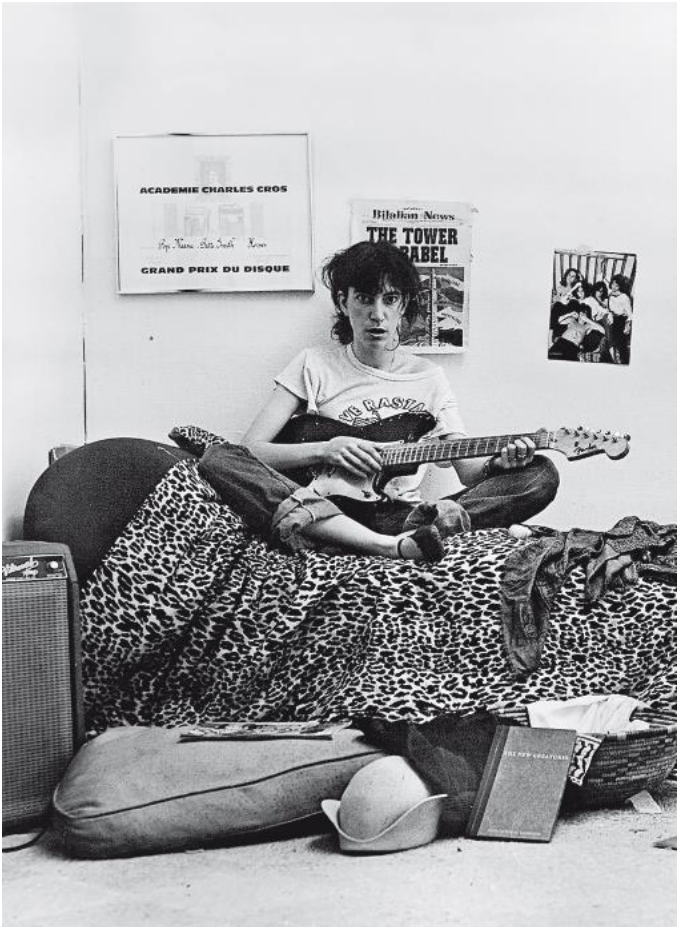
У Тодда конфликт был совсем другой. Из-за платья, которого не видели другие. Первое, стыренное из шкафа сестры, было спрятано под синими джинсами и комиксами, запретными сигаретами и бейсбольными карточками. Шло время.

Куда-то задевалась блузка. И юбка с неподшитым подолом — ну та, темно-синяя, шов разошелся, ее положили в кучу вещей для починки, а потом юбка как сквозь землю провалилась. Никто из нас не знал, что его мужское начало борется само с собой. На игрока в бильярд, читателя спортивного раздела газет, с вечной сигаретой, свисающей из уголка рта, вдруг накатывала волна беспокойства, потребность надеть одежду Рейчел — это имя из "Бегущего по лезвию", имя репликантки, в которую влюбился Декард, имя, выбранное им для себя. Тодд не мог убежать, потому что Рейчел была внутри него; ее женское сердце билось под его футболкой с надписью ART/RAT.

Мы воспитывались в атмосфере гуманизма, и наша потребность в открытости совпадала с жизненной позицией наших родителей. Я позвала его приехать в Нью-Йорк, где жило гораздо более благожелательное сообщество, и поработать с нашей группой. Вскоре он собрал свои пожитки и переехал, влился в нашу небольшую команду техников. На время повеселел с виду.

Мы доделывали альбом, сталкиваясь с новыми сложностями и атакуя их в лоб. Мой стиль самоподачи вселял сомнения, и художественный отдел отретушировал снимок работы Роберта

Мэпплторпа, предназначенный для обложки: мне пригладили волосы, лицо подправили в соответствии со стандартами красоты. Я отвергла изменения, выразила протест Клайву; оригинальную работу Роберта моментально восстановили. Я все зорко отслеживала, сама переписала рекламную аннотацию, чтобы лучше соответствовала духу нашей группы: “Три аккорда, соединенные с силой слова”. Скоро эту фразу стали цитировать не меньше, чем тексты моих песен.


ACADEMIE CHARLES CROS
GRAND PRIX DU DISQUE
Billboard News
THE TOWER
ABEL

Да, я была признательна за возможность записать альбом, но должна была многое уберечь. Поэт живет обособленно, но, если уж поэт объединяется с группой музыкантов, приходится покориться чуду коллективного труда. Теперь я обзавелась верными союзниками, совсем как в детстве, когда моей армией были мои брат и сестра. Наша группа совместно произвела на свет альбом. При всех недостатках и недоработках мы не изменили своему желанию выковать нечто новое. Во время записи я понимала, что наш альбом не отвечает вкусам массовой аудитории, но чувствовала, что смогу найти понимание и отклик у тех, кто оттеснен на обочину общества: я же сама с обочины. Мы записали альбом не в погоне за славой и богатством. А для арт-крыс, известных и безвестных, тех, кто оттеснен на обочину, отвергнут, лишен наследства. Для девушек, которые держат транспаранты, для неомальчиков будущего, для тех, кто свалился с Венеры и Марса. Я решила назвать альбом *“Horses”* (“Кони”) — это из импровизационной композиции *“Land”*. Лошади символизировали поток мира, табун: его копыта топчут землю, он набегает со всех сторон, возвещая появление Джонни и все западни и возможности юности.

10 октября мы трудились ночь напролет — сводили *“Redondo Beach”*, работа шла к концу. Выйдя наружу, под рассветное небо, Ленни и я невольно призадумались: какой огромный путь мы прошли с первой встречи в церкви Святого Марка. *“Horses”* отдали печатать на фабрику *Columbia Records* в Питмане, штат Нью-Джерси — на ту самую, куда мне в 1967 году не удалось трудоустроиться. Моей матери позвонила с фабрики ее лучшая подруга, сказала, что мою пластинку будут печатать в ее смену. Увы, дефицит нефти повлек за собой дефицит винила, и выход альбома, назначенный на 20 октября, день рождения Артюра Рембо, пришлось отсрочить. Клайв Дэвис сообщил мне об этом по телефону лично, понимая, что я расстроюсь.

— А когда ж он выйдет? — спросила я.

— Ближайшая свободная дата — 10 ноября.

— Прекрасно, — сказала я. — Это день кончины Рембо.

— Как ты это сделала?!

— Я ни при чем, — рассмеялась я, — это все Рембо.

Когда-то я отправилась в Нью-Йорк с намерением стать художницей, но судьба привела меня на высокую кручу публичной жизни. В этом

смысле я ощущала себя прежде всего трудящимся человеком и считала нашу борьбу привилегией. Повсюду возвышались стены, но они уже трескались под ударами других людей. Нам оставалось лишь изо всех сил пнуть эти стены, обрушить их, убрать обломки и расчистить простор для неких неокрыс, которые, как я чуяла, уже на подходе. Альбом *“Horses”* возвестил о свободе, о безыскусности новой эпохи.

Ребята упаковали аппарат, заперли репетиционную, и мы отправились в тур. “Просыпайтесь! Просыпайтесь!” Слова кружили вокруг планеты Земля, слова современного Пола Ревира[25]. У меня были новые темные очки, амулеты, на рукаве нашивка в виде приветливых ангелов. Гиена показывала влажные зубы.

[25] Примечания: 25

Герой Американской революции. В ночь с 18 на 19 апреля 1775 г. ему стало известно, что отряд британцев намерен арестовать лидеров антибританского движения. Ревир вскочил на коня и объехал много городов, предупреждая о приближении недругов.

“Dancing Barefoot”

Всегда делай то, что обойдется тебе всего дороже.

Симона Вейль

Шел год Двухсотлетия — 1976-й, юбилей Американской революции. А у нас продолжалось турне в поддержку *“Horses”*, мы мчались вскачь прямо в будущее. Времена оттяга — тусоваться с Уильямом Берроузом в его бункере на Бауэри, ходить на концерты *Television* в “Си-би-джи-би”, строить планы хаотичного будущего вместе с моим братом Тоддом и колесить по Америке с рок-н-ролльным составом. У нашей страны были гигантские изъяны: постыдная война во Вьетнаме, несправедливость на почве расизма и дискриминация по признаку пола. Но то, что Америка дала мировой культуре, было для нас отрадой. Рок-н-ролл, джаз, движения борцов за гражданские права, абстрактный экспрессионизм, битники. В то время у меня было чувство, что я в силах что-то изменить в мире, была вера в нашу миссию.

В туре *“Horses”* по Западному побережью нам

составляли компанию Пол Гетти и французская актриса Мария Шнайдер, обожаемая публикой за роли в фильмах “Профессия: репортер” и “Последнее танго в Париже”. У Марии были пронзительные черные глаза и непослушные черные кудри. В белой рубашке и черном галстуке она казалась моим зеркальным отражением. Пол, внук одного из богатейших нефтяных магнатов планеты, в 1973 году стал в Италии жертвой знаменитого “похищения, которое пошло не так”[26]. Берроуз познакомил Пола, своего бледного адепта, самого юного из тех, кто переступил порог берроузовского “портала святых”, со мной. Я привязалась к Полу. У него были встрепанные рыжие волосы, кожа веснушчатая, а глаза вроде моих — тоже слегка косили. Берроуз попросил меня за ним приглядывать, но это оказалось практически невозможно: Пол отличался блестящим умом, тонкой интуицией и полным безрассудством. В Сан-Франциско мы нашли себе единомышленников. Затем провели несколько буйных ночей

[26] Примечания: 26

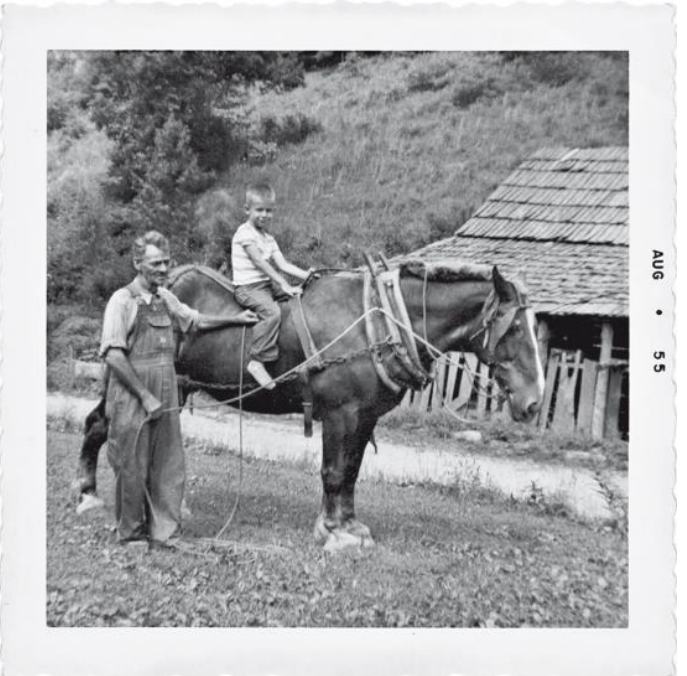
Автор подразумевает, что и преступники, и полиция действовали бестолково. Дед, известный своей скупостью, долго отказывался платить выкуп за внука, полиция подозревала, что похищение инсценировано самим 16-летним Полом и его приятелями, похитители обращались с Полом жестоко, отрубили ему ухо, чтобы ужесточить требования. В конце концов с похитителями договорились о снижении выкупа, дед заплатил, и Пола отпустили.

— отыграли несколько концертов в “Рокси” в Лос-Анджелесе. Лос-анджелесская музыкальная сцена выделялась своей уникальной ненасытностью: эта прорва пожирала так же много, как и отдавала артистам. Должно быть, в отеле “Тропикана” в Западном Голливуде, где остановилась группа, Пол, Мария и я смотрелись словно весьма примечательный треугольник. Этот отель нам всем полюбился: дешево, обстановка спартанская, стены чего только не повидали со времен, когда в доме напротив группа *Doors* записывала альбом *“L. A. Woman”*.

9 марта 1976 года мы поцеловали Марию на прощанье и вылетели в первое турне по Среднему Западу. Я была в черном шелковом плиссированном платье из магазина “Бенделс”, которое мне купил Пол. В таком же, только кремовом, Сильвия Кристель снималась в “Эммануэль”. Оно стало моей униформой. Это платье за пятьсот долларов я носила с черным пиджаком, увековеченным на обложке *“Horses”*, и армейскими ботинками.

Под вечер во вторник, в ветреную погоду, мы приземлились в Детройте. Техники поехали в “Форд аудиториум” устанавливать аппаратуру, а все остальные сразу же отправились в ресторан “Лафайетт Кони-Айленд” на приветственную

вечеринку, организованную детройтскими музыкантами. Вечеринки я не особенно любила, но соблазнилась хот-догами, которыми славится этот ресторан. Приехала туда вместе с группой и Полом. Встретили нас очень радушно. Мы немного посидели, попробовали хот-доги — похвалы им не преувеличены. Со всеми распрощались, направились к выходу. И в тот миг я впервые увидела его. Он стоял у белого радиатора. В синем пальто. Мой взгляд зацепился за свисающие нитки — одной пуговицы не хватало. Этому скоротечному мигу было суждено изменить курс всей моей жизни. Ленни представил нас друг другу. Сказал просто: “Фред Смит, Патти Смит. Патти Смит, Фред Смит”. Волосы у Фреда были каштановые, обвисшие, глаза — как вода. Он положил пуговицу на мою ладонь, и я бессловесно провозгласила ее сокровищем. Ощутила силу притяжения, гравитацию, которая буквально сотрясла все мое существо, зажгла влечение к Единственному, к доброму, лучше всех нас, дикарю. Нас коснулся перст судьбы; в этот миг я поняла: “За этого человека я выйду замуж”.



Фред со своим дедом в Западной Вирджинии

Не успели мы заселиться в отель, как Пол собрал свои вещи и попрощался со мной. Я спросила: “Почему ты уезжаешь?”, а он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: “Ты и этот парень созданы друг для друга”. Я растерянно пискнула: “Да я его

совсем не знаю", но, говоря по совести, отпираться не могла. Уходя, Пол улыбнулся: бледная кожа в веснушках, спутанные рыжие космы, всего одно ухо. Падший архангел с даром ясновидения.

Фред Смит, будущий Фред Соник Смит, родился в Западной Вирджинии в доме своего деда, на кухне. Акушерка опоздала, и роды принял сам дед, неунывающий малорослый бывший шахтер. Мать Фреда была истовой христианкой. Отец решал проблемы сплеча — он был дальнобойщик, член знаменитого профсоюза "Тимстерс", любил Билла Монро, знал все песни Хэнка Уильямса. Человек порядочный, трудолюбивый, но крутого нрава: у Фреда с детства часто случались драки с отцом.

В старших классах школы Фред блистал в спорте. Тренер по боксу восхищался его проворством в защите и размахом рук. Но Фред, втайне сознавая, что в нем много подавленной ярости, ушел из бокса — боялся кого-нибудь покалечить. Юниорская команда бейсбольного клуба "Тайгерс" обратила внимание на его мощную подачу. Фред очень обрадовался, но метался, гадая, что выбрать — спорт или группу, сооснователем которой он только что стал. Группа превратилась в MC5, команду с революционным звучанием.

В шестнадцать лет он сбежал из дома и заодно от надвигающегося призыва в армию, бросил школу и спорт. Фред потрясал гитарой, словно оружием, его стиль игры предопределяли противоречивые эмоции в его сердце. В миг знакомства я понятия не имела, кто передо мной, но сразу поняла, что он станет моей жизнью. Такова страшная таинственная сила любви: она уводит нас от всего, что нам привычно и знакомо.

Вновь я увиделась с ним только в декабре, после нашего второго концерта в Детройте. Наша группа и техники выпивали с местными музыкантами в баре отеля “Ренессанс”. Фред взял меня за руку, и мы незаметно смылись, вошли в эффектный стальной лифт со стеклянными стенами, и Фред нажал на кнопку двадцать пятого этажа. И в этом неспешно поднимающемся лифте мы впервые оказались наедине, и я до сих пор помню, как колотилось мое сердце. Панорама Мотор-Сити под нами отступала все дальше, и начался наш дистанционный, диковинный роман, где решающую роль сыграли доверие и терпение, а не физическое присутствие. Письма, телепатические пожелания и редкие телефонные звонки — в те времена междугородняя телефонная связь стоила непосильно дорого. На гастролях в каком-

нибудь безвестном городке, заметив телефонную будку, я выпрашивала у всех товарищей мелочь, просила припарковать наш автобус на обочине и звонила — хотя бы на пару минут, просто чтобы услышать его голос.

Возможность гастролировать по всему миру разлучала нас, но для нищей путешественницы была благодатью. Передо мной оживали страницы из книги “Вокруг света в 1000 картинках” — много знакомых страниц. Зато абсолютно неожиданной для нас оказалась реакция молодежи в Брюсселе, Лондоне, Париже, Амстердаме, Германии — по всей Европе — на нашу музыку. Ленни и я уделяли как можно больше времени разговорам с подростками, которые собирались около наших отелей или на улицах, стояли в очереди к кассам перед концертом. Мы отвечали на их вопросы, призывали их создавать свои группы. Также мы охотно пересекались с известными и пока еще неизвестными музыкантами многообещающих новых групп *Slits* и *The Clash*, с певицей Сьюзи Сью.

Группа *Sonic’s Rendezvous Band* гастролировала на другом конце света. Мы с Фредом старались видеться при любой возможности; на заре нашего романа я летала в Детройт к нему даже на пару

дней. Чем больше мы сближались, тем он, казалось, жестче проверял на прочность мою веру в него. Однажды, оставив его машину на шиномонтаже, мы немного прошлись вдоль автострады. Он остановился, протянул мне руку. Спросил: “Ты мне доверяешь?” “Да”, — ответила я, взяла его руку, и он повел меня на середину автострады. Я позволила ему взять меня на руки, зажмурилась, закружилась в вальсе. Движение на автостраде становилось все оживленнее, но мы продолжали танцевать на разделительной полосе. Остались невредимы. У заброшенного водохранилища мы пробирались по каменистой тропке в тусклом лунном свете. Фред уставился в небо, воздел руки к звездам и, полное ощущение, начал их передвигать: подтягивал поближе, вертел в руках. Эти мгновения казались долгими часами, но в действительности длились лишь секунды, его сознание и мое сознание сливались воедино. Об этих мгновениях мы не разговаривали — просто проживали их. Фред мог мыслить отвлеченно, футуристически, у него были руки музыканта, математика, иллюзиониста.

В те дни писательство, вопреки обыкновению, отошло у меня на задний план: я жадно упивалась сегодняшним днем, с одних гастролей

отправлялась на другие, и в физическом времени внешнего мира писательница уступала первенство артистке, перо — электрогитаре. Я временно раззнакомилась с языком; за меня говорил мой “фендер дуо-соник”, взамен слов были стоны и скрежет фидбэка[27]. Заглянув в свой дневник, испытывала легкий внутренний разлад: на страницах — только обрывочные тексты песен и недоконченные письма к Фреду. Рембо провозгласил себя бичом народов и провидцем, шел вперед, затем преднамеренно выстрелил себе в ногу, а затем выпрямился и пошел. Мои ноги были изрешечены воображаемыми дырами. Я чувствовала себя ходячим противоречием, искала компромисс с желанием посидеть спокойно, но чувствовала, что обязана мчаться в будущее. Тодд всегда был рядом со мной. В детстве он всегда отступал в тень, и поэтому я могла играть роли героя, генерала, короля, а Тодд непременно был верным, самым доблестным воином, самым доблестным рыцарем.

Я охотно брала на себя ответственность лидера, но я была из тех лидеров, которые едят из одного котла с солдатами, всегда готовы выслушать

[27] Примечания: 27

Эффект акустической обратной связи при взаимодействии электрогитары с усилителем.

свою команду и народ. Группа развивалась, и Тодда провозгласили техническим директором; к этим нынешним ролям нас подготовили игры в детские годы. Тодд выполнял распоряжения, перевозил гитары и усилители, поздно вечером отчитывался о работе. В свободные вечера мне было приятно наблюдать, как он натирает мелом кончик кия. Из уголка рта свисает сигарета, синие, как лед, глаза пристально смотрят на шар. И вот, под восхищенную ругань противников, Тодд выигрывает с одного подхода. На гастролях я возила с собой "Семь столпов мудрости", планировала нашу кампанию. Тодд прокладывал мне путь, и я еще отчетливее ощущала себя усталым фельдмаршалом. Мы пробирались сквозь восторженные толпы, подростки собирались стайками под окнами отеля и что-то кричали нам в ночи. Иногда после концерта мы все собирались в моем номере и до рассвета смеялись без причины. Счастьем это не было, но тогда пьянило, казалось, сильнее счастья, — это было самозабвенное веселье.

Однажды в передышке между двумя турами нас настоятельно призвали сделать перерыв и записать еще одну пластинку. Вообще-то я не рассчитывала продолжать идею *"Horses"*, и сочи-

нение текстов для еще одного альбома шло туго. Я просто излила все, что занимало тогда мои мысли: голод в Эфиопии, судьба боксера, жизнь Рембо в Абиссинии и звуковой язык электрогитары. Мне прислала письмо девушка по имени Энди Остроу, где-то прочитавшая, что мы готовимся записать *“Radio Ethiopia”.* Она недавно вернулась с юга Эфиопии, где была волонтером “Корпуса мира”[28] в глухой деревне. Мы встретились, побеседовали о революции, которая тогда происходила в Эфиопии, свержении Хайле Селассие, опустошительном военном перевороте и городе Харар, где Рембо занимался торговлей кофе. Энди была миниатюрно сложенная, чистосердечная, темноволосая, темноглазая. Мое сердце тронули ее фотографии и сувениры из Эфиопии — страны, куда я когда-то пылко рвалась. Я пообещала пригласить Энди в студию.

Я выбрала Джека Дугласа в продюсеры альбома — решила, что он хорошо гармонировал с обеими гранями нашей группы. Мы впадали в необузданность и иногда играли так, что ничего не поймешь, но нам шли во благо структуры песен Ивана — публика узнавала в них себя. *“Ask the*

[28] Примечания: 28

Независимое федеральное агентство в США, привлекает американских граждан для волонтерской работы за рубежом.

Angels" ("Спроси у ангелов") была написана для сообщества молодых людей, которые прекрасно наладили свою жизнь, порвав с официальной системой, в особенности для лос-анджелесских ребят. *"Ain't It Strange"* ("Странно, да?"), вдохновленная регги, задиристо приглашала на невозможный танец. Эмоциональная *"Pissing in a River"* ("Ссу в реку") совершала виражи между отсылками к прошлому и настырными вопросами к будущему. Больше всего мороки было с заглавной композицией. Мне представлялось, что это будет чистая импровизация, что вначале она оседлает рифф Ленни, клокочущий, как прибой, а затем свернет в сторону, устремится к чему-то, что кажется недостижимым. Я призвала группу пойти на страстный риск, который так восхищал меня в творчестве Альберта Эйлера и Орнетта Коулмана. Мы сделали несколько попыток, но остались недовольны, единодушно договорились обождать и попробовать еще разок.

9 августа Джек велел нам сидеть по домам: к Нью-Йорку стремглав мчался ураган. Я расхаживала из угла в угол, словно койот в загоне, ощущая на себе одновременное воздействие близкого урагана и полной луны, и вдруг возникло предчувствие: сегодня ночью у нас получится

заглавный трек. Я позвонила Джеку, и после недолгих препирательств он выехал из своего дома в город. Ураган “Белль” уже начинал куролесить. Тодд созвал музыкантов, а я положила “дуо-соник” в футляр, позвонила Энди, и мы все собрались на студии *Record Plant*. Джек заткнул полотенцами щели под дверями аппаратной — на случай, если ливень вызовет наводнение. В полночь, в самый разгар потопа, мы вместе прыгнули в колодец самой амбициозной своей затеи. Слов у меня не было — только мысленная карта страданий целого народа, предсмертный хрип одного из наших величайших поэтов и желание, чтобы мы дали волю своему потопу. Посреди записи у Ленни сломалась педаль эффектов “биг мафф”. Это была нешуточная катастрофа: для его саунда педаль играла главное значение. Оказалось, Энди играет на гитаре и у нее тоже есть педаль “мафф”; не убоявшись стихии, Энди съездила за педалью, спасла положение. К трем часам утра выпало четыре дюйма осадков, улицы затопило, ветер повалил деревья и оборвал провода, а мы успешно приумножили тарарам, учиненный ураганом на суше. Двенадцать минут дисторшна, увлекавшего нас за собой, гром барабанов и “плюх-плюх” тарелок Джея Ди, бас Ивана звучал,

как насос, откачивающий воду; когда визг моего “фендера дуо-соника” затеял альтруистическую дуэль на шпагах с заунывными стонами “стратокастера” Ленни, Ричард Сол внес неожиданную мелодическую перемену: она воссоздала меланхоличную красоту Абиссинии. С начала до конца записи нить нашего коллективного сознания ни разу не обрывалась, а преднамеренно бессвязное бормотание навевало образы голода в Эфиопии, молотка и загрубелых рук скульптора Бранкузи, последних слов Артюра Рембо.

Спасибо Джеку за то, что он согласился бросить вызов урагану и отпереть студию. Благодаря этому мы записали заглавный трек, достигший всех целей, на которых я надеялась. Фотограф Джуди Линн сфотографировала меня “лейкой” для обложки альбома: я в темном шелковом плаще, волосы собраны в конский хвост. Джуди идеально уловила мое настроение и спартанскую атмосферу нашей репетиционной. В знак солидарности со своими музыкантами я добавила к своему имени слово “группа”. На вкладыше мы поместили фотографии, сделанные Энди в Эфиопии. Она также написала на амхарском языке мой девиз — “язык любви”. Скоро мы взяли Энди на работу. Она стала техническим ассистентом Тодда,

желанным прибавлением в нашей небольшой и преданной команде техников, всегда готовой браться за любые насущные задачи.

Альбом *“Radio Ethiopia”*, вышедший через неполный год после *“Horses”*, приняли неласково, заглавный трек, которым я так гордилась, объявили “неслушабельным”. Некоторые из бывших горячих сторонников бросили нам обвинение: “Вы продались”, Джека Дугласа разнесли в пух и прах, дескать, он погнал нас в другом направлении. На самом деле мы энергично эволюционировали, и никакой пешкой в чужих руках я определенно не была. Джек выжал из нас то, чего мы с самого начала хотели сами, то, что мы и намеревались дать миру, несмотря на все наши недостатки и непокорность. В довершение всех бед песню *“Pissing in a River”* почему-то решили выпустить в форме сингла. И потребовали, чтобы я переделала текст — заменила “ссать” на что-то вроде “плыть” или “входить”. Я не ожидала, что слово “ссать” вызовет бурную реакцию, но отказалась менять текст. Что ж, сингл ставили в эфир редко, а текст непременно запикивали.

Стрелы летели отовсюду, но я воспринимала их бестрепетно, ободряла соратников фразой из сопроводительного текста к альбому: “Искус-

ству, порожденному безграничным спектром рок-н-ролла, не нужны никакие меценаты, за исключением народа". Мы зарубили это себе на носу и снова пустились гастролировать. Турне началось в Стокгольме, концерт транслировало шведское телевидение. Один из самых запоминающихся концертов состоялся в Испании. Фашистский режим пытался оградить испанскую культуру от влияния двух феноменов — "Герники" Пикассо и рок-н-ролла. После смерти Франко шедевр Пикассо, когда-то написанный в ответ на ужасы войны, выставили в Мадриде. А в день рождения Рембо музыкальный промоутер Гай Меркадер, бесстрашный идеалист, доставил нашу группу на самолете из Парижа в Барселону, и мы сыграли концерт экспромтом. Собрали всю аппаратуру, которая оказалась под рукой, и в тот вечер все мы ликующе отплясывали, праздновали. Так завязалась наша дружба с испанским народом, дружба на всю жизнь.

В декабре, вернувшись в Штаты, мы сыграли в кинотеатре "Тауэр" в Аппер-Дарби, недалеко от Рэмбо-террас, где в 1949 году наша семья недолгое время обитала у моей сварливой тети Глории. Со сцены я видела, что моя мать сидит в первом ряду, в окружении своих собственных востор-

женных фанатов. Энергия наших концертов маму подзаряжала. Ленни заиграл даунстроком во вступлении к злоключениям Джонни, которые от концерта к концерту менялись, и перед моими глазами раскинулась ширь американских Великих равнин. Дикие лошади с молниями, вытатуированными на обоих ушах, мчались сквозь облака пыли, а мы плавно перешли к *“Gloria”*. Когда я вместе с матерью вышла наружу, меня взяли в кольцо подростки с пластинками — просили автографы. Холодало, я была взвинченная и усталая, не хотела задерживаться. Мама взъярилась: как я смею от них отмахиваться? “А ну подписывай, все пластинки до одной, — потребовала она, — не забывай, кто вознес тебя так высоко”.

Мы неутомимо гастролировали в поддержку альбома *“Radio Ethiopia”*; я чуяла, что пора сделать передышку, начала планировать встречу с Фредом в Детройте. Нас попросили включить в финал нашего и без того напряженного графика еще два выступления — в одной программе с Бобом Сигером в Флориде. Я неохотно согласилась: задача была нелегкая, но полезная. В первый вечер мы столкнулись с пренебрежительным отношением: нам выделили очень мало места на сцене, очень мало осветительных приборов.

Вдобавок у меня боязнь высоты, а на первой площадке сцена была высокая. Второго вечера я ждала со страхом: на той площадке сцена была еще выше. Позвонила Фреду посоветоваться. “Давай я ему сам позвоню”, — сказал Фред. Но я считала, что должна поставить вопрос перед Сигером сама. “Просто скажи ему, что тебя тревожит, — посоветовал Фред, — он из Детройта, он поступит по-людски”. Надо сказать, иногда кому-то казалось, что я человек язвительный. Но в тот день я тщательно подбирала слова, разъясняя, что нам требуется чуть больше пространства и света. Сигер ничего толком не сказал мне, взглянул озадаченно и отошел.

Перед нашим выходом на сцену мой брат сильно нервничал. Тодд выкроил для нас неполных два фута дополнительного пространства, но техники Сигера переставили нашу аппаратуру и запретили Тодду появляться на сцене до начала нашего выступления. Тодд встревоженно хмурился, говорил мне: “Будь осторожна”. На сцене я двигалась очень энергично, но в тот вечер старалась себя по возможности сдерживать. Вот только в тусклом освещении было неясно, где находится край сцены. Зазвучала седьмая по счету песня, *“Ain’t It Strange”*, самая динамичная,

и я, как всегда, закружилась на манер дервиша, а затем, чтобы остановить вращение, твердо уперлась ногой в свой напольный монитор. Но он частично выступал над краем сцены — его же переставили техники Сигера. И, когда я на него надавила, монитор опрокинулся, а я полетела со сцены вместе с ним. Ударилась головой и плечами. Мой брат немедля спрыгнул вслед. Никогда не забуду выражение его глаз, когда он поддерживал мою окровавленную голову. В больнице, в отделении экстренной помощи, мне вообще без анестезии промыли рану на голове, начали накладывать швы — сорок штук. “Просто думай все время о Гражданской войне, — повторял Тодд, — подумай, сколько вытерпели солдаты на поле боя, просто все время думай о Гражданской войне”. Я получила перелом черепа, сильное сотрясение мозга и множественный, в четырех местах перелом позвоночника. Мой менеджмент требовал, чтобы я подала в суд на организаторов концерта Сигера, но идея финансово нажиться на компенсации ущерба оскорбляла мое нравственное чувство. Такой позиции придерживались мои родители, по такому принципу жила и я сама. Однако пресса все переврала — сообщила, что я якобы так удолбалась, что в танце сорвалась со

сцены. Защитить свое имя я была не в состоянии — травма подкосила мои силы. Тодд страшно горевал из-за моего падения. Но он все равно не смог бы ничего предотвратить — ведь ему не позволили выполнить его обязанности.

К себе домой я вернуться не могла — тогда я все еще жила на седьмом этаже в доме без лифта в Ист-Вилидже. Мне полагалось провести несколько месяцев в состоянии иммобилизации, а также носить шейный корсет. Это время я прожила в доме, где лифт был, — в квартире, где когда-то жила с Алленом Ланьером. Он как раз уехал в долгий тур с *Blue Öyster Cult*. Медицинской страховки у меня не было, и за мной круглосуточно ухаживали соратники. Энди Остроу налаживала быт. Роберт ежедневно проведывал меня, а Сэм Уэгстафф великодушно оплачивал все медицинские счета. Том Верлен приносил мне книги. Читать я не могла: в глазах все расплывалось, — но книги держала под рукой. Однажды группа *Ramones* принесла мне маленькую бутылку текилы в коричневом бумажном пакете и журнал *Punk* с двумя моими рисованными портретами на обложке. Джоуи Рамон, длинноволосый, в очках, в рваном комбинезоне, стоял в изножье моей кровати. Мы поговорили о происхождении

слова “панк” и о переосмыслении его значения, которое тогда происходило: отрицательные коннотации сменились положительными. Об этом процессе я уже долгое время глубоко размышляла — о кардинальных переменах в коннотациях некоторых слов.

За долгий период выздоровления я проанализировала, к чему пришла в жизни и какое будущее мне светит. Хотя несчастный случай произошел не по моей вине, внутренний голос нашептывал, что это тень предостережения свыше. Пришел в гости Уильям Берроуз с рыбиной, завернутой в газету, приготовил нам обед. Подсел поближе к моей кровати, стал расспрашивать про несчастный случай, и я призналась, какие мысли меня посещают. Уильям сказал, что его лично сделал писателем ужасающий несчастный случай. Заговорил о грани, которая отделяет факты практической жизни от атмосферного или мистического вмешательства.

Со временем я поразмыслила и о положительных сторонах своего падения со сцены. Да, зрение у меня ослабло, физические возможности изменились, но сознание развернулось, словно сияющий свиток, и я восстановила контакт с мистическим потоком языка, с золотыми весами

героических деяний[29]. С помощью Ленни я сочиняла устно длинные стихотворения в прозе, из которых сложилась моя первая большая книга стихов. Благодаря нашей дружбе и многолетнему опыту импровизаций вживую я могла диктовать, не тушуясь, а Ленни резво печатал на моей пишущей машинке “Гермес 2000”. Книгу я назвала “Вавилон”, предвосхитив некоторые темы нашего следующего альбома: поиск нового языка, излияния преданной любви и моя попытка, лежа плашмя, вскрыть раны поэзии.

Сэм Уэгстафф принес маленький черно-белый телевизор, и мы с Тодди вместе смотрели всякую всячину. Открыли для себя “Звездный путь” — сериал как раз повторяли в форме марафона. Когда капитан Кирк отдавал приказы экипажу, во мне разгоралось нетерпение вернуться к рулю. На канале “Фильм недели” беспрерывно показывали какую-нибудь одну малоизвестную картину. С Вербного воскресения до Пасхи в том году крутили “Евангелие от Матфея”. Я посмотрела его одна много раз, меня заворожила эстетическая красота

---

[29] Примечания: 29

Отсылка к “Потерянному раю” Джона Мильтона: “Господь \ Весы на небе поднял золотые; …На тех весах \ Он созданное взвесил в первый раз, \ С воздушной оболочкой уравнял \ Парящий шар земной; до наших дней \ Событья взвешивает, судьбы царств, \ Исход военных действий”. *(Пер. А. Штейнберга)*

документального стиля Пазолини, его верность тексту Евангелия. Пазолини явно изобразил Мессию в образе революционера, чье учение основано на любви. Я словно бы пробудилась: Пазолини побудил меня вспомнить, каковы были изначальные намерения Христа.

Шейный бандаж у меня был гипсовый. Неудобный, тяжелый. Сэм пригласил специалиста, и тот изготовил замену — съемный шейный воротник из прочного пенополиуретана. Однажды я сняла воротник, чтобы Роберт меня сфотографировал. Роберт остался доволен кадром: страх и непреклонность переданы с ошеломляющей четкостью. Я доверяла Роберту, но без воротника почувствовала себя слишком беззащитной. Осознала, что еще не скоро смогу нормально шевелиться и путешествовать. Когда Фред прилетел из Детройта меня навестить, я воодушевилась, но занервничала: не хотелось, чтобы он увидел меня в воротнике. А Фред, усевшись рядом, сам ловко его с меня снял, и я провела без воротника несколько минут. В обществе Фреда я приободрилась, впервые поверила, что смогу избавиться от воротника навеки.

Рано или поздно человек должен что-то предпринять, запустить процесс, который заставит

его прикоснуться к открытой ране. На четвертом месяце иммобилизации, проводя бесценные часы и дни с Фредом, я жадно захотела снова стать полноценным человеком. Сэм Уэгстафф, друживший с Артуром Алленом Джонсом, основоположником методики силовых тренировок, договорился с его Институтом спортивной медицины “Наутилус”. Мне посчастливилось, что меня туда допустили — я ведь не имела отношения к спорту, а среди клиентов Института оказалась единственной женщиной. Я без пререканий выполняла их строгую программу тренировок. Перспектива вернуться на сцену немного страшила, но интенсивная физиотерапия подготовила меня к этой задаче. Под временным названием *Basic Training* (“Базовый тренинг”) мы дали несколько концертов подряд в “Си-би-джи-би”. Я выступала в шейном воротнике, а Тодди и Энди, сидя на корточках сбоку сцены, не спускали с меня глаз. Мне было отрадно находиться на знакомой площадке, но я осторожничала, почти не отходила от микрофона — для меня он стал вроде как союзником. Каждый вечер клуб был забит до отказа, и, хотя я стояла истуканом, зрители устраивали нам теплый прием.

Трудно выразить в словах все стремительные

перемены на том этапе моей жизни. Я разрывалась между изнурительной физической реабилитацией, все более глубокой привязанностью к Фреду и пьянящим упоением от сочинения стихов. Иногда меня обуревали несовместимые картины будущего. Работа над “Вавилоном” вновь пробуждала жажду уединения: посвятить себя писательству, материализовывать с помощью слов тайны мира. Но выступления на сцене, пусть даже редкие, разжигали желание вернуться в строй, встать плечом к плечу с братьями по искусству, с электрогитарами взамен автоматов.

Мало-помалу я стала выбираться из дома, все еще в воротнике. Уильям пригласил меня аккомпанировать ему в “Готэм бук марте” — отпраздновать вместе с Алленом Гинзбергом и Карлом Соломоном переиздание “Джанки”. А чуть позже предложил мне сыграть Мэри в экранизации “Джанки” и познакомил меня со своим несколько эксцентричным продюсером. Жак Стерн, также известный как барон Ротшильд, после полиомиелита передвигался на моторизованной инвалидной коляске. Ниже пояса его тело было закутано пледом. Иногда плед сползал, обнажая тонкие, иссохшие ноги. Прическа Жака — каштановые волосы, ниспадающие на резко

очерченное лицо — придавала ему сходство с Арто, как мне казалось. Сценарий фильма Жак заказал Терри Саузерну. Героя-повествователя романа, Билла Ли, должен был сыграть Деннис Хоппер. Мы все встречались в баре “Эль Кихоте” по соседству с отелем “Челси”. Я заглянула через окно в странный мир. Не сомневаюсь, я тоже выглядела довольно странно: девушка в шейном воротнике, не пьет, не курит, наркотиков не употребляет. Но меня выбрал Уильям, на единственную женскую роль в фильме.

Когда все было обговорено, мы решили отпраздновать это событие в великолепной квартире Жака около парка Грамерси. Жак, передвигаясь на инвалидной коляске, привел меня в свой кабинет и вручил мне ключ от старого сундука, якобы набитого письмами Арто. В этот миг в двустворчатые двери ворвалась с истошным воплем модно одетая дама. Оказалось, баронесса вернулась из Европы. Она немедля пригрозила упрятать Жака в лечебницу и набросилась на Уильяма с упреками — он, дескать, транжирит их деньги. Нас немедля вышвырнули за дверь. На том кинопроект и закончился, не успев начаться. Я даже сейчас отчетливо вижу, как Уильям, покачивая головой, засунув руки в карманы плаща,

шаркая ногами, бредет по улице. Я больше никогда не видела Жака, но посвятила ему поэму “Ха! Ха! Гудини!”. Ее издал “Готэм бук март”, к книге прилагались крохотный замок и ключ.

Я крутила педали велотренажера в “Наутилусе”. Силу сопротивления выставили намного выше, чем обычно, и от натуги меня едва не стошнило. Догадалась, что меня проверяют — насколько я физически сильна. Успешно продолжила тренировку. Было это 16 августа. Песня, звучавшая по радио, прервалась, и ведущий сообщил о смерти Элвиса Пресли. Я опечалилась, но со дна этой скорби, сама не знаю почему, во мне взметнулась иррациональная ярость. Элвису было всего сорок два, и, несмотря на колоссальную славу, он сталкивался со злословием и непониманием. Меня обуяло всепоглощающее желание поскорее вырваться отсюда, вернуться в строй. Я попрощалась со своим терпеливым тренером Майком О’Шеем, поблагодарила его и покинула Институт спортивной медицины. День был погожий. Мне рекомендовали долгие пешие прогулки, и я протопала пешком две с половиной мили до Ист-Вилиджа. По дороге заглянула к французской художнице Лиззи Мерсье, неистовой маленькой дикарке, большой поклоннице Рембо. Я не

колеблясь сняла шейный воротник, уронила на пол. Подожгла зажигалкой, которую протянула мне Лиззи.

Группа продолжала выступать в Нью-Йорке. Благодаря многомесячным тренировкам в “Наутилусе” я физически окрепла, но на сцене стала держаться с легкой опаской. В конце лета Ричард, Энди и я поехали на метро на Кони-Айленд. Ричард убедил меня рискнуть — прокатиться с ним на американских горках. Надеялся, на аттракционах я окончательно отброшу свой затаенный страх резких движений. На горках было жутко, но очень весело, и я сделала огромный шаг к новой, бесстрашной жизни.

Врачи пока не разрешали длительные поездки, и мы стали готовить еще один альбом. Когда мы в прошлый раз записывались на *Record Plant*, я подружилась с Джимми Иовином, молодым итальянцем с бойцовским характером. Он был звукорежиссером Брюса Спрингстина. Дотошность и неутомимое трудолюбие Джимми меня восхищали, и я пригласила его продюсировать наш альбом. В фирме *Arista* не обрадовались кандидатуре безвестного человека без продюсерских заслуг, но я точно знала: он подходит лучше всех. Я все еще ощущала легкую уязвимость и чувство-

вала, что на Иовина могу положиться — и как на продюсера, и как на заступника. Тодди и Джимми сразу нашли общий язык и стали идеальной технической командой.

Материала у нас было мало — как-никак, мы много месяцев бездействовали. Стали выстраивать альбом постепенно, песня за песней. В репетиционной было негде ступить от листков с неоконченными текстами песен, стихами, манифестами против цензуры. Это граничило с духовной алхимией, трансформацией отходов, искуплением, переосмыслением старых значений слов. Бодрая песня Ленни *“Till Victory”* (“До победы”) возвестила: “Мы вернулись”. Песню *“Ghost Dance”* (“Пляска духа”) мы сочинили в память о танце воскрешения мертвых — традиции племени хопи. *“We Three”* (“Мы трое”) я написала еще раньше в форме медленного танца, воспоминания о самых первых вечерах в “Си-би-джи-би”. Зажигательная композиция Ивана *“25th Floor”* (“25-й этаж”) воссоздавала мое первое романтическое свидание с Фредом на верхнем этаже детройтского отеля “Ренессанс”. Она открыла нам окрыляющий путь — вдохновила многослойные фидбэки и целый каскад образов.

На середине записи Ричард заболел, и ему про-

писали долгий отдых. Я очень расстроилась, но заверила его, что он сможет вернуться в группу, как только выздоровеет. Иван привел музыканта Брюса Броди. Броди в прошлом работал с Джоном Кейлом, был исключительно одаренным клавишником, в нашей деликатной ситуации уважительно отнесся к труду заболевшего коллеги, хорошо сработался с Джимми и группой.

Я решила назвать альбом *“Easter”* (“Пасха”), сочинила текст заглавного трека, но мелодия не появлялась. Я вообразила, как мать Рембо ведет своих детей строем в церковь, а непокорный маленький поэт совершает мистический побег в небесный колокольный звон. Однажды я пришла на нашу базу рано, Джей Ди уже играл — не на ударных, а на клавишных — какую-то неземную пьесу, идеально дополнившую мой текст. *“Easter”* стала первой песней, которую мы написали вместе.

Джимми, щадя меня, утаивал, что испытывал сильный стресс, стараясь доказать Клайву Дэвису свою профпригодность. Он близко дружил с Брюсом Спрингстином и припомнил одну песню, которую Брюс забраковал из-за недовольства текстом. Джимми выпросил у Брюса рабочую запись, чтобы дать мне послушать. Уговаривал

меня настойчиво, но я упиралась: мне страшно хотелось, чтобы альбом состоял только из нашего собственного материала. Вдобавок один кавер мы уже записали — *“Free Me”* (“Освободите меня”) из фильма “Привилегия”, получилось очень эмоционально. Я положила кассету Брюса на каминную полку у себя дома, упрямо игнорировала неустанные просьбы Джимми все-таки ее послушать.

Из-за дороговизны междугородней связи Фред и я созванивались раз в неделю, в один и тот же день, в обговоренный час. Однажды Фред припоздал со звонком. Я ходила из угла в угол, варила кофе, пыталась отвлечься. Прошел час, другой, третий. Я уже на стену лезла. Смотрю: на полке та самая кассета. Думаю: надо ее послушать, чтобы Джимми не серчал. Ставлю и моментально осознаю весь ее потенциал. Песня в моей тональности, насквозь чувственная, непреклонно безотлагательный зов.

“Черт, да это же хит”, — сказала я себе. Около полуночи Фред наконец позвонил. К тому времени я, не устояв перед композиторским мастерством Брюса, уже написала текст *“Have I doubt when I’m alone, love is a ring, the telephone”* (“Возникают ли сомнения, когда я остаюсь одна, любовь — это звонок, любовь — это телефон”) — песню о любви,

песню для Фреда.

“Because the Night” (“Потому что ночь”) мы записали самой последней. Джимми предложил трактовку в духе гимна, и мы его послушались. Я четко, без тени сомнения, поняла: мы получили подарок и, в свой черед, сослужили ему хорошую службу. Пока Джимми и Шелли Якус сводили наш альбом, меня окутало какое-то странное облако. Сильнейший адреналин, который раньше подпитывал меня на сцене, никуда не делся, но я ловила себя на желании умчаться прочь, туда, где природа, искрясь энергией, как в волшебной сказке, сама себя регенерирует. Туда, где можно повстречать Финна, поэта-воина, или свою настоящую любовь. Это состояние души возвещало о рождении заново. Его идеально высвечивает — можно сказать, озаряет — заглавный трек, возносясь ввысь, перерастая в какофонию колоколов и волынок.

Альбом *“Easter”* вышел 3 марта 1978 года. Рецензенты его похвалили. Фото для обложки сделала Линн Голдсмит. Линн и я с удовольствием взаимодействовали в состоянии потока. Отсняли в ее студии много кадров, которые отсылали к весне, к оттенкам, которые ассоциируются с Пасхой у ребенка. Но в итоге я предпочла кадр, где больше

энергии. Я, в шелковой нижней сорочке, с голыми руками, поправляю заколки в волосах. Это бессознательное действие было мне не под силу, пока я не прошла курс физиотерапии. Что ж, этот снимок, к моему и Линн изумлению, подвергся резкой критике за то, что у меня под мышками видна скудная растительность. Некоторые музыкальные магазины отказались выставлять альбом на прилавках. Обложку расценили как вызов общественному вкусу. На самом деле я никогда не брила подмышки, а этот кадр выбрала потому, что он лучился жизненной силой, отражал мое нынешнее состояние.

Я подарила Джимми свою косуху. Моя вера в него подтвердилась и упрочилась благодаря его собственным достижениям. Спустя почти год вынужденного домоседства мы возобновили гастроли. Фред подарил мне две вещи со своего плеча, которыми очень дорожил: винтажную безрукавку в бело-зеленую клетку и заношенную футболку MC5. Вместе с потертой курткой из оленьей кожи они стали моей униформой возвращения на сцену.

В Германии мы сели в поезд и рано утром на Пасху прибыли в Париж. По этому случаю я надела то самое черное шелковое платье и тяжелые

рабочие ботинки. Судьба временно отняла у меня способность самозабвенно носиться по сцене; я частично растеряла ловкость, больше не могла прогибаться назад с гитарой, но чувствовала себя как никогда крепкой. А вот на душе было неспокойно: меня терзала нежданная дилемма. В большой мир я вернулась охотно, меня окружали верные музыканты и техники, и все же было чувство, что я смотрю вокруг отстраненно. Возвращение на сцену давало мне невероятный прилив энергии, но временами казалось, что я не на своем месте, накатывало смирение, которое плохо уживалось с моим былым непринужденным вольнодумством. Когда мы исполняли *“Gloria”*, мне мерещились укоризненные глаза Пазолини и образ его Иисуса-революционера. Для моих нынешних устремлений были слишком тесны первые строки текста — отрывок из стихов, сочиненных мной в двадцать лет. Правда, я ничуть не собиралась от них отрекаться. Но эти строки я попросту переросла. В то же время я понимала: другие люди находят важный смысл в произведениях, которые я оставила за спиной. Пришлось балансировать по-новому — искать компромисс между потребностями и ожиданиями публики и моим обновленным, еще не

сложившимся окончательно кодексом чести.

Возвращение к работе, всепоглощающие обязанности технического директора пошли моему брату на пользу. Под бременем долгожданной ответственности он расцвел, почти перестал упоминать о своем внутреннем разладе. В наших странствиях он познакомился с красавицей-художницей Тарой, крепко сложенной, непредвзято смотревшей на жизнь. С Тарой брат мог самовыражаться в полной мере. Ей уже доводилось работать с другими рок-группами, и скоро она нанялась к нам техником, отвечала за ударную установку Джея Ди.

Наш новый материал был как дуновение свободы, и публика принимала нас с безудержным энтузиазмом. Группа праздновала успех, а я возвращалась в свой номер одна и радовалась незамысловатым извещениям, подсунутым под дверь: “Звонил мистер Смит”. Зажмурюсь и чувствую: он рядом. Перед вылетом на родину мы заехали в Манчестер, сыграли *“Because the Night”* и *“25th Floor”* в прямом эфире, в передаче BBC TV *“The Old Grey Whistle Test”*. Я играла с полной самоотдачей, потрясая “дуо-соником”. Прежнее звериное неистовство отчасти вернулось. Песня стала гимном моей гитаре, включился радар, на-

правленный на Детройт. Свою гитару я любила; она безотказно вдохновляла прилив физических сил. Струны у нее были тяжелые, словно из колючей проволоки, а я могла вырвать их одним рывком. Такого даже Фред не мог.

Тур был не такой уж длинный, но я рвалась домой — работы невпроворот. Роберт Миллер предложил устроить выставку моих рисунков в своей галерее на Пятьдесят седьмой. Я попросила сделать совместную выставку — мою и Роберта, и Миллер согласился. В туре я сделала много новых рисунков. Прикрепляла лист бумаги прямо к стене в номере, а рядом — фотоработы Роберта, откликалась ему своими интерпретациями. В передышке между турами мы сняли для показа в галерее двенадцатиминутный фильм *“Still Moving”* (“Еще двигаюсь”). Роберт поставил декорацию — каркас, затянутый белой сеткой, и больше ничего, кроме бронзовой статуи Мефистофеля. Чтобы фотографировать во время съемок, пригласил кинооператора — молодую талантливую Лизу Ринцлер. Я, в швейцарских солдатских ботинках, одежде с плеча Фреда и своем драном “Платье Свободы”, входила в кадр — во внутренний мир Роберта. Для этого наряда Роберт сделал мне ожерелье пляски духа — при-

вязал белые перышки к длинной полоске белой кожи. Мой монолог был полной импровизацией, в нем трансформировались элементы мужского и женского, белое платье перетекало в мою концертную одежду. Я потянулась сорвать сетку — разодрать кокон. Но не смогла нащупать ее край, так как незадолго до этого завязала себе глаза рваным лоскутом. Роберт пришел мне на помощь: крупный план его руки с набухшими венами, крепко обхватывающей мое запястье, — идеальный миг, выражающий наше единение.

Мы вместе искали благосклонности незримого, совсем как в детстве мы оба приняли идею Бога. Художник стремится к бесконечному, но творит в земном мире. Пытается изловить летучий волосок божественного сознания, а затем возвращается на землю, создает материальные произведения. Мы оба считали, что этот грех — неотъемлемое условие трудового договора художника. Наша выставка стала вершиной десяти лет нашей совместной работы. Сэм Уэгстафф великодушно оплатил багетные работы. Мои рисунки, обрамленные сусальным золотом, обрели ауру средневековых иллюстрированных манускриптов. Роберт выставил мои крупноформатные портреты. Они ошеломляли. Я с шейным

корсетом в руке, я с ножницами — стригу себе волосы, я с завязанными глазами хватаюсь за белую сетку. Нагая, у ребристого радиатора. В этих ню не было пошлости. Когда фильм *“Still Moving”* проецировали прямо на белой стене, он воспринимался как несомненное достижение. Роберт Миллер устроил прием у себя дома в окрестностях Центрального парка. Я стояла рядом с Миллером, когда в дверь позвонили. Пришли Джон Леннон и Йоко Оно, сказали, что не смогли прийти на вернисаж, но выставку посмотрели. Йоко улыбнулась, а Джон посмотрел на меня и сказал: “Вы хорошо поработали”. Моя единственная встреча с ним, слова, которые я сохранила в качестве амулета на будущее.

“Because the Night” снискала глобальный успех. В чартах журнала *Billboard* она поднялась на тринадцатое место, но взлететь еще выше, скорее всего, помешал мой отказ участвовать в некоторых эфирах для ее раскрутки. Я не согласилась шевелить губами под фонограмму в телешоу Дика Кларка, которое транслировалось на всю страну, и упустила успех, который, как заверял Кларк, его шоу нам гарантирует. Но я просто не могла заставить себя выступать под фонограмму, считала, что беззвучно шевелить губами на

камеру — верх лицемерия. Сингл продержался в чартах недолго; должно быть, моя вера в то, что люди достигают успеха исключительно собственными заслугами, была несколько наивной.

Мы снова отправились в Европу, где наслаждались беспрецедентной творческой свободой. В Уэльс — страну древних кельтов, Мерлина и Дилана Томаса. В Германию, где молодые ребята в темноте пробирались ползком к Берлинской стене, чтобы разукрасить ее граффити. В Вену — вальсировать с призраками Витгенштейна, Моцарта и Гарри Лайма. Мы шли по следам своих кумиров и в минуты коллективного опьянения низвергали их одного за другим.

В парижском музее Делакруа висит полотно, на котором он изобразил Марию Магдалину. Нет ничего богаче, чем безыскусность человеческого лица, неустрашимого, ничем не украшенного. Оно не столько пылает скорбью, сколько светится лучезарностью. Склонив голову набок, Мария Магдалина смотрит вверх, на своего распятого Учителя. Ее черты излучают надежду и отчаяние. Учитель прикоснулся к ее лбу, и она видит все его глазами, человечество тысячу раз впадет в помешательство, совершая безумства его именем. Стоя перед ее портретом, этим скромным шедев-

ром, я пообещала написать песню — для нее и для меня тоже. Для вдохновения приклеила на внутреннюю крышку гитарного футляра открытку с Марией Магдалиной, неспешно сочиняла строфы пока еще безымянной песни.

В октябре мы обсудили идею записать еще одну пластинку. В глубине души я знала, что для нас она станет последней. К счастью, Ричард в добром здравии вернулся, и мы приняли его с распростертыми объятиями. Мы вдвоем переправились на пароме на Стейтен-Айленд, направились к океану. Было свежо, Ричард сидел на берегу, закутавшись в дождевик, а я прогуливалась взад-вперед одна, сочиняла песенку, которую назвала “Фредерик”, телепатически ощущая, что он сейчас крепко спит где-то в Детройте, печалилась оттого, что он вдали, но радовалась, что он есть. Сочинила и слова, и мелодию, а когда мы возвращались на пароме назад, спела песню Ричарду. Пару дней спустя в репетиционной он сделал мне сюрприз — сыграл на пианино вариацию на тему “Фредерика”, колыбельную, под которую можно танцевать.

Ленни и я написали небольшой гимн, и Ленни сыграл его на своей автоарфе. Он также положил на музыку стихотворение, сочиненное мной

лет десять назад, — протест против колониализма. Превратил этот маленький странноватый стишок в прощальный гимн. Иван и я написали *“Citizen Ship”* (“Гражданин корабль” или “Граждан-ство”), где объединены две темы — его личный опыт беженца из Чехословакии в 1968 году и народные волнения в Америке на политической и культурной почве. Иван дал мне кассету с несколькими идеями песен, гитарными риффами и мелодиями. Из одной пьесы родилась *“Dancing Barefoot”* (“Танцую босиком”) — та самая песня, которую я обещала написать, всматриваясь в лицо Марии Магдалины в музее Делакруа. Музыка у меня уже была, и я набросала трехуровневый текст: о преданности народу, о преданности своему возлюбленному-избраннику и преданности нашему Создателю.

Джимми теперь был нарасхват, и продюсировать *“Wave”* (“Волна”) согласился наш друг Тодд Рандгрен. Он работал в студии *Bearsville*, записал там альбом *“Bat Out of Hell”* (“Летучая мышь из ада”) Мит Лоуфа и свои сольные альбомы. Мы поселились все вместе в жилых комнатах над студией, спали на диванах и двухъярусных кроватях, а Ричард — на огромном, профессионального уровня бильярдном столе. Энди обеспечивала

быт, Тодди и Тара остались в городе — работали в клубе “Хурра” вместе с техниками группы *Skafish*. В разгар зимы жизнь на отшибе, в Вудстоке, подкидывала проблемы; время от времени шоссе заносило снегом: никуда не поедешь. Я жила одной ногой в Детройте, другой в Нью-Йорке, но частенько застревала обеими в Берсвилле.

В начале декабря в клубе “Хурра” Сид Вишез напал на моего брата — ткнул в лицо разбитой бутылкой, чуть не угодил в глаз. Тодди наложили семь швов. Брат подал заявление в полицию — хотел, чтобы Вишеза ради его собственной безопасности взяли под стражу, советовал полицейским вести за ним особое наблюдение, так как он может покончить с собой. Увы, вскоре Вишеза отпустили, и через два дня он умер. Эти события не выходили у меня из головы, когда мы записывали песню *Byrds “So You Want to Be a Rock ’n’ Roll Star”* (“Ты, значит, хочешь стать звездой рок-н-ролла”). Сыграли ее во весь опор, нашим мотором был громоподобный салют Джея Ди в честь Кита Муна. Во время брейкдауна я проецировала окровавленный глаз Тодди и пристыженное лицо Сида Вишеза, размышляла о будущем рок-н-ролла как вида искусства.

Импровизация — наш способ вырваться за

пределы того, что подвластно студийной звукозаписи. Исповедальная композиция *“Seven Ways of Going”* (“Семь способов ходить”) сложилась у нас еще раньше, при живом исполнении. Тодд Рандгрен счел, что в этом случае он у руля не нужен, предоставил нам свободу действий. Ленни — гитара, я — кларнет, Ричард — электропианино RMI, Иван — бас, Джей — барабаны, Энди — литавры. Я оседлала акустический вихрь, который создавала группа, и мне удалось излить противоречивые чувства, терзавшие меня после падения. Группа билась над треком всю ночь, пока мы не перестали быть отдельными сущностями, пока, после пронзительной коды Ричарда, мы не капитулировали перед несказанным чудом любви.

Утром мы записали заглавный трек, я сымпровизировала его на пианино. Ричард воспроизвел на синтезаторе шум океана, а Иван на виолончели — нечто, создававшее впечатление бестелесного голоса Папы Римского. Это была мелодекламация: на берегу, обвеваемом ветрами, маленькая девочка встречает Альбино Лучани, Папу Иоанна Павла I. Он умер всего через тридцать три дня после избрания, но завоевал мою симпатию своей душевной чистотой и любовью к “Пиноккио”. Девочка благодарит папу за улыбку, согревшую

ее сердце, и машет на прощанье. *“Wave”*, мое обращение в прежнюю веру, возвращение к моему изначальному существу, завершила альбом.

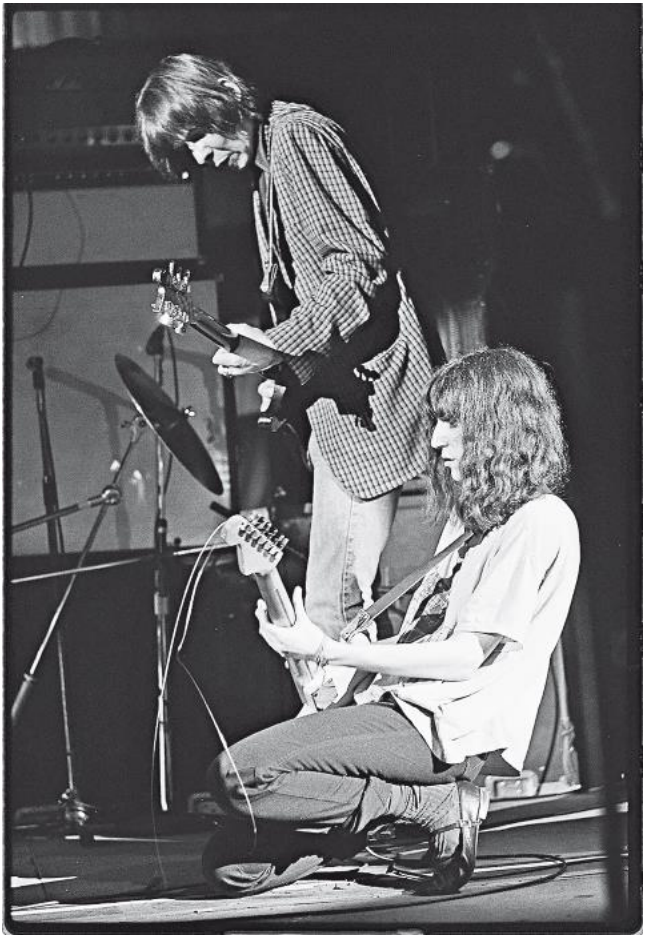
Снимок для обложки сделал Роберт, в аскетично обставленной квартире Сэма Уэгстаффа, там же, где мы сделали снимок для обложки *“Horses”*. Я хотела позировать в белом, но пожалела “Платье Свободы” — оно уже расползалось по швам, и Тодди нашел мне другое в секонде в Остине. Один белый голубь — отсылка к строчке из “Фредерика” — отдыхал на моей ладони, другой, покружив, уселся на палец, указывающий путь. Словно символы того, что я искала раньше и что ищу теперь.

Альбом был готов, но выход отсрочили: я дралась с *Arista* из-за текста *“Dancing Barefoot”*. Слово вызвало сильные опасения, меня просили его заменить — иначе песня не попадет в ротацию на радио. Я всех заверяла, что имею в виду вовсе не наркотик, *“heroine”* здесь — это “героиня”, герой женского пола, а не “героин”, и моя героиня опьяняет себя только любовью, которая дороже славы и богатства. Я настояла на своем, текст остался прежним, и в Америке *“Dancing Barefoot”* почти не звучала на радио.

В июне мы полетели в Чикаго — сыграть по-

следний концерт перед передышкой, в “Арагон боллрум” на пару с группой *Sonic’s Rendezvous Band*. Я страшно радовалась возможности сыграть всем вместе, но, пока мы спали, наш грузовик “райдер”, стоявший перед гостиницей, угнали. Пропало все, вся аппаратура. “Стратокастер” 1962 года и винтажные усилители Ленни, ящик с инструментами Тодди, превосходный “лес пол” Ивана. Меня удручал тот факт, что это случилось именно в Чикаго, городе, где я родилась. Я мысленно составила перечень всего, что лежало в моем металлическом чемодане. Безрукавка и рваная футболка Фреда, мой пиджак с обложки *“Horses”*, с маленькой золотой лошадкой на лацкане. Изодранный лоскуток алого шелка, которым я завязывала себе глаза — его мне принес Тодди. Крест Роберта, неопубликованные стихи, книга “Джанки” в мягкой обложке с автографом — старая, еще в издании “Эйс”. Потрепанный экземпляр “Озарений”. Я расценила это как бесспорное знамение. Я всегда была немного суеверной и никогда не расставалась с этими вещами. А теперь все, что согревало мне сердце на гастролях, утрачено. Все, кроме одного предмета. За несколько недель до поездки в Чикаго я решила дать своему первому “дуо-сонику” отдохнуть. Я

любила эту гитару так же горячо, как Фред — свой “рикенбакер”. Теперь они вместе, на пенсии, покоятся в усыпальнице под моей кроватью.



“Палладиум”. Нью-Йорк, 1979 г.

Мы все разъехались кто куда, решили, что попозже придумаем, как восполнить украденную аппаратуру. Тодд и Тара обвенчались в католической миссии в Сан-Антонио, Ленни был у Тодда шафером. Путешествуя с Фредом по Европе, я осознала: одна из величайших наград за гастроли — настоящая любовь, которую нашли в странствиях и я, и Тодд.

Нелегко было смириться с утратой чемодана, моей рабочей одежды — заношенной и невосполнимой. Мне стало безразлично, что носить, я ходила в старых комбинезонах и футболках, которые публика швыряла нам на сцену. А еще меня обескуражила потеря “дуо-соника” с прибамбасами, которым я обзавелась, отправив первую гитару на заслуженный отдых. Мы с Энди потратили несколько недель: все спланировали, все купили. Металлическую накладку для гитары, звукосниматели “Дейнэлектро”, тремоло “Бигсби” и редкостный предусилитель, его мне установил один эксцентричный гений в окрестностях Чикаго. Это была самая громкая гитара на сцене. Зверь-гитара. Казалось, эти потери — знак, что мой путь пройден до логического конца. Я ведь за несколько месяцев не нарисовала ни

одной картинки, не написала ровно ничего, даже дневник в дорогу не брала. Я сидела и слушала *“Andmoreagain”* “Иещесильнейопять” Артура Ли: *“And I’m wrapped in my armor… but my things are material. And I’m lost in confusions… because my things are material”* (“И я затянут в броню… но мои вещи материальны… И я теряюсь, я в смятении… потому что мои вещи материальны…”).

Где бы я ни была, я вырывалась наездами в Детройт, и каждое расставание оказывалось все мучительнее. Концерт за концертом, город за городом, интервью за интервью — и все абсурдные, нескончаемый чес по радиостанциям. Я тепло относилась к своему городу, к своим музыкантам и техникам. Но со временем, если не проявить благоразумие, превращаешься в кого-то, в ком сама себя не узнаешь. Я развернула во всю ширь ковер своего жизненного пути. Проанализировала, где протоптала себе путь и что растоптала. Поразмыслила о точках, где я спотыкалась, где обходилась с другими немилосердно, придирчиво, пренебрежительно. О том, чего по глупости желала, и о том, что презрительно отшвырнула. К чему пришла и куда мне предназначено идти. Пора призвать себя к ответу, надеясь, что я сама стану для себя самым суровым судьей и

присяжными.

С начала до конца европейского турне я чувствовала себя беззащитной перед бешеной волной обожания, перед подростками, которые громко требовали внимания и выпрашивали пряди моих волос. Парни предлагали своих девушек. Девушки сбрасывали кофты. Телохранителей у меня, как всегда, не было, и в Каннах, Болонье и Флоренции я передвигалась по улицам бегом, а фанаты и папарацци наступали мне на пятки. Казалось, они готовы меня сожрать, словно юнцы на пляже в фильме “Внезапно, прошлым летом”. К нашему каравану присоединился поэт Грегори Корсо. В Болонье мы пошли в ателье, и я охотно исполнила его мечту о белом льняном костюме. Позднее, когда он, весь в белом, декламируя Шелли, заказал эспрессо в уличном кафе, мне вспомнилось, как в “Челси” он читал мои стихи и клевал носом, и сигаретный пепел сыпался на его брюки. Когда мы ехали из Болоньи во Флоренцию, несколько женщин перекрыли шоссе перед нашим автобусом, выкрикивая мое имя. Грегори и я вышли. Некоторые женщины поцеловали подол моего черного платья. Я пришла в ужас. Они, заламывая руки, что-то кричали мне по-итальянски. “Чего они хотят?” — спросила я в

отчаянии. Грегори, свободно владевший итальянским, перевел: “Они хотят, чтобы ты освободила их мужей. Их мужья — политзаключенные, все до одного. Они верят, что это в твоей власти”.

Я почувствовала себя самозванкой. В тот момент я ничего не знала о невзгодах этих женщин, не понимала, как найти выход. Мне предстояло еще очень много узнать о нашем мире и своем месте в нем. Грегори записал, как зовут их мужей, предложил мне зачитать эти имена на пресс-конференции, которая уже была у меня запланирована. Я согласилась, но меня преследовало чувство, что тут я совершенно бесполезна. Я всего лишь лидер рок-группы, никакой политической властью не обладаю — а если и обладаю, то ее не сознаю. Я влезла в автобус, вернулась на свое место, подавленная. Во мне что-то бесповоротно изменилось.

Наше последнее выступление состоялось на футбольном стадионе во Флоренции 17 сентября 1979 года, перед восемьюдесятью тысячами человек. В кулисах находился Грегори Корсо, один из величайших ныне живущих поэтов. Тодд хотел поднять огромный американский флаг, оставшийся у него со службы на флоте. Поднять не в качестве политической декларации, а в знак

уважения к рок-н-роллу — к тому, что Америка подарила мировой культуре. Тодд сказал: “Меня предупредили о возможных проблемах, но я хочу поднять его в последний раз”. Я кивнула, и он крикнул техникам: “Добро, давайте, давайте его поднимем, поднимем адский шум”. В итоге именно это мы и сделали, впихнули в два часа целое лето в аду.

Белую рубашку и галстук я забыла в отеле. Вышла на сцену попросту босиком, в подвернутых штанах и мешковатой полосатой фуфайке с вырезом. Брат торжественно протянул мне электрогитару, и я извлекла последний оглушительный фидбэк из оглушительно громкого “фендер-твина” с прибамбасами. Его мне одолжил Фред. Сказала свое слово, находясь в круге могущества, а затем уступила нашу сцену народу. Призвала: “Захватите ее, забудьте про нас и станьте самими собой”. Наш звукорежиссер Карл Корнелл сказал мне, что от пульта ему все было прекрасно видно и эту картину он запомнит на всю жизнь. “Что же ты увидел?” — спросила я. “Тысячи и тысячи молодых ребят и девчонок, — выпалил он. — Ринулись к сцене, стали подниматься на нее, волна за волной”.

Печать, скреплявшая мой безмолвный обет,

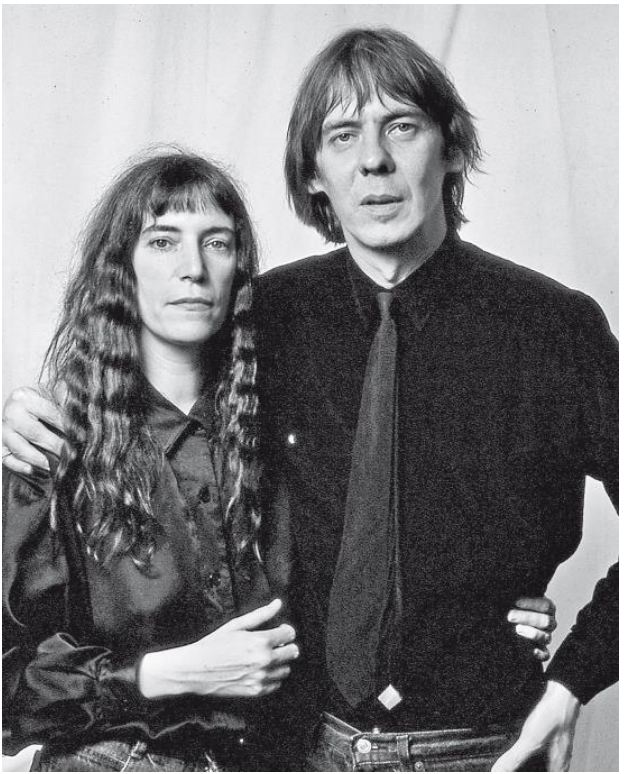
начала трескаться. Во второй раз в моей жизни мне пришлось ради того, чтобы мое развитие не прекратилось, отказаться от того, чем я дорожила. Когда-то я отринула свою религию, отказалась от ребенка. По сравнению с этим отринуть мантию славы и богатства — легче легкого. Никто не знал, какие мысли зреют в моей голове. Знал только мой брат, человек, по которому мой уход со сцены должен был ударить всего больнее. Он все понимал по моим глазам. Я чувствовала: он плачет, не проливая слез.

В ту ночь мы с Грегори бродили по улицам Флоренции. Он умолял меня не бросать музыку. Вскрикнул: “Что ты станешь делать?” Мы стояли под огромной статуей Давида. Грегори плакал, но я его не утешала. Чтобы решиться, должна была оставаться твердой, как сталь. Я сознавала, в чем нуждаются мои соратники, как преданы мне музыканты, какие у них многослойные амбиции. Смысл песни *“Dancing Barefoot”* раскрылся в реальном времени, на всех трех уровнях одновременно. Я знала, что мое решение причинит людям боль и вызовет обиды, но сердцем чувствовала: мне необходимо вернуть себе свое “я”. Когда мы завершили работу над *“Horses”*, я полагала, что мое дело сделано. Но окружающие подбадри-

вали и вдохновляли меня, и я продолжила работу со своей группой, и мы дали миру небольшой, но, надеюсь, значимый корпус произведений. Тут просится цитата из Второго послания апостола Павла к Тимофею в современном переводе: “Мы доблестно боролись, и я закончил свой забег”. Тодд спустил свой флаг — флаг, который больше никогда не будет поднят, — свернул, обвязал веревками и принес мне.

Прежде чем вернуться в Детройт, я сделала остановку в Нью-Йорке, навестила Уильяма Берроуза. Он тихо сидел, сложив руки, а я рассказывала, что сделала и куда направляюсь. Выслушав меня, он задал только один вопрос: “Что он может тебе предложить?” “Самого себя”, — ответила я. Попрощалась с Уильямом. Семью годами раньше он советовал: “Не запятнай свое имя”. Раньше я преследовала цели, о которых не просила; теперь пора преследовать мои собственные цели. Рок-н-ролл дал мне пространство, где я впитала, но затем отвергла наше музыкальное и духовное наследие. Со старым, обклеенным стикерами чемоданом, клетчатым, как шотландский килт, я вернулась в Детройт. Ради любви. Ради искусства. Но главное — ради себя самой. Мой старый плащ пора было сбросить. Бунтарский горб встрепенул-

ся. Уход со сцены стал моей второй декларацией о существовании.



My Madrigal[30]

Жили мы во всех часовых поясах, иногда ночь для нас заканчивалась с рассветом, а иногда — наоборот, начиналась, мы практически поселились в баре “Аркада”, под гигантскими круглыми часами без стрелок. Этот неодушевленный предмет сделался одним из первых наших тотемных животных. Фред сочинил об этих часах песню: неспешный вокал наложен на быстрый, но ломаный ритм. Мы заселились в отель “Кадиллак” в статусе постоянных жильцов, по особому тарифу. Там жила лишь горстка постояльцев.

Несмотря на легкое чувство изоляции, я впустила Детройт в свое сердце, признала своим новым домом. Если Фред уходил на репетицию или по делам, я отваживалась выйти наружу, ходила по пустынным улицам делового центра, щеголяя своими лучшими нарядами из прежней жизни. Длинный бушлат на меху, нескольких пуговиц не хватает. Стоптанные ботинки. Матросская фуфайка. И все почему-то смотрится неуместно, словно я — фигурка, вырезанная из старого жур-

---

[30] Примечания: 30
Мой мадригал (*англ.*)

нала. Бумажная кукла “богемная девица” встала и пошла, а вокруг — ни души. Я запросто могла часами или даже целыми днями существовать в коконе безмолвия.

Я влюбилась в архитектуру нашего отеля, но интерьер был безнадежен — никаких эстетических достоинств. Ничего романтичного. Номер у нас был маленький, одна стена оранжевая, постельное белье оранжевое с черным, скверные абстрактные полотна. Небольшой встроенный шкаф. Санузел. Проснувшись — а это случалось в любое время дня и ночи, — мы завтракали стейком с яичницей и апельсинами. Иногда только этим и питались. Я не сразу подладилась под медлительность и раздумчивость Фреда в жизни — полную противоположность его хитрых ритмов и горячих, аж волдыри вздуваются, гитарных соло.

Если приходилось самой себя занимать, я спускалась на десятый этаж — он всегда стоял пустой — заходила в незапертые номера, разглядывала из окон виды города, с разных точек. В непоседливом настроении воображала себя Нижинским — упоенно скакала по длинным безлюдным коридорам. Играла на своем кларнете. Его я купила в ломбарде в Вене: Фред посоветовал научиться

— мол, это укрепляет дыхательные мышцы и пойдет на пользу моему вокалу. Он же обучил меня азам и подарил мундштук. Я привыкла к кларнету — правда, так и не выучилась играть в традиционной манере, но импровизировать могла бесконечно. На гастролях практиковалась в мотелях, на полях, в общественных туалетах. Никогда не учила гаммы и ноты; играла по-своему, созвучно скорее арабской ночи, чем математической строгости музыки. В амстердамском отеле “Американ” до трех утра играла на кларнете для Уильяма Берроуза. Он понял мой стиль, и, когда я, слегка застеснявшись, перестала играть, он жестом попросил меня продолжить. Ту ночь и его ласковые ободряющие слова я храню в памяти как святыню, все это остается со мной даже сейчас.

Отель собирались закрыть на длительную реконструкцию, сочтя, что по современным меркам номеров в нем непрактично мало. Наконец владельцы объявили: “Отель закрывается ввиду снижения заполняемости”. Мы над этим ржали: какая там заполняемость, мы одни из последних защитников этой цитадели. Несколько недель я могла на любом этаже, где вздумается, играть на кларнете или скакать по коридорам.

В 1979 году найти свободную квартиру в центре Детройта, многострадального города, который Фред так любил, было непросто. Наконец мы нашли жилье в миле от отеля, на Ист-Джефферсон, в обветшавшем особняке, переоборудованном под квартиры. В вестибюле стояло пианино, в соседнем доме круглосуточно работала закусочная “Ровно в восемь” — кофе хоть залейся. Было две квартиры на выбор, почти без мебели. Одна — солнечная, окно выходило в широкий проулок, где росли деревья. Щебет птиц меня очаровал, но Фреду больше понравилась другая квартира. На черном линолеуме на кухне было пять больших желтых пятен, отсылка к историческому джаз-клубу в Ист-Вилидже “Пять пятен” (*“Five Spot”*). Фред переубедил меня, указывая на эти пятна: мы сочли их добрым знаком.

CONCERT IN
RHYTHM

На Ист-Джефферсон. Детройт

Мой брат погрузил в грузовик все пожитки, которыми я дорожила, привез из Нью-Йорка в Детройт. Мой письменный стол, мои книги и блокноты, драгоценные талисманы. Но многие вещи остались на старом месте, им было суждено попасть в другие руки. Я вдохновленно старалась оставить свой отпечаток в нашей маленькой квартире. Мы установили подставки для саксофона Фреда и моего кларнета. Телевизора у нас не было, но стереосистема была, и наши собрания пластинок, где были и оперы, и мотаун, и *Ray Conniff Singers*, и Сан Ра, и Джон Колтрейн. Окна я завесила своими старыми марокканскими шелками и широкими шарфами в турецких огурцах. Фред отыскал репродукцию своей любимой картины Мондриана и прикрепил к стене рядом с нашими инструментами. Мы обходились скудной обстановкой, но все отражало наше состояние души: нас окружали любимые художники, книги, которые мы тогда читали. Мои карты Таро. Косуха Фреда. Его ковбойские сапоги, заклеенные черной изолентой. Наш пол о пяти пятнах. Вот что мне запомнилось.

По ночам слушали пластинки, напоследок часто ставили *“A Love Supreme”* (“Всевышнюю

любовь”) Колтрейна. Фред преклонялся перед ним, мы ставили его диски снова и снова и, вдохновившись, принимались импровизировать в пустом вестибюле: Фред на пианино, я на кларнете. Мы импровизировали длинные композиции, повторяли, шлифовали. Одну, за ее медленный монотонный грув, назвали *“Methadone Waiting Room”* (“Метадоновый зал ожидания”), а другую — *“Dromedaries”* (“Дромадеры”), она словно бы передавала шаги усталых верблюдов, пересекающих пустыню. Третью посвятили поэту Руми, воссоздали, повторяя одни и те же такты, кружение дервишей, развевающиеся одеяния суфиев. Сочиняли композиции, которых не слышал никто, кроме духа вестибюля или призраков, наверняка витавших в нашей крохотной джаз-квартире. Выбирали в альбомах Джексона Поллока какую-нибудь картину и принимались ее интерпретировать; безудержные крики о хаосе, охватившем весь мир. Импровизировали, пока стенания не взлетали ввысь, а затем стихали, капитулируя перед мягкими прикосновениями сна.

Жажда озарений была сильнее, чем честолюбие. Кое-кто думал, что я в то время бездельничала. Наверное, так казалось оттого, что я исчезла

из поля зрения публики. Но мы, со своей стороны, эволюционировали, влияли друг на друга. Поначалу я испытывала муки взросления, словно бабочка, которая, покидая кокон, пытается распрямиться, расправить крылья, или словно жеребенок — пытается встать, но ноги пока плохо держат.

В этой квартире мы отпраздновали окончание семидесятых, и в последнюю минуту уходящего десятилетия Фред сделал мне предложение. Внутренне я уже считала себя замужней, но все еще длился сложный период, когда я думала, что, возможно, сбегу — не домой, а в дальние страны. Скажем, на Крышу мира или в монастырь над морем, вырубленный в толще скалы. Фред чувствовал мое беспокойство, мою тоску по морю. И тогда он взял меня за руку и помог почувствовать почву под ногами. Незадолго до этого он купил подержанный темно-коричневый “олдсмобиль” 1973 года выпуска. Ехали мы долго, до самого Верхнего полуострова Мичигана. Массивные дюны Гранд-Сейбл, принесенные туда исполинскими ледниками, нежились вдоль берега, волны озера Мичиган разбивались прямо у наших ног. Я впала в экстаз, признала дюны пустыней, а озеро — морем. “Как только соскучишься по океану,

скажи — и я тебя сюда отвезу", — сказал Фред.

Я написала родителям, что мы собираемся пожениться, а отец ответил, что хотел бы навестить нас один. Я немного занервничала, но была польщена. Ведь мой отец никогда никуда не ездил — он был домосед. Однако теперь он захотел посмотреть, какую жизнь я веду, проинспектировать моего будущего мужа, разобраться, отчего я распрощалась с публичной жизнью. Возможно, он решил увидеть все своими глазами, чтобы успокоить маму: она горевала, что я отказалась от блестящих перспектив. Фред встретил моего отца в аэропорту; отец приехал в своей парадной одежде и новом пальто. Общий язык они нашли мгновенно. Оба проявляли взаимное уважение, говорили мягко, держались с достоинством. Фред повел отца в классический бар отеля "Сен-Реджис", и они проговорили несколько часов, прихлебывая коньяк. Первый случай, когда мой отец дал понять, что ему не все равно, каких парней я выбираю. Он остался под большим впечатлением от спортивного потенциала Фреда, его невозмутимости и чувства юмора, его познаний по части спорта и политики. Вернулись они в приподнятом настроении.

Мой отец, прекрасно игравший в гольф, угово-

рил Фреда немного у него поучиться и потренироваться. Вскоре мы договорились, что приедем в Саут-Джерси — пусть Фред познакомится с моими и возьмет первый урок гольфа. Отец поразился: какой же Фред ловкий, как быстро все схватывает. Они оба чувствовали важность правильных движений, красоту, неотъемлемо присущую гольфу, — это в равной мере интеллектуальная и физическая игра. По вечерам Фред сидел с моей матерью за кухонным столом. Они курили и толковали о жизни. Оба великолепно умели слушать, а мама вдобавок была блестящей рассказчицей. Я спокойно оставляла Фреда в обществе моих родителей, радовалась, что Фред им симпатичен, а они — ему.



1 марта 1980 г., Церковь моряков

Мы с Фредом поженились в високосный год. Принесли друг другу обет верности в Церкви

моряков в центре Детройта, где благословляли моряков перед плаванием. Накануне вечером, 29 февраля, светила почти полная луна, а рядом висели, казалось, два ярких светильника. “Это планеты”, — сказал он. “Это мы”, — подумала я. Утром я приготовила завтрак и по-быстрому оделась. Надела белое викторианское платье для чаепитий и белые колготки. Не сообразила купить белые туфли; это упущение меня не смутило, но я до сих пор помню, что моя новоиспеченная свекровь опасливо косилась на мои черные балетки. Фред был, как всегда, прекрасен. В черном костюме, белой рубашке с манжетами и черном шелковом галстуке. Мы проехали несколько кварталов по Ист-Джефферсон до церкви. Отель “Лафайетт Кони-Айленд”, где мы познакомились, отель “Ренессанс”, где мы впервые поцеловались, отель “Кадиллак”, где началась наша совместная жизнь, и наша квартира — все рядом, в нескольких минутах езды. Пять вершин нашей своенравной, но надежной звезды.

Свадьба была скромная, присутствовали только наши родители. Мой отец в парадном костюме, невозмутимо-спокойный, держался с тихой царственностью. Моя мать курила сигарету за сигаретой. Отец Фреда ходил из угла в угол. Его

мать представляла собой комок нервов в безупречном розовом костюме. У священника, отца Инглза, на груди висел тяжелый золотой якорь вместо распятия. Цветы для церемонии выбрала я — белые хризантемы. Органную музыку выбрал Фред — хорал *“Wohl mir, daß ich Jesum habe”*[31] Иоганна Себастьяна Баха, токкату Шарля-Мари Видора, христианский гимн “Пребудь со мной” и еще один гимн, мой любимый, — “Приди, приди, Эммануил”.

Церемония была торжественной, но ничуть не чопорной. Мы преклонили колени перед отцом Инглзом и получили его благословение. Отрывок из Писания заранее выбрали сами — наставление из Послания к Евреям 13:16, и мой отец прочел его своим звучным голосом: “Не забывайте благотворительности и общения — именно такие жертвы угодны Богу”. Мы встали с колен, обменялись кольцами. У меня кольцо было золотое без изысков. Оно оказалось чуть шире, чем нужно, и Фред обмотал его черной тесемкой. У Фреда кольцо тоже было золотое, но старинное, внутри выгравировано “Фредерик”. Это кольцо я ему купила с тайной надеждой еще несколько лет

---

[31] Примечания: 31

“Как хорошо, что у меня есть Иисус” *(нем.).*

назад на лондонском рынке Портобелло.

Мои родители подарили нам большой белый кубок — прямо-таки сувенир из Камелота. Когда мы вернулись в квартиру, я разогрела консервированный чаудер “Кэмпбеллс”, перелила в кубок, и мы пообедали, черпая суп из одного кубка. В аэропорт мы мчались стремглав, чуть не опоздали на рейс до Майами. Я была в старом пальто из верблюжьей шерсти, накинутом поверх свадебного платья. Вырвалась вперед — вдруг двери самолета задраят прямо у нас перед носом. Фред не побежал. Шел себе вперевалочку. Стюардесса крикнула ему: “Поторопитесь”, но он двигался в своем темпе.

Лайнер был набит под завязку. В середине полета случилась страшная гроза. Молнии били в иллюминаторы. От турбулентности становилось жутко, пассажиры испуганно вскрикивали. У Фреда была с собой маленькая бутылка коньяка, подарок моего отца, и мы сидели тихо, по очереди прихлебывая из бутылки. Он взял меня за руку и сказал: “Если упадем, то вместе”. Я любила его, но знала: мы прорвемся. Наш сосед сзади беспрерывно вопил: “Погибаем”, и его сын расплакался. Я встала, ухватилась покрепче за сиденье, повернулась лицом к соседу и громко объявила: “Ничего

с нами не стрясется. Мы только что поженились, летим в свадебное путешествие. Ничего не бойтесь — это просто такое приключение". Люди примолкли. За кормой светила полная луна в созвездии Девы — знаке, под которым родился Фред. Мы надеялись, если ничего не сорвется, той же ночью посмотреть лунное затмение. Где-то внизу, под нами, вздымались приливы, море бурлило. В конце концов мы приземлились в Форт-Лодердейле для дозаправки. Мало кто из пассажиров согласился вернуться в самолет после остановки, но мы согласились. В Майами мы приземлились в полночь, с почти что семичасовым опозданием.

Всего багажа у нас было только два маленьких чемодана. Фред арендовал машину в круглосуточном пункте проката, и мы выехали на шоссе. Мы ничего не планировали заранее, гостиниц не бронировали. Ехали в лучах полной луны, от одного гостиничного табло "Мест нет" к другому. Примерно в два часа ночи я заметила табло "Есть места" со стрелкой. Мы съехали с шоссе на грунтовую дорогу. Эта длинная дорога привела к небольшому офису. Напротив офиса стоял одноэтажный мотель, словно бы из фильма "Психо". Стены беленые, вывеска нарисована от руки:

“Мотель «Нирвана»”. Фред разбудил хозяина. Тот заворчал, но, возможно, при виде нас: два маленьких чемодана на двоих, я в обвисшем викторианском платье, озаренная луной, — озадаченно призадумался. Он выдал Фреду ключ, и мы пошли к воде — до берега было совсем близко. Посмотрели вверх, на триангуляционную кривую: наша Луна, Марс и Юпитер. В мои балетки набился песок, и я вымыла ноги в океане. Номер был непритязательный, кровать низкая. Я сняла платье, и мы впервые провели ночь как муж и жена.

Возможно, меня уберегли планеты, луна и сила любви. Казалось, на мне несокрушимая броня. Никаких опасностей я не предчувствовала, знала: мы прорвемся. Совсем как когда мы вальсировали посередине детройтской автострады. И это чувство, пережитое в самолете, не оставляло меня на заре, когда мы мчались на скорости 140 миль в час к островам Флорида-Кис, по мосту длиной семь миль. Вдруг лопнула покрышка, машина ушла в резкий занос, а Фред, крепко удерживая руль, виртуозно выполнил разворот и остановился. Вылез, осмотрел покрышку; промолчал, но чувствовалось, что моей реакцией он доволен.

— Все нормально?

— Да, — сказала я, — я ни секунды не сомневалась, что ты справишься.

Фред пошел по мосту пешком, нашел будку с тревожной кнопкой, сообщил в автопрокат, что у нас лопнула покрышка. Да, жуть, нет, мы не пострадали, но нам нужна машина взамен — у нас свадебное путешествие. Через некоторое время нам принесли извинения и пригнали спортивный красный кабриолет — машину классом выше за те же деньги.

— Скажи мне честно, — сказал он, — ты испугалась?

— Нет, — ответила я, — водить я так и не научилась, в этом полагаюсь на тебя. Но, по-моему, из тебя бы вышел отличный автогонщик.

— Я твой гонщик, — сказал он.

Когда мы наконец-то добрались до островов, Фред первым делом повел меня в ювелирный магазин и купил уменьшитель для моего обручального кольца. А черную тесемку, священную реликвию, положил в крошечное отделение своего бумажника. Мы сходили в дом-музей Эрнеста Хемингуэя, и Фред сфотографировал меня в залитой светом белой комнате, когда я остановилась перед старинным родильным креслом. Знамение, в которое мы тогда не вдумывались.

Срок аренды у нас заканчивался через несколько месяцев, и мы прочесывали весь город в поисках нового жилища. Случай привел нас на узкую тупиковую улицу, когда мы исследовали закоулки в Сент-Клер-Шорс. В этом пригороде есть система каналов, скрытая от посторонних глаз. По чистой случайности мы обнаружили просто идеальный дом: каменный, построенный на рубеже веков, увитый плющом. Наподобие загородных домов в Бельгии. Миниатюрная копия первого в моей жизни замка, который я разглядывала в раннем детстве с крыльца на улице Баринг. Или тихий отголосок грандиозных усадеб, мимо которых мы с Линдой ходили пешком в школу. “Когда-нибудь я буду жить в таком доме”, — говорила я Линде. Правда, когда выросла, эти амбиции куда-то делись: меня вполне устраивала квартира в Ист-Вилидж на седьмом этаже без лифта. И все же мое сердце встрепенулось, когда в тот зимний день мы, подыскивая себе жилье, проехали мимо этого дома. Он не продавался, но я предчувствовала: однажды мы будем здесь жить.

Идея поселиться на берегу канала нас заинтриговала. На острове Кленк на крайнем востоке Детройта нашелся участок у канала. На лодке

мигом доплывешь до места, где из озера вытекает река Детройт. Фред решил построить там небольшой дом, и по ночам мы все планировали. Несколько недель вели переговоры, но сделка сорвалась. Втайне у меня отлегло от сердца — я подумала о доме на улице Бич. Куда бы мы ни ехали, нас почему-то вновь заносило на эту тупиковую улицу под сенью деревьев, без тротуаров. Заканчивалась она там, где канал впадал в озеро Сент-Клер. Мы парковались там, никем не замечаемые, и начинали воображать свое будущее.

Нашли небольшой дом на улице Олив, недалеко от железной дороги. Мимо шли поезда, а мы сидели в машине, слегка скорбя, силились вообразить, как будем здесь жить. В Страстную пятницу мы отправились на долгую автомобильную прогулку, свернули на Бич — взглянуть напоследок на тот дом прежде чем начнем серьезные переговоры о покупке другого. Наши тихие, но горячие молитвы не остались без ответа. На газоне перед домом появился столбик с табличкой: “Выставлен на продажу собственником”. Договориться с собственниками оказалось непросто, но в конце концов мы пришли к соглашению и наметили переезд на 1 апреля. Но уже заканчивался май, а прежние хозяева даже не собирались съезжать.

Фред несколько раз вступал с ними в перепалки, и они нехотя согласились выехать не позднее 1 июля. 2 июля мы подъехали к нашему новому дому и обнаружили, что газон завален мусором, а в доме полно хлама. Два дня, трудясь с утра до заката, мы расчищали завалы. Выбившись из сил, ложились спать: вместо простыней — наши плащи, расстеленные на матрасе.

И вот мы проснулись — а уже День независимости. Возни с домом было много, и мы нарекли этот период “Наше лето физического труда”. На верхний этаж с тремя комнатами и небольшой ванной вела винтовая лестница. Кованый балкон нашей спальни обвивали побеги “розы прерий” — это такой декоративный шиповник. Весь дом зарос плющом. Обнаружив гигантские кучи земли, мы перекидали их обратно в яму: там прежние хозяева думали сделать бассейн, но не доделали. Я выкопала из земли старую каменную скамью — под ней в последующие годы любили сидеть наши дети. Сплошные упоительные открытия: хотя работа требовалась немалая, для нас дом был полон романтики.

Мое сердце пело оттого, что у нас теперь есть свои деревья — будем за ними ухаживать. Вдоль канала росли высокие старые ивы. На заднем

дворе, позади кухни, был лодочный сарай, где хранились мешки с песком, швабры и водоотливные насосы. Насосы работали — ведь подвал постоянно заливало. До меня дошло, что я плохо понимаю, как надо налаживать хозяйство. Во всех предыдущих жилищах импровизировала по ходу дела. Находила применение всему, что осталось от прежних жильцов, что-то докупала, а потом почти все бросала и начинала с нуля. Мало-помалу хозяйство мы наладили. Готовить и стирать я выучилась в детстве, помогая маме. А расстановку мебели взял на себя Фред. Прежний хозяин покрасил все стены в красный. Потолки были высокие, и Фреду пришлось раздобыть гигантскую лестницу, чтобы все перекрасить.

Мне хотелось подержанное пианино, чтобы импровизировать, как в вестибюле прежней квартиры. Мы нашли старое пианино “Чикеринг”, водрузили на почетном месте в нашей домашней студии, рядом с маленьким телевизором на задрапированном тканью сундуке и тремя подставками: для моего кларнета, а также для саксофона и акустической гитары Фреда. Мой письменный стол в георгианском стиле, доставленный Тоддом из Нью-Йорка, мне больше не подходил. Мы назначили его кабинетным сто-

лом Фреда. На столе стояли часы, фотография его матери в детстве, а также наш первый в жизни телефон и приставка-автоответчик.

Моей любимой комнатой стала кухня. Маленькая, но достаточно большая для того, чтобы раскладной ломберный столик у двери, обтянутой москитной сеткой, превращался в мое личное кафе. Я варила себе кофе, усаживалась за столик и начинала что-нибудь писать — в любое время, очаровываясь плющом, ивами, башенкой, дверью с москитной сеткой в боковой стене. Мы сознавали, что планировка непрактичная — санузел всего один, маленький, на верхнем этаже. Кладовки тесные, ни стиральной машины, ни сушильной машины. Что ж, раньше я о таких вещах вообще не задумывалась. Поселившись рядом с озером, я начала вести другую жизнь. Какую же — монашескую? Да нет, разве что по своему собственному монашескому уставу. Идеи появлялись и исчезали. Если одна срывалась, в наши головы влетала другая, вроде одномоторного самолетика, сбрасывающего листовки. Какой следующий ход сделаем? Чему еще поучимся? Зимы были холодные, сумрачные. Канал замерзал. Дом был, мягко говоря, не роскошным, но в нем все было романтичное, уникальное, наше,

и каждая весна приносила аромат сирени и роз, воркование голубей, а осенью к моим ногам падали груши.

Когда у нас еще не было детей, я обустроила себе отдельную комнату, полностью свою. Она примыкала к нашей спальне — маленькая, квадратная, с одним окном. Вдохновляясь “Тысячей и одной ночью”, я четко обдумала, какую службу она мне сослужит. Фред нашел дешевый магазин, и мы купили несколько увесистых рулонов широкого черного войлока, маленький молоток, несколько коробок гвоздей и двустороннюю черную изоленту. Я работала в одиночку: раскатала войлок, постелила на пол, прибила гвоздями. Стена была белая, оштукатуренная, с единственным окном, выходившим на наш дикий двор, весь заросший сиренью.

Я отыскала в секонде низкий столик, обмотала широкую диванную подушку плотным марокканским полосатым шелком. Заварила свежий мятный чай, выпила его из своей персидской чашки, поставила перед собой чернильницу и перьевую ручку, села работать. Мне казалось, что я во всей точности передала атмосферу из прочитанных книг: загадочная комната из “Тысячи и одной ночи”, для чаепитий и размышлений. В

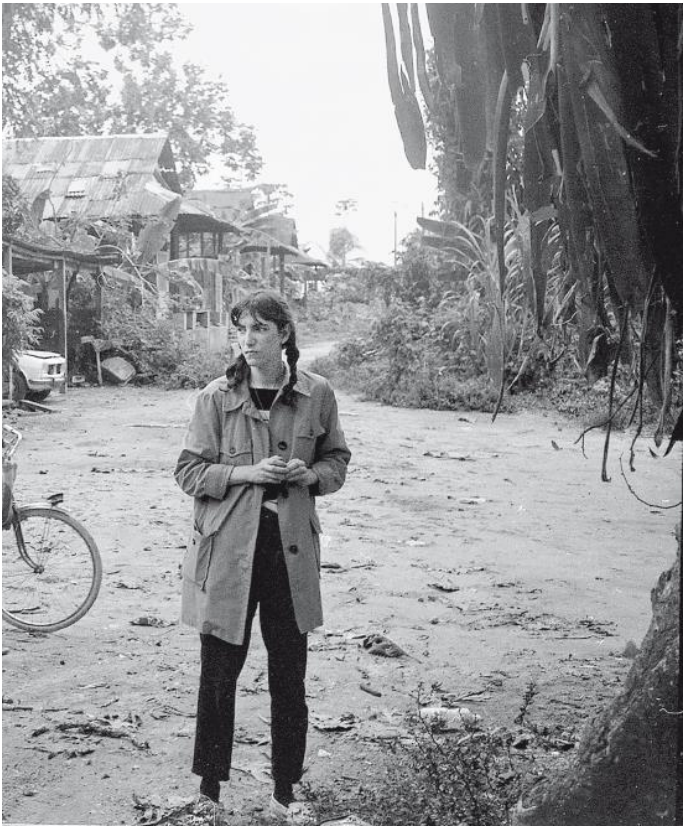
этой комнате я безраздельно чувствовала себя собой. В ней я могла сидеть и писать в лучах рассвета или ночью при свечах. Иногда даже не брала авторучку, но мое сознание наколдовывало длинные истории, которые словно бы нашептывал кто-то другой. Текучие, истории с продолжением. Я выходила из комнаты, чтобы приготовить обед или убрать высушенное белье, а истории затем возобновлялись. В эту комнату я отправлялась бродяжничать. Фред иногда останавливался в дверях, заглядывал внутрь, но никогда не входил. Ни разу не вторгся в ее атмосферу, его пыльные ковбойские сапоги ни разу не ступили на черный войлок.

Вскоре после свадьбы Фред поделился желанием — ему хотелось иметь сына. Раньше я даже не думала, что у нас могут появиться дети, ожидала, что мы будем вести богемную жизнь, как перекати-поле. Фред пообещал: прежде чем мы обзаведемся ребенком, он отвезет меня в путешествие в любую точку планеты. Я выбрала Сен-Лоран-дю-Марони, приграничный город на северо-западе Французской Гвианы. Мы продумали сложный маршрут, нарисовали карты, сосредоточились на своих целях. Он читал книги

по истории. А я — “Дневник вора”[32].

На следующий год после того, как мы поженились, в феврале, мы вылетели в Майами, а оттуда — в Суринам с пересадками в Гваделупе и на Гаити. На пристани в Парамарибо Фред нанял двух мальчишек, и нас переправили на деревянной пироге через реку Марони, кишащую пираньями. Высадили на берег под проливным дождем. Мы еле-еле вскарабкались по крутому склону. Тропинка привела нас в город Сен-Лоран. Когда-то по его улицам водили, словно на парад, закованных в кандалы каторжников. Мы нашли какой-то бар, сидели и пили кофе с коньяком, дожидаясь, пока дождь перестанет. Неподалеку, в идеальном месте — в самой середине чертовых куличек — находился скромный отель “Галиби”.

[32] Примечания: 32
Книга французского писателя Жана Жене (1910—1986).



Тюрьма. Сен-Лоран-дю-Марони

В Валентинов день я стояла перед дверью об-

щей камеры в заброшенной тюрьме Сен-Лоран. Раньше там обитали очерствевшие надзиратели и закоренелые преступники. В этом и была цель моей поездки — оказаться в том самом месте, которое воспел, подобно рапсодам, Жан Жене. Сверкнула догадка: возможно, со следующей такой экспедицией придется обождать — мы долгое время будем слишком заняты. Отныне буду странствовать мысленно — совсем как с сестрой и братом в детстве, когда, проворачивая ручки комода, мы улетали в страну Нетинебудет или к кольцам Сатурна. За всеми этими мыслями я даже не заметила, что Фред меня сфотографировал. Глядя на этот незамысловатый снимок, я безмолвно проживаю заново внутреннюю фабулу этого мгновения. Я вошла в общую камеру, опустилась на колени, выбрала на земляном полу три камешка, положила их в огромный спичечный коробок с рекламой сигарет “Житан”.

Первую годовщину свадьбы мы с Фредом отпраздновали в Куру. Было погожее воскресенье. На Чертов остров мы не попали — не было билетов. Мы проводили паром взглядом, сидя на скамейке, держась за руки. Он ушел к острову, где находилась исправительная колония. Именно там отбывал заключение Альфред Дрейфус и

замышлял свой чудо-побег Мотылек[33].

Вернувшись домой, продолжили странствия: нам помогали книги. Вечерами Фред читал о морских путешествиях или изучал штурманские карты. А я тем временем вела воображаемый дневник путешественника, который никогда не путешествовал, но его ум, подобно сапогам-скороходам, переносил его в Дамаск, отдаленные монастыри и аравийские пустыни. Фред нашел для меня книгу с аэрофотоснимками Каира, а я для него — несколько пожелтевших, неведомых широкому читателю дневников, которые вели безвестные моряки. Он восхищался великими капитанами — и реальными, и вымышленными. Отправляясь навестить моих родных на Восточное побережье, мы заезжали в прибрежные города Новой Англии — ходили в исторические музеи, осматривали порты, откуда отправлялись в плавание китобойные суда янки. Я была внутренне далека от всех кораблей, кроме воображаемых деревянных лодок в Нетинебудет. Но Фред любил корабли, надеялся когда-нибудь

[33] Примечания: 33

Герой одноименного романа французского писателя Анри Шарьера (1906–1973). Шарьер действительно отбывал заключение во Французской Гвиане и утверждал, что описал в романе то, что произошло с ним самим, в том числе побег из тюрьмы на Чертовом острове.

приобрести подержанную яхту или катер фирмы “Крис-крафт”, чтобы ходить по озеру Сент-Клер.

По вечерам Фред читал о Сайласе Толботе, который из деревенского мальчишки стал капитаном “Железнобокого старины”[34], и о голландце Якобе Лемере, который первым обогнул мыс Горн. Но больше всего он преклонялся перед капитаном Джошуа Слокамом. Слокам родился в Новой Шотландии. Его отдали в ученики к сапожнику, но он рвался в море. В четырнадцать лет этот целеустремленный упрямец сбежал из дома, стал юнгой, в шестнадцать завербовался рядовым матросом на торговое судно. Он первым в истории совершил кругосветное плавание в одиночку — притом, что плавать не умел. А однажды, выйдя в море, пропал без вести. Фред зачитывал вслух длинные куски из записок Слокама, начиная с бессмертной фразы: “Я твердо решил совершить путешествие вокруг света”. Фред подумывал отправиться в Аргентину — посмотреть на мыс Горн своими глазами. Поскольку я не умею плавать, мысль о долгих путешествиях в каюте парусника

[34] Примечания: 34

Сайлас Толбот (1751–1813) — американский морской офицер и политик, участник Войны за независимость США. “Железнобокий старина” — неофициальное название фрегата “Конституция”, построенного по распоряжению Джорджа Вашингтона.

меня как-то не прельщала. Но я вообразила, что поеду с ним, чтобы посмотреть на овец на Фолклендских островах — и в очередной раз изыскала способ составить компанию моему Капитану. А Капитан — не кто иной, как командир безупречного корабля, тот, кто подаст тебе хороший пример, всему научит и убережет от бед.

В конце зимы мы исколесили всю округу, подыскивая старый “крис-крафт”. Я исследовала лодочные стоянки. Меня влекло к старым буксирам и самодельным суденышкам — пристанищам бродяг и сквоттеров. Однажды, в городке Харрисон, примерно в четырнадцати милях от нашего дома, я увидела лодку, которая покорила мое сердце. Маленькая, деревянная — точь-в-точь башмак, на котором плыли “Мигун, Моргун и с ними Зевок”[35]. Для двух человек места хватит. Ручная резьба по дереву, сияющая патина. Синий парус, одна штука. Практичности — ноль, цена слегка завышенная, но мне сразу представилось, как мы идем под парусом по нашему каналу, к озеру и обратно. Фред понял, что я в нее влюбилась, и мы вместе стояли и восхищались, пока

[35] Примечания: 35

. Детское стихотворение американского поэта и писателя Юджина Филда (1850—1895), где герои отправляются в плавание на деревянном башмаке. Пер. М. Лукашкиной.

я не налюбовалась. Если Фреду казалось, что я приуныла, он садился за руль пикапа, и мы ехали в Харрисон, в магазин подержанных лодок. Я сочинила короткую песенку: “Плыви к нам, лодочка, плыви / Плыви, не подведи / Мы всегда мечтали как раз о такой, как ты”.



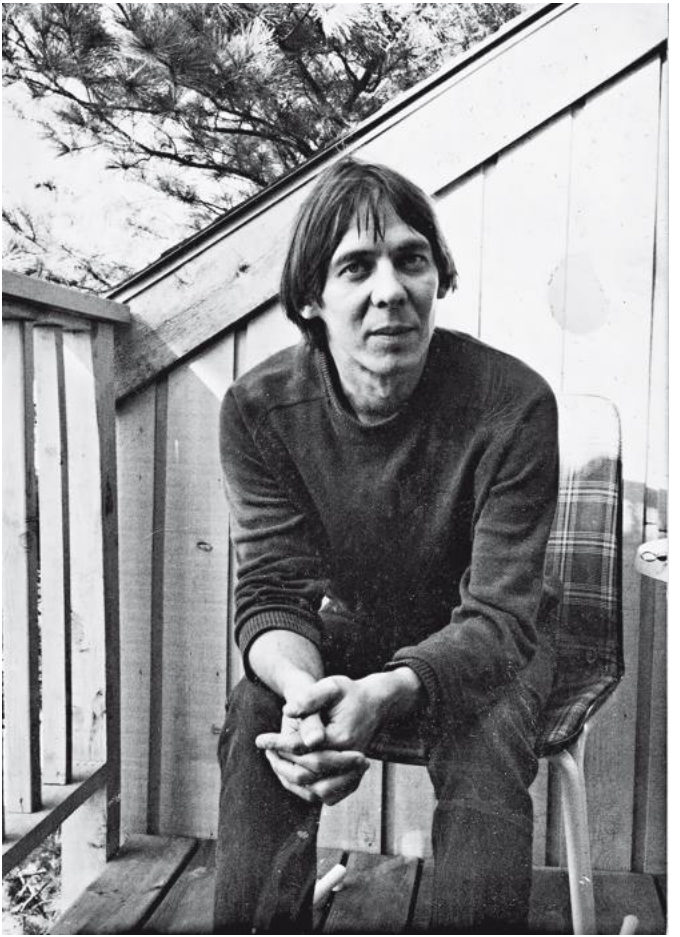
“Навадир”

Однажды после обеда Фред сказал, что у него дела в Анн-Арборе, и уехал на пикапе. В подробности меня не посвятил, но вернулся какой-то меланхоличный. За столом признался, что, получив аванс за грядущий концерт, поехал в Харрисон. Хотел купить мне ту лодку, но ее там больше нет. Мы молча посочувствовали друг другу. Меня растрогало, что он готов такое для меня сделать, и лодочка заняла место в сокровищнице наших воспоминаний, словно ребенок, которому не суждено было родиться. Я и сегодня могу представить ее себе во всех деталях: лодка, где хватит места для двоих, с одним синим парусом, единственная лодка, о которой я мечтала. Она пробиралась в стихи и рассказы, на мои водные пути, затянутые туманом. Несколько недель спустя Фред сделал мне неожиданный, еще более ценный подарок. Это был рыжий золотоглазый котенок абиссинской породы. Предсказал: “Из нее вырастет великая охотница”. За живость и грациозность мы назвали ее Балло — по-латыни это значит “танцую и прыгаю”. Мыши нам очень докучали, а кошка оправдала ожидания Фреда. В ней было что-то мистическое, и я чувствовала, что я и она — одного поля ягоды.

Со временем Фред нашел нам подходящий кораблик — в Сагино, штат Мичиган. Его по дешевке продал Фреду отставной моряк-выпивоха. Это был тридцатифутовый катер “крис-крафт констеллейшн” 1957 года выпуска, видавший виды, но все еще красивый. Фред с приятелем приволокли его в Сент-Клер-Шорс на прицепе. Обратный путь занял у нашего Капитана несколько часов: с прицепом не очень-то разгонишься. Домой он добрался только в сумерках. Катер занял чуть ли не половину нашего двора. Сбежались любопытные соседи. У Балло появилось еще одно тайное убежище.

В первое же утро мы сразу после завтрака принялись мыть, ошкуривать, красить, чертить ватерлинию. В катерах я ничего не понимала, но работала прилежно. Правда, эти работы были мне непривычны, да и я для них плохо годилась; в воздухе повис укоризненный мамин голос: “Когда ты вытрешь посуду, сколько же можно копаться?” Мне никогда не удавалось найти в себе ту особую энергию, без которой невозможно выполнить свои обязанности быстро и эффективно. “Мне тридцать три, — размышляла я, — но много в чем я до сих пор та же двенадцатилетняя копуша”.

Той весной цвела сирень, качались, развевая свои длинные космы, ветки наших старых ив. Каюта катера пришлась нам по вкусу. Столешница там была из ламината в крапинку — словно в джаз-клубе. За этим столом мы составляли список всего, что еще требовалось купить: корабельный компас, спасательные жилеты, ткань для штор — я их сама сошью, вручную. По вечерам посиживали на катере, я — с термосом кофе, Фред — с бутылкой “Будвайзера”, слушали по транзистору трансляции с бейсбольных матчей “Тайгерс”. Фред раскладывал свои штурманские карты — изучал озеро Сент-Клер и лучший путь для перехода по реке Детройт на ту сторону, в провинцию Онтарио. Учился прокладывать курс, читать компас, пользоваться штурвалом, знакомился с путями судоходства. Я читала о Египте, Фивах и Сахаре, и мы часто смеялись: ведь ни он, ни я не могли не подмечать, что наш столик разделился на две стихии — море и пустыню.



Наш Капитан

В конце лета мы нарекли наш катер “Навадир”, по-арабски — “нечто редкостное и ценное”, слово из “Каирских женщин” Жерара де Нерваля. Фред вызвал инспектора для осмотра катера; деревянные части блестели, имя сияло в лучах солнца. Восхищенные соседские дети толпились перед домом — хотели посмотреть, как катер отвезут на марину и спустят на воду. Инспектор потратил много времени. Затем отвел Фреда в сторонку для конфиденциального разговора. Оказалось, у нашего лодочного прицепа сломана ось, и теперь его с места не сдвинешь. Но были и другие серьезные проблемы, без устранения которых катер нельзя было спустить на воду. А чтобы их устранить, пришлось бы потратить много денег. Фред отнесся к новости стоически, но “Навадир” остался на приколе в нашем дворе, покачиваясь на звуковых волнах от бейсбольных трансляций и музыки Бетховена. Моря он так и не увидел.

В январе 1982 года в наших местах был побит рекорд холода. Мы решили сбежать от стужи на юг. Прихватили гитару Фреда, кое-какую одежду и книги, проехали через Цинциннати и Кентукки, через болото Окефеноки в Джорджии до самой Флориды, до Джексонвилла. Мотели сливались

воедино. Желтая лампочка иногда мигает, а потом начинается дождь. Номер, где все работает от двадцатипятицентовиков — словно ночуешь в прачечной самообслуживания. Скармливаешь двадцатипятицентовики телевизору, ледогенератору, кровати с виброматрасом. На белом комоде — накрахмаленная накидка и стеклянная ваза с искусственными цветами — я их, обмишурившись, полила.

Остров Амелия нас заворожил. Береговая линия, казалось, вот-вот уплывет, но у нее были якоря — устья каналов и бухточки, траулеры-креветколовы, ржавые буксиры и переделанные рыболовецкие суда. Фреду стало интересно, как тут налаживают быт: “Может, и нам пожить зимой в небольшом плавучем доме?” В Валентинов день мы катались верхом по пляжу. У меня лошадь была белая, у Фреда — серая в яблоках. Тогда я единственный раз увидела его верхом. Его лошадь пустилась вскачь, и я помчалась вслед. Будь это сцена из фильма, я была бы рада смотреть ее бесконечно.

По дороге в Сент-Огастин мы случайно свернули в Американ-Бич. Выглядел он совсем заброшенным, всеми позабытым. Место как раз по нам — город, где можно спрятаться у всех на виду.

Постояли на покатой дюне, разглядывая руины когда-то грандиозного дансинг-холла, где бурно развивался джаз — кипучий, не знавший границ. Поздно вечером это было похоже на рождественское перемирие на войне Севера и Юга. Пируй да танцуй, всех объединяет крик саксофона — возносится ввысь, расплескивается по морю.

В Сент-Огастине мы набрели на маяк в красно-белую полоску, возвышающийся над заливом. Он был выставлен на продажу, его было бы несложно приспособить под жилье. Цена посильная, маяк уже некоторое время пустовал. Мы загорелись, решили: покупаем, будем жить в нем зимой. Фред будет исследовать море, а я писать. Но чуть ли не накануне сделки вмешались местные власти, объявили маяк историческим памятником, и покупка сорвалась. В последние дни на море я четко почувствовала, что уже вынашиваю нашего ребенка. На обратном пути домой мы удостоверились в том, о чем я уже догадалась. Распрощались с морем, с идеями насчет буксиров и траулеров-креветколовов, насчет маяка у смотровой площадки. Снова заехали в Американ-Бич. Было довольно прохладно, я надела плотный белый свитер. Фред озирал все такими глазами, словно это его захиревшее королевство: построй-

ки заброшены, дюны поросли травой.

— Теперь это мир Дж. Г. Балларда, — сказал Фред.

В долгом обратном пути мы часто надолго замолкали. Это было уютное, доверительное молчание: мы оба размышляли о переменах, которые нас непременно ожидают. Раньше, воображая свое будущее, я никогда не думала, что буду растить детей. Никогда не думала, что проживу долго. Надеялась просто успеть сделать что-то стоящее и найти спутника, кого-то, с кем возможна любовь и совместная работа. Теперь я дополняла эти надежды размышлениями о новых обязанностях и предвкушением появления ребенка. Я нимало не сомневалась, что у нас будет сын, о котором мечтает Фред.

Фреду хотелось сочинить симфонию нового типа, части которой будут вдохновлены Колтрейном, Сан Ра и особенно Бетховеном. Мы посещали цикл концертов — все девять симфоний Бетховена, Детройтский симфонический оркестр под управлением Антала Дорати, а в дождливые дни слушали фортепианные концерты на кассетнике, сидя в каюте катера, навечно пришвартованного во дворе. Иногда, в грозовые ночи, слушали на виниле Третью, Героическую симфонию. Ее

вторая часть — слияние скорби с экстатическим восторгом — была любимым музыкальным произведением Фреда. Мы воображали, как Наполеон, перед которым Бетховен одно время преклонялся, встает с походной кровати: генерал без армии, одинокий изгнанник на зубчатом утесе. Силой музыки перед нами возникал человек, предавший свои идеалы, — противник монархистов, который сам себя короновал и объявил императором, тот, кто теперь бредет, пошатываясь, над обрывом в чистилище. Потом Фред менял пластинку, ставил иглу на вторую часть Седьмой симфонии — мою любимую, протягивал ко мне руки и говорил: “А ну-ка, Триша, потанцуем”.



Сент-Клер-Шорс, Мичиган

Наша жизнь обходилась без громких событий, возможно, некоторым казалась не самой ин-

тересной, но для нас в этом вся жизнь и была. Порой бывало нелегко, но я чувствовала, как эволюционирую, медленно, но в реальном времени. Мучительно: словно отдираешь многовековые наслоения кожи, праха, мусора с выкопанного из земли корабля, и он наконец-то вступает в свои права. “Бунтарский горб бунтарский горб”. “Я все та же, — говорила я себе, — только лучше”. Шаг стал легче, здоровье окрепло, возросла уверенность в призвании, которое я предпочла всем остальным, — в писательском.

Жажда странствовать, ходить по другим улицам в иных краях подталкивала мысленно преображать кусочки действительности. Угол рыболовного магазина в конце квартала — белые оштукатуренные стены, пустырь — стал моим Марокко. Я заваривала мятный чай, шла в конец квартала, усаживалась, прислонясь к стене, особенно в жару, воображала себя в Танжере, где море встречается с пустыней. На другом конце квартала был мой Марсель. Вдали на озере Сент-Клер виднелись лодки. На причалах были большие бетонные блоки с массивными латунными круглыми крюками, где раньше швартовались маломерные суда. Трансмутация преображала эти незамысловатые приспособле-

ния в целый портовый город — город моряков, город, где умирал Рембо.

В моей комнате, устланной черным войлоком, стоял столик, лежал мой семитомник в переплетах из темно-синего, военно-морской расцветки, шелка — “Тысяча и одна ночь” в переводе Ричарда Бертона. Читать текст мне было уже не обязательно — достаточно водить пальцами по золотому названию на корешке, словно бы ловко читая по Брайлю, и надежды вырывались на волю. Мой ум никогда не дремал, развлекал меня во время тягомотного мытья посуды, приготовления обедов, стирки. Работу по дому я делала так же медлительно, как в детстве. Маму это дико раздражало, но теперь я хозяйничала в своем доме, и никто мне не выговаривал. Я вела хозяйство в своем темпе.

Я никогда не видела величественную ступу, которая возвышается над Катманду. Я никогда не плавала по Нилу на двухмачтовой парусной лодке. Но описание воображаемой зимы в Египте, мой “Фиванский дневник”, впиталось во все клетки моего организма, и изучение этих мест по книгам, казалось, породило воспоминания. Воссозданная песня Колоссов Мемнона. Когда я по телефону читала своей сестре отрывки, она

страшно удивилась. Там рассказывалось, как я играла сомнамбулу в малобюджетном фильме и стала свидетельницей убийства в тени пирамид. “Ты мне никогда не рассказывала, что с тобой такое было”, — сказала она, а я удовлетворенно подумала: “Да, на определенном уровне это и правда со мной было”. Линда была моим спасательным кругом. Она жадно выслушивала мои истории и поощряла продолжать. Мы делились своими комментариями к книгам Библии. Читали вместе “Городок” Шарлотты Бронте, обсуждали по телефону мир его героини Люси Сноу, дышали его атмосферой. Расстояние для нас ничего не значило; мы вместе переносились из мира в мир, не спотыкаясь на их рубежах.

На последнем месяце беременности я уже не могла сидеть за низким столиком на полу. Иногда просто стояла в дверях и наблюдала, как меняется освещение, созерцала комнату, словно потайной коридор в своем сознании. Когда пришло время приготовить место для нашего сына, мы все демонтировали и вынесли, свернули черный войлок. Фотографий моей комнаты не сохранилось, но в воспоминаниях я вижу ее крупным планом, вплоть до мельчайших пористых волокон черного войлока. На эти волокна, покружив-

шись в лучах света из окна, садились пылинки. Комната вдохновила меня на множество мысленных приключений, а в итоге была переделана в жизнерадостную, хоть и скромную, игровую. В последующие годы я, выглядывая из-за дверного косяка, смотрела, как Джексон играет со своими солдатиками, роботами и динозаврами. Он сидел на полу, совсем как я когда-то, в полной тишине творил свои миры. Выстраивал солдатиков в шеренгу на подоконнике — не перед битвой, а чтобы посмотрели на ночное небо. Прежде чем лечь спать, собирал их в мешочек.

Мы устраивали свою жизнь, никогда не сверяясь с часами, но теперь мне приходилось подчиняться потребностям ребенка, и мы с Фредом впервые стали жить не совсем синхронно. Теперь мое время строже регламентировалось, и я выработала новую трудовую этику. Около пяти утра вставала, спускалась на первый этаж, варила кофе и усаживалась за ломберный столик. Сначала просто сидела в ступоре. На заре выходила во двор. Цветы распускались, голуби ворковали, длинные космы ив слегка покачивались над темным каналом. Меня завораживали мелочи — какое чудо, что на нашем дереве растут груши, падающие мне под ноги, побеги

шиповника, взбираясь по шпалере, цепляются за наш балкон, одни и те же голуби возвращаются каждую весну, чтобы свить на балконе гнездо, ипомеи из посаженных мной семян расползлись по сетчатому забору на задах участка, бутоны у них просто невероятной синевы. Я любила сушить белье во дворе, как когда-то делала моя мама, а потом убирать в корзину прищепки, прогретые солнцем пеленки и простыни. Любила смену времен года, тихие зимние снегопады. Мое тридцатишестилетие совпало с полным лунным затмением. Фред спал рядом с колыбелью Джексона. Я накинула зимнее пальто Фреда. Балло увязалась за мной по невысокой каменной лестнице, которая вела на плоскую крышу нашего пустого лодочного сарая. Наблюдая за затмением, я думала о будущем с оптимизмом. Наш малыш здоров, Фред читает книги по истории авиации, а я работаю над циклом рассказов, задуманным еще во Французской Гвиане. Подумала, что затмение на день рождения — добрый знак, и мы вступили в относительно мирный период.

Я полюбила это время спозаранку, когда наш малыш спал, а я садилась писать. Через несколько месяцев распорядок стал казаться даже естественным; я охотно просыпалась по своему

внутреннему будильнику. На рассвете дыхание Джексона синхронизировалось с дыханием отца, кокон сна окутывал весь дом. Я тихонько спускалась на первый этаж и принималась записывать новые приключения путешественника, который никогда не путешествовал.

Однажды рано утром раздался стук в кухонную дверь. Я открыла, и Балло вытряхнула что-то из своей пасти. По полу покатилась голова голубой сойки — той самой, которая нацелилась разорить гнездо голубей на нашем балконе. Балло сделала мне подарок, но во мне шевельнулась тревога — предзнаменование сбивало с толку. Немного погодя все небо окрасилось в цвет разбавленного ликера “шартрез” — желтовато-зеленый; таких явлений я еще не видала, и его зловещая красота вызывала смешанные чувства. Фред сказал, что такая погода сулит торнадо. Торнадо обошел нас стороной, но вспыхнули сухие молнии, ударили в самую старую из наших ив. Я увидела это с балкона и ужаснулась: ива треснула, повалилась во двор. Вокруг, любопытствующие, опечаленные, собрались наши соседи. Глядя, как она лежит, словно сраженный великан, я невольно содрогнулась. Оплакивала ее, всматриваясь в широкий прогал на берегу канала, где эта ива когда-то

загораживала нас от ветра и словно бы оберегала наш мирок, похожий на материнскую утробу.

Фред дочитал “Дух Сент-Луиса”, автобиографию Чарльза Линдберга, и объявил, что хочет научиться летать. В свое время он так и не закончил среднюю школу. Поэтому теперь он с умопомрачительным прилежанием доучился в школе, а затем блестяще сдал экзамены по высшей математике и всему, что что требуется будущему пилоту. В феврале 1985 года мы отдались новому приключению. Сначала поехали в Килл-Девил-Хиллз — отдать дань уважения братьям Райт, а затем вместе с сыном — ему тогда было два с половиной года — снова отправились в Сент-Огастин. Сняли в мотеле близ пляжа недорогой номер с мини-кухней. Фред занимался в летной школе. Я сидела на пляже. Джексон тихо играл рядом. Я писала, Фред летал, и мне казалось, что такая жизнь не прискучила бы мне целую вечность. Читала роман Уильяма “Пидор” — он мне его прислал. Его предисловие к новому изданию, исповедь писателя, пробудило во мне то упоительное беспокойство, которое охватывает, когда даешь обет. В тот миг я всем своим существом поняла, что больше всего на свете хочу быть писательницей.



Когда мы вернулись домой в Мичиган, ломберный столик на кухне, у двери, затянутой москитной сеткой, стал моим постоянным письменным столом. Я прикрепила к стене открытку с портретом Альбера Камю. На этом месте она провисела так долго, что наш сын решил, что это портрет его дяди, и смастерил для портрета глазурованную зеленую рамку. Рамку в виде головы

робота, с портретом в зубах. Когда-то я мечтала об изящном письменном столе с потайными ящиками, столе с блестящей вековой патиной. Но именно за этим складным столиком понимала, как дорог мне этот священный процесс работы, почувствовала, что могу называть себя писательницей. Иногда все стопорилось, казалось, за ночь родник иссяк. Если это затягивалось, для меня наступало самое трудное время: воображение ополчалось само на себя, и даже природа с ее всепобеждающей невинностью оставляла меня равнодушной. Отложив пустой ежедневник, я неохотно вставала из-за ломберного столика, шла готовить завтрак, а потом мы с Джексоном совершали прогулку до конца улицы, где она упирается в озеро Сент-Клер. Сидели на бетонных ограждениях и смотрели в сторону Канады. А потом я неожиданно замечала его, далеко-далеко: мой бунтарский горб неспешно отбывал в неизвестном направлении, а меня с собой не брал. Мне казалось, что я теряю сознание, и это ощущение проникало так глубоко, что казалось, нет уже никаких чувств, кроме жажды странствий. Затем маленькая рука Джексона сжимала мою. “Пора домой”, — говорил он, и мы шли обратно, мимо маленького гипсового оленя, приютившегося

среди цикория и сосен. Джексон отпускал мою руку, вырывался вперед — приветствовать отца, стоящего в дверях черного хода.

— Куда ходили? — спрашивал Фред.

“В неизвестном направлении”, — думала я.

— Да так, дошли до конца квартала, наш мальчик поздоровался с оленем.

Фред всегда замечал, что я мыслями в других местах. Возможно, предполагал, что я снова на гастролях с группой или брожу по парижским бульварам. Но я была вовсе не там и не среди своих воспоминаний. Я уносилась намного дальше, увязывалась за той геометрической фигурой, тем треугольным контуром, который зовет меня время от времени, но преданно. Дыхание, циркулирующее в моих ноздрях, было дыханием драконов, и не простых, а придуманных детьми, а мое сердце — существом, которое я хорошо знаю. Я носила в себе облик вещей, которые не появлялись, пока я им не прикажу, персонажей рассказов, которые не спешили рождаться, пока я не встряхивала клетку своей фантазии, чтобы они, перепугавшись, сами выскочили на волю: пусть сеют хаос, собирают желания и топчут копытами время.

Внезапно начался ливень. Я вышла во двор

снять белье. Балло юркнула в дверь вслед за мной. Исчезла в кустах, на мой зов не вернулась. Я накинула дождевик, поискала ее, не нашла, подумала, что она где-нибудь спряталась или пошла охотиться на опоссумов. К ночи она не вернулась. Я забеспокоилась, Фред взял фонарик, вышел ее искать. А вернулся с Балло на руках. Наш сосед все видел: ее задавила машина, проезжавшая на полной скорости по нашей темной улочке. Мне вспомнилось с беспощадной четкостью, как она пробиралась сквозь траву, моя грациозная охотница. Необыкновенно независимая, но бесспорно моя. Утром я завернула свою абиссинскую воительницу в эфиопское покрывало, и мы похоронили ее у каменной скамьи под кустами сирени. После Бэмби я не отдавала свое сердце ни одному животному-компаньону. Мою скорбь многократно усиливало воспоминание о том, как отец завернул Бэмби в одеяло и похоронил ее около нашего дома. Какое-то время мне было тревожно и неуютно без Балло: она больше не шествовала вслед за мной — удалилась в царство исчезнувших, на тайное кладбище в моем сердце.

Фред изучал историю авиации и очень серьезно относился к урокам в летной школе. Вместо

того чтобы бороздить океаны в кругосветке, решил бороздить небо. Налетал с инструкторами нужное количество часов, чтобы получить разрешение на самостоятельный полет. Мы бывали на авиашоу в Детройте и Огайо, он познакомился с дожившими до тех времен пилотами из Таскиги[36], счел это большой честью для себя, скромного новичка. Фред получил удостоверение пилота, выписанное 30 ноября 1985 года, налетав без малого девяносто часов — часть с инструктором, часть самостоятельно. Чтобы отметить это событие, он арендовал “пайпер чероки”, и мы совершили полет над Детройтом. Фред гордился своим достижением, но вскоре с горечью осознал, что аренда даже самого маленького самолета для нас непосильна. Он брал меня в небо только по особым случаям, и мы пролетали над береговой линией и дюнами севера Мичигана.

Немного погодя Фред сказал, что ему хотелось бы иметь дочь, и мы тихо стали лелеять надежды. Мы были бережливы, но надежда на появление второго ребенка обязывала увеличить доходы

[36] Примечания: 36

“Пилоты из Таскиги” — неофициальное название группы американских военных летчиков-афроамериканцев, участников Второй мировой войны. Получила название по американскому городу, где они проходили обучение.

— надо содержать семью. У нас накопилось много песен, порожденных нашими общими музыкальными интересами, и мы решили записать собственный альбом. Клайв благословил затею, и Фред трудился с полной самоотдачей, готовился продюсировать альбом сам на пару с Джимми Иовином. В начале октября я почувствовала недомогание. Наш врач, ливанец Дахер Рахи, человек с тончайшей интуицией, не стал меня осматривать — просто заглянул в глаза, взял за руку и сказал: “То, чего вы желали, сбылось”. И пояснил: делать тест пока рано, но он уверен, что я беременна.

Мы никак не ожидали, что нашу жизнь вскоре поглотит водоворот. Роберта положили в больницу с воспалением легких на почве ВИЧ. Фред покидал вещи в машину, мы завезли Джексона к моим родителям, а сами поехали в Нью-Йорк. К тому времени Роберта уже выписали, он надеялся на лучшее. Мы вместе навестили в больнице Сэма — у него был СПИД в последней стадии. Сэм попросил меня ему спеть, и я выбрала колыбельную, только что сочиненную мной и Фредом для Джексона. Я пела, четко сознавая, что наш друг, когда-то здоровый и энергичный, смотрит в лицо смерти, а я ношу под сердцем новую жизнь.

Дух того времени — неудержимый ураган душераздирающих событий. У Роберта вскоре диагностировали СПИД, и мы снова приехали в Нью-Йорк, чтобы навестить его в больнице. Мы верили, что он сможет победить вирус. В Мичигане пресса мало писала о СПИДе, но чуть ли не каждую неделю на странице некрологов появлялись имена моих старых друзей: танцовщиков, модельеров, музейных кураторов. Ричард Сол приносил мне новости о ситуации в Нью-Йорке и оставался ночевать, чтобы поработать с Фредом над фортепианными аранжировками. Фред иногда бывал замкнут, но с Ричардом сдружился. По вечерам, когда я ложилась спать, Ричард играл Фреду фортепианные концерты Мендельсона.

В январе умер от осложнений СПИДа Сэм Уэгстафф. Роберт, потрясенный утратой, попросил меня написать стихотворение о Сэме — хотел прочесть его на гражданской панихиде. В тот вечер я сосредоточилась на одном из любимых произведений Сэма — фотоработе Роберта: на черном фоне изящно склоняется белый, резко очерченный тюльпан. “В этом оттенке черного можно заблудиться”, — сказал когда-то Сэм. Также мы с Фредом сочинили мелодичную *“Paths That Cross”* (“Пути, что пересекаются”) — песню

утешения для Роберта и множества людей, у которых СПИД отнял близких.

Наша дочь, Джесси Пэрис, родилась в той же больнице, что и Джексон. Ее появление приветствовала двойная радуга. Фред ликовал, Джексон первым взял ее на руки. Моя сестра прилетела в Детройт мне помочь. Я была очень измотана, и Линда ухаживала за мной. Именно она в самый первый раз искупала Джесси, а когда Джесси плакала, носила ее по комнатам, пела ей песни. Подменяла меня, пока я не окрепла и не смогла делать все сама. Наша молчаливая маленькая медсестра выросла, у нее появилась собственная дочь, она всем сердцем приняла свою веру и шла своим путем. Но наше "мы" никуда не делось, в наших отношениях ничего не менялось, время не было над ними властно. Неизменная, непоколебимая любовь и преданность окружали нас особой аурой.

Выход альбома *"Dream of Life"* ("Мечта о жизни"), отложили из-за рождения трех девочек: Джимми Иовин и наш звукорежиссер Том Панунцио тоже сказали своим дочерям "Добро пожаловать в мир". Вдохновившись рождением Джесси, мы написали заглавную песню в честь нее. А завершала альбом песня *"Looking for You"*

(“Высматриваю тебя”), светлая песня любви в честь Фреда и Детройта. Клайв был под большим впечатлением от альбома, прислал нам поздравительную телеграмму. Но даже Клайв Дэвис не смог предвидеть, как примут альбом, и оградить нас от нападок с переходом на личности, от жестокой критики. А нападки не заставили себя ждать. Тем не менее Клайв верил в потенциал песни *“People Have the Power”* (“Власть принадлежит народу”) — призыва сплотиться в будущем. *Arista* выпустила ее в качестве сингла, с моим фото работы Роберта на обложке. Фред восхитился снимком, но заметил, что на портретах Роберта я почему-то выгляжу похожей на него. Роберт многозначительно улыбнулся; я отошла в сторонку, а они разговаривали и пересмеивались: любовь всей моей жизни и художник всей моей жизни. Сингл мало крутили в эфире, что стало еще одним ужасным разочарованием, особенно для Фреда. Концепция *“People Have the Power”* принадлежала Фреду, он горячо надеялся, что песня выразит мнение народа и поможет в мировом масштабе всем борцам за правое дело. Для нас начались тяжелые месяцы: мы пытались прийти в себя после провала альбома и видели, что у Роберта прогрессирует болезнь.

Разговоры по телефону с Робертом становились все тяжелее: он больше надрывно кашлял, чем говорил. В феврале мы навестили моих родных, оставили у них Джека и Джесси, а сами опять поехали на машине в Нью-Йорк. Я отправилась навестить Роберта одна. В его квартире не было никого, кроме сиделки. Визиту благоволило небо: Роберт ни разу не кашлянул, и мы провели вместе мирный день наедине. Я чувствовала, что произнести слова прощания мне будет нестерпимо трудно, дождалась, пока он задремлет, но в дверях обернулась — хотела еще раз на него посмотреть. Стояла тихо, а он открыл глаза и улыбнулся, совсем как при нашей первой встрече. И тогда сердце подсказало мне: я его больше никогда не увижу.

Когда убили президента Кеннеди, я еще училась в школе. Я горевала, смотрела по телевизору похороны вместе с моими родными и всей Америкой. Я была безутешна, ничего не ела, и на ужине в День благодарения мне стало плохо, я потеряла сознание на руках у отца. Меня отвезли в больницу, снова и снова брали кровь на анализ. В больнице мне исполнилось семнадцать, Новый год я встречала одна под голос Рэя Чарльза из транзистора — он пел *“Ol’ Man River”*. Еще

в больнице я узнала, что парень, с которым я тогда встречалась, нашел себе новую девушку. Кажется, я рыдала, но не так горько, как во время похорон президента. Не так горько, как при виде Джон-Джона: мальчик, которому в тот день исполнилось три года, салютовал на похоронах убитому отцу. Не так горько, как при виде лица Джеки Кеннеди, полузакрытого черной вуалью. Я плакала по Джеки, по нашей стране и по всем нашим ребяческим надеждам. Врачи не могли понять, что со мной неладно. Сказали: наверное, что-то не так с кровью. Но я была искренне уверена, что заболела с горя. А теперь, потеряв Роберта, когда словно бы часть меня вырвали с корнем, я изо всех сил пыталась не провалиться в ту же бездну. На пасхальные каникулы мы поехали в Северную Каролину. Я сидела на пляже и смотрела, как Джек учит Джесси строить песочные замки. Накатил прилив, смыл замок маленькой Джесси, и я стала ее утешать.

В мае мы снова приехали в Нью-Йорк, на панихиду по Роберту. Фред надел новый костюм. Я чувствовала гордость, знакомя его, моего мужа, со старыми друзьями и знакомыми. И только тогда потрясенно осознала, скольких людей больше нет с нами — их сразил СПИД. Почти в самом

конце панихиды я спела маленькую песенку, которую сочинила на море для Роберта. Потом поцеловала его мать, и мы все распрощались. Под безоблачным небом мы с Фредом шли, держась за руки, по Центральному парку. Вернувшись в Мичиган, я изо всех сил постаралась развеять пелену печали, окутавшую наш дом. Расцвели сирень и ипомеи, и нас приободрила лучезарность природы, переборовшая мрачное дуновение бренности. Наш двор полнился смехом соседских детей, а я тихо сидела на кухне и с лихорадочным рвением писала “Коралловое море”, метаморфический цикл стихотворений в прозе в честь Роберта.

Всю зиму Фред работал над новым материалом для следующего альбома, который должен был называться *“Going West”*[37] (“Еду на Запад”). Стержневой должна была стать песня, которую он назвал *“Gone Again”* (“Снова в отъезде”). Фред изучал историю племени киова, попросил меня написать текст от лица праматери: она рассказывает своему народу, что времена года бесконечно

---

[37] Примечания: 37

В британском английском есть также идиома *go west* — “погибнуть”, “пропасть”, но в американском английском в этом смысле чаще используется *“go south”*. А западные штаты в США долгое время ассоциировались с поиском приключений, богатства и самореализацией на фронтире.

возвращаются, снова и снова. Работа шла споро, и окрыленный Фред позвонил Ричарду, сговорились через два-три месяца вместе поработать над песнями и, может быть, сыграть что-нибудь из Мендельсона. 1 июня я содрогнулась, увидев в газете некролог художнику Карлу Апфельшнитту. Когда-то Ричард был в него пылко влюблен. Два дня спустя позвонила, рыдая, Энди Остроу, сообщила, что на Файр-Айленде у Ричарда стало плохо с сердцем. В детстве он переболел ревматической лихорадкой, и, видимо, сердечный клапан с тех пор барахлил. Больниц на острове не было, и Ричарда отправили в Нью-Йорк вертолетом. Ричард умер в небе, на руках нашего друга Дэнни Филдса. Фред тихо заплакал. Вышел наружу, долго сидел один у канала. Ричарду было всего тридцать семь; он бросил курить, остриг кудри, был как никогда жизнерадостен. Я вспомнила, как Ричард повел меня в лофт Карла, как я стояла, вся в черном, перед своим портретом в натуральную величину — его написал Карл. И брызги краски повсюду — на полу, на комбинезоне Карла, на его ботинках. Теперь нет ни Карла, ни Ричарда, и, явственно припомнив эти забрызганные краской ботинки, я почему-то залилась слезами. Плакала обо всех сразу: о Сэме, о Роберте, о многих других — как

знать, сколько их было. Слезы прожгли еще одну дырочку в моем сердце.

Все четырнадцать лет с тех пор, как мы поженились, Фред был рядом со мной неотлучно, за исключением нескольких часов в больничных палатах, когда я рожала сына и дочь. Мы обитали под часами без стрелок, уживались в одной шкуре, плыли на одном катере, никогда не покидавшем сушу. Джесси рисовала в моих дневниках жизнерадостных мышек и цветы. Джексон по вечерам обычно посиживал у канала с удочкой и бумбоксом, слушал Паваротти. Бессонными ночами или рано утром я занималась писательством. Босиком тихонько спускалась по мраморной лестнице, проскальзывала в деревянную дверь с витражом в виде восходящего солнца, входила в нашу скромную кухню. Газовая плита с четырьмя конфорками, мойка деревенского типа, массивные дубовые буфеты, мой ломберный столик с раскрытым ежедневником и авторучками в маленькой стеклянной банке. “Пиши то, что невозможно написать”, — призывал мой метеор, мой перевернутый парус, упавший в море.

Осенью 1991 года бывший вокалист группы MC5 Роб Тайнер умер от обширного инфаркта. Фред —он уже какое-то время держался отрешен-

но — не изменил своему стоицизму, но все же эта смерть его потрясла. Он пришел на панихиду по Тайнеру и прочел вслух “Лучше укрыться на небесах — взять да умереть”[38] Джека Керуака. Про свой период в *MC*5 Фред почти ничего не говорил, но смерть Роба воскресила воспоминания об экстатическом и трагическом пути, проделанном Фредом в тот судьбоносный период жизни. Он открыл потрепанные футляры с самыми дорогими ему гитарами, теми, что уцелели, — “мосрайт” середины шестидесятых, окрашенная перламутровым лаком, и любимейший двенадцатиструнный “рикенбакер”. Погладил пальцами грифы, но играть не стал. Оба инструмента излучали ауру революции, которую совершили в культуре *MC*5 и другие группы.

Фред был крутым парнем с тонкой душой. Боксер, революционер, шортстоп — то есть бейсболист, который обороняет сразу две базы, летчик. У него был какой-то груз на сердце, но истинных причин я так и не узнала — не суждено было. Он, словно вернувшийся с войны солдат, никогда не говорил о пережитом, но чувствовалось, что он с этим опытом никогда не расстается. Это как в лю-

[38] Примечания: 38

Концовка стихотворения Джека Керуака “122-й хор” из сборника “Блюзы Мехико”.

бую погоду не расставаться с тяжелой шинелью. Правда, Фред не был на войне. Но война происходила у него внутри. Трудное детство, в юности борьба с наркозависимостью. Когда мы познакомились, ему было всего двадцать шесть. К тому времени он отбросил эту сторону своей жизнь, но здоровье было подорвано, урон оказался необратимым, как в случае его любимого Колтрейна и многих других. Испытания и сложности, которые обрушивались на нас с Фредом, были для нас общими. Его угасание стало трагедией моей жизни, а подробности внутренней борьбы человека, который никогда не распространялся о своей внутренней жизни, разглашать не стоит — от них не будет проку никому.

Летом 1994 года Джесси исполнилось семь, а Джексону — двенадцать. Мы поехали на машине на озеро Энн, но на рыбалку не отправились: Фред так ослаб, что не мог отшвартовать лодку. Просто сидели ночью на воздухе, держась за руки, почти не разговаривали. Вернувшись, обнаружили в почтовом ящике извещение о полном погашении ипотеки. Наш замок-развалюха окончательно стал нашим. Я сидела во дворе, и маленькая Джесси, возможно, почуяв, что мне грустно, принесла мне подарок. В Джесси соединялись радуга и

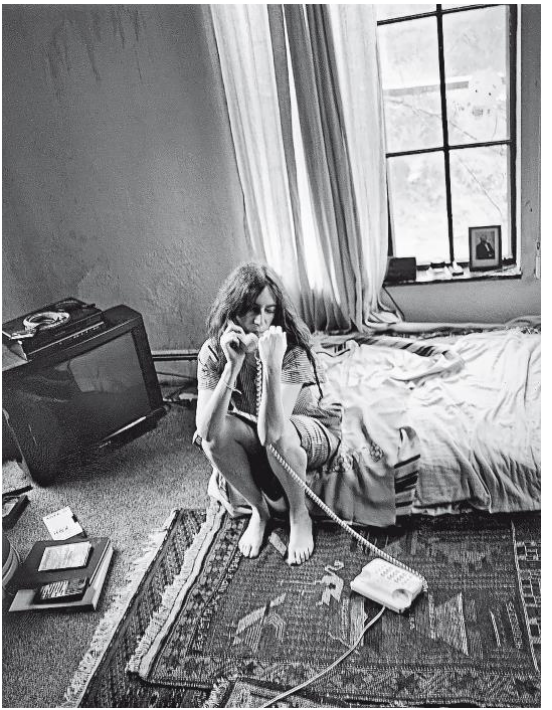
дождь: она часто плакала, но улыбалась, словно само солнце. Она сорвала созревший одуванчик. Его львиная голова серебрилась. “Загадай желание, — сказала Джесси, — дунь”. Сколько желаний я могла бы загадать в тот миг, важных и неотложных, но я загадала первое, что мне пришло на ум: “Воспарить бы над травой снова, хоть раз, как бывало, когда я была ровесницей Джесси и верила во все”.

В сентябре мы тихо отпраздновали дома день рождения Фреда. Вкатили в столовую его любимый красный “харлей”, чтобы он с ним повидался. Когда Фред спал, я сидела на кухне, писала и переделывала одни и те же абзацы; свет, льющийся в окно нашей деревенской кухни, смешивался с лучезарным мерцанием пригоршни слов. Бесконечно перерабатывала рукопись, которую никогда не закончу. Историю путешественника, который никогда путешествовал, кроме как мысленно. Это была моя единственная меланхоличная отрада. Осенью груши упали на землю, и я их собрала.

Однажды в конце октября, под вечер, Фред надел пальто. Я хотела спросить: “Ты куда?”, но не спросила. Он не сел в машину, а пошел пешком, мимо белых оштукатуренных стен, которые я

называла своим Марокко, к магазину, где торговали рыбой и наживкой. Там ему повстречался старый рыбак, только что поймавший рекордно крупного маскинонга[39]. Рыбина лежала на брезенте в кузове его пикапа. Они пошли в бар напротив, выпили вместе, и рыбак рассказал Фреду историю своей жизни. Оба праздновали его достижение, но горевали по маскинонгу и его свободе. “Был — и нету”, — сказал старик Фреду.

[39] Примечания: 39
Щука-маскинонг — самая крупная в семействе щуковых.



Mortal Shoes[40]

Где-то в небольшом дорожном сундуке, среди драгоценных реликтов прежней жизни, лежит неказистый серый ежедневник с последними текстами, которые я написала в Мичигане. На кухне, за ломберным столиком, я работала над двумя абзацами, не связанными между собой, переписывала их снова и снова, едва ли сознавая, что это уже навязчивое действие. Не предчувствуя, что это последние слова, навеянные атмосферой, которую создали мы с Фредом. Я бросила писать в конце октября, когда установилась зловещая погода: она, казалось, беспрерывно предвещала бурю. Иллюзия сумрачного, но надежного спокойствия развеялась, безжалостно выставила нас на мороз. Даже изнемогая в борьбе, Фред оставался нашим защитником, королем нашего горемычного замка.

Когда Фреда госпитализировали, Линда и Тодди

---

[40] Примечания: 40

Удел смертных *(англ.).* Выражение отсылает к сюжетам о божествах, которые спускаются на землю и добровольно или поневоле живут жизнью обычных людей. В дословном переводе — “обувь смертных” (от идиомы put oneself in other person's shoes, “поставить себя на место другого, влезть в чужую шкуру”).

прилетели к нам в Мичиган. Я оставила детей на их попечении. Заснула, положив голову на край его больничной койки. Он никогда в жизни не лежал в больницах, думал: если уж туда попадет, то не вернется. Когда медбрат пришел проверить, как он себя чувствует, я проснулась. На стене висел отрывной календарь. Медбрат мимоходом оторвал вчерашний листок. Разглядев дату, я содрогнулась: 4 ноября — сегодня родился Роберт. Днем Фред умер, в той же больнице, где родились наши дети. Рождение, любовь и смерть никогда не соприкасаются и всегда связаны.

Я разложила на нашей кровати черное плиссированное платье. То самое. Платье, в котором я была в день знакомства с Фредом. Платье, которое мне подарил Пол Гетти. Вся траектория нашей жизни — в жестких складках одного шелкового платья. Оно было длинное, свободного покроя, когда вертишься, складки распускаются веером. Платье плясуньи. А теперь — платье для похорон. Ненастным ноябрьским утром близкие друзья и родственники собрались на старейшем кладбище Детройта под статуей благодушного ангела. Мы проводили его как своего Капитана, ведь по натуре он был прежде всего настоящий капитан, хоть и без собственного корабля.

Панихиду мы отслужили в Церкви моряков — там же, где обвенчались. Она выпала на тот самый день в году, когда колокол звонит двадцать девять раз в память о погибшей команде “Эдмунда Фицджеральда”[41]. Отец Инглз, зная, что Фред трепетно относился к этому ежегодному обряду, согласился оставить на возвышении в алтаре цветы и макет злополучного корабля. Я долго не могла заставить себя встать.

— Просто не могу, — сказала я брату.

— Ты обязана, — ответил он, разгладил складки моего платья, и мы сели в машину.

— А что мне сказать людям?

— Само в голову придет, — сказал брат и включил радио.

Зазвучала *“What a Wonderful World”* — “Как этот мир чудесен”. Мне она никогда не нравилась, но всякий раз, когда мы с Фредом ее слышали, он говорил: “Триша, твоя песня заиграла”. Я протестовала, но он твердил: “Твоя, твоя”. Я спросила Тодди: “Как ты думаешь, почему Фред так говорил?” — “Потому что ты безнадежная оптимистка”, — ответил Тодд.

“Ох уж этот Фред, — подумала я. — Донял меня:

---

[41] Примечания: 41

Американский сухогруз, затонул 10 ноября 1975 г. в озере Верхнее, все 29 членов экипажа погибли.

все-таки придется спеть эту треклятую песню”.

После похорон брат и сестра провели со мной еще несколько дней. Линда тащила на себе хозяйство, окружала всех теплом и заботой. Тодди утешал детей, служил стабильной, несомненной опорой. Я подметила, что брови он выщипал, его лицо стало мягче. Но он, как всегда, усаживался за столом с сигаретой и спортивным разделом газеты. Он заверил меня, что поможет растить детей, всегда будет рядом. Обещал моим детям, что возьмет их под крыло, и мы обсудили идею переехать в Вирджинию, где у Тодда был небольшой дом в японском стиле. Можно ведь поселиться всем вместе.

Начался декабрь, проснулась надежда, дала мне силы для вылазки за рождественскими подарками. Вызвала такси, поехала в “Игрушки — это мы”. Вернулась, нагруженная пакетами, с чувством маленькой победы. На автоответчике горела лампочка. Четырнадцать сообщений. У нас столько никогда не было. Стала прослушивать одно за другим: все одинаковые. “Патти, позвони мне”. Тара, моя мама, мой отец, моя сестра, опять сестра, опять сестра. Только Тодди ни одного сообщения не оставил. Я набрала в грудь воздуха, перезвонила Линде: “Что случи-

лось с Тодди?” “Ой, Патти”, — зарыдала она. “Нет, не рассказывай, пожалуйста!” — вскрикнула я, и тогда животное, которое наверняка живет в каждом из нас, захватило полную власть над моим телом. Уронив телефон, я опустилась на корточки и завыла.



Тодди. Остин, Техас, 1978 г.

У моего брата случился обширный инсульт, когда он упаковывал рождественские подарки для своей дочери. Рядом лежала газета, раскрытая на спортивном разделе, стояла пепельница, полная окурков, но последнее слово осталось за Рейчел; ее прическа, одежда и макияж были безупречны.

Когда-то наше детство принадлежало нам троим. Став взрослыми, мы часто вспоминали вслух обо всем. Свои злополучные пиратские приключения. Секретное оружие: рогатку, хлыст из обломанной ветки, заколку Линды — все это преображалось в руках, воздетых к солнцу. За несколько лет до смерти Тодди пообещал записать наши истории и дополнить своими мальчишескими злоключениями. Время от времени он заверял меня, что работа продолжается, книга будет называться “Томасово поле”. Но в его небольшой стопке дневников обнаружилась лишь одна история из этой серии — про разгром Джеки Райли. Я прослезилась: Тодд повествовал о моем чудесном подвиге и своей рыцарской верности во время нашего хитроумного крестового похода. Тут я обнаружила, что в его рассказах речь шла не о мальчике, а о жившей в нем девочке, томительно мечтавшей вырваться наружу.

Жаль, что я так и не познакомилась с Рейчел. Я лелеяла в памяти мужскую половину брата, так и не узнала его целиком. Но я знала, какое у него сердце, и даже сегодня явственно вижу его блекло-голубые глаза, чувствую его взгляд, и на душе становится спокойно.

Мы проводили Тодди в последний путь в Саут-Джерси. Он похоронен недалеко от мест, где мы выросли. Я привезла узорчатое шелковое платье от “Кашарель”, которое Тодд когда-то выбрал для меня в магазине в Каннах. В мой стиль оно никогда не вписывалось, но Тодд настоял. Так что я купила платье и иногда носила, дополняя косухой. Впоследствии меня осенило, что он воображал в этом платье не меня, а Рейчел. Я передала его Кимберли, доверила ей положить платье в гроб — пусть наденет его, уплывая на египетской лодке в другую жизнь.

Незадолго до Рождества мне позвонил Джимми Иовин, спросил с беспокойством, как дела. Он получил письмо от Тодди — просьбу помочь мне снова стать на ноги. Тодди, не имевший обыкновения писать письма, отправил это послание всего за несколько дней до своей смерти. Мне пришлось самой рассказать Джимми, что случилось с братом. Джимми страшно расстроился,

прислал Джеку и Джесси кучу подарков, решил все наши неотложные проблемы, заверил, что всегда подставит нам плечо. Я была признательна Джимми и вообще всем, кто предлагал помощь, но иногда не отвечала им — просто не могла собраться с духом. Какое-то время чувствовала себя опустошенной и никчемной. Солнце казалось слепящим, мир — придирчивым и жестоким. Я не перестала считать себя писательницей, но бросила писать; способность претворять чувства в поэтические образы меня, казалось, покинула. Пропала тяга проецировать свой образ на дальние края — в моря, в пустыню, и я забросила "Фиванский дневник". Теперь мне были ни к чему гул базаров, чужестранные небеса и мифические созвездия. Замкнувшись в безмолвии, изнывая от клаустрофобии, я ждала какого-нибудь знака от Фреда.

Однажды ночью, в середине февраля, начался слабый снегопад. Джек и Джесси спали. Я хотела выйти во двор, уже накинула пальто, и тут задребезжал телефон. Звонил Майкл Стайп, из Испании, смущенно признался, что немножко подшофе. До этого я не была знакома с Майклом, но любила его песни. Удивилась, услышав в трубке его голос. Он сказал, что опечален смер-

тью Фреда, что в этом году я, наверное, впервые провожу Валентинов день без Фреда, и робко вызвался стать моим Валентином. Его участливый поступок подарил мне радость, которая всю ночь согревала меня в одиночестве.

Пришла весна, розы расцвели рано, голуби вернулись, свили гнездо, как и каждую весну уже шестнадцать лет. Сквозь москитную сетку на окне нашей спальни я видела, как они порхают. В рассеянном освещении наша комната казалась какой-то неземной. Однажды утром я заметила на полке, рядом с книгами Фреда по истории парусного флота, про путешествия Джошуа Слокума и Дональда Кроухерста, его фотоаппарат “полароид”. Внезапно меня обуяло желание что-нибудь сфотографировать. Я расположила на фоне сетки тибетскую поющую чашу, а затем балетные туфли, в которых репетировал Нуреев. Почувствовала удовлетворение — что-то сделано, и в следующие месяцы иногда фотографировала. Могла подержать в руках то, что создала сама, не скованная ни горем, ни радостью. Эти эмоции ненадолго сворачивались в трубочку, как флаги, отступали на второй план.

Уильям Берроуз звонил мне из своего бункера, оставался на линии столько времени, сколько

мне было необходимо, даже когда я еле могла говорить. Сознавал: мне утешительно чувствовать, что он со мной, на другом конце провода. Позвонил по собственной инициативе Аллен Гинзберг, посоветовал вернуться на сцену, служить публике, чтобы душевная щедрость вытеснила из сердца скорбь. Но найти в себе волю для работы я пока не могла. Брала энергию из чужих колодцев и не могла ничего дать взамен. Джимми Иовин организовал нам передышку — оплатил нам билеты на самолет до Малибу для встречи в семейном кругу и отдыха на море. На барбекю у Джимми Брюс Спрингстин принес мне соболезнования и окружил вниманием Джека и Джесси. Спросил у Джексона: “Ты когда-нибудь катался на мотоцикле?” Фред обещал прокатить Джексона в день, когда ему исполнится тринадцать. Этот день близился. На следующее утро Брюс с двумя шлемами в руках явился к нам в мотель. Попросил разрешения взять Джека на прогулку. Я доверила ему сына, и они умчались в горы на мотоцикле Брюса. Вернулись через несколько часов сияющие. Эта энергия ребяческих эскапад запоминается крепко.

Я принимала помощь, чтобы начать новую жизнь. Наконец пришло время вернуться в

большой мир — работать, погашать долги. Я проваливалась, выбиралась на лед, отряхивалась и снова проваливалась, работала в студии и, наконец, стала выступать. Работала, хотя Роберт меня больше не фотографировал, Ричард мне больше не аккомпанировал, брат больше не заботился обо мне, дежуря в кулисах. Иногда на меня нападало какое-то оцепенение. Неужели ни Роберта, ни Ричарда, ни Фреда, ни Тодда больше нет? Ушли, не дожив даже до сорока пяти. Для них все кончилось: творчество, приключения, жизнь в земном мире.

В публичную жизнь я вернулась благодаря поэтам. Аллен Гинзберг навестил меня в Мичигане, уговорил выйти с ним на сцену на благотворительной акции в поддержку фонда тибетских буддистов “Драгоценное сердце”. Там я познакомилась с молодым поэтом Оливером Рэем, настоящим кладезем необузданной, в духе Артюра Рембо, энергии. Регулярно летала в Нью-Йорк, где меня дожидалось целое сообщество друзей. Мы стали готовить к записи альбом, задуманный мной и Фредом на закате его жизни. Наш проект *“Going West”* (“Еду на Запад”), посвященный Фреду, был переименован в *“Gone Again”* (“Снова в отъезде” или “Снова ушел”). Под руководством

Ленни Кэя мы вернулись в студию *Electric Lady*, где когда-то записали *“Horses”*. Играть на басу Ленни позвал Тони Шанахана. Этот близкий нам по духу музыкант, восприимчивый и неоценимо талантливый, присоединился к основному составу — Джею Ди Доэрти, Тому Верлену и детройтскому пианисту Луису Ресто.

Заглавная песня, которую Фред задумал как монолог праматери племени, превратилась в песню вдовы о павшем воине. Наложили ее на минусовку — боевые кличи Фреда, записанные у нас дома. *“My Madrigal”* (“Мой мадригал”) я написала еще раньше, воссоздав чувство очарованности в начале нашего романа. Тогда не удалось довести до конца работу над музыкой, и Луис Ресто, близкий друг Фреда, плакал, не пряча слез, когда мы с ним опекали этот хрупкий вальс, словно приемные родители. Композиция *“About a Boy”* (“Об одном мальчике”), отчасти турбулентный церковный гимн, отчасти импровизационное звукозавихрение, создавалась прямо в студии в память о Курте Кобейне. *“Beneath the Southern Cross”* (“Под Южным Крестом”) Ленни и я написали по телефону, соединив круговые аккорды Ленни с линейной одой жизни — стихотворением, которое я еще раньше написала для Оливера,

монологом человека, который торопится жить.

Музыку для стержневой композиции *“Fireflies”* (“Светлячки”) мы писали вживую, ведущую партию сыграл Том Верлен, выразил на своем “джазмастере” беспокойное томление. Роль светлячка мы поручили Джеффу Бакли, который пришел на сессию, чтобы разучить вокальную партию. Он сел на пол, взял смычок и изобразил на своем египетском[42] эсрадже, как вибрируют крылья трепещущего жучка. *“Fireflies”* сочинил Оливер. Впоследствии он присоединился к нашему гастрольному составу и написал несколько наших самых сильных песен. Под конец записи я отправила еще одно послание Фреду. В последние месяцы жизни он терпеливо научил меня нескольким аккордам, и я при каждой возможности практиковалась. Я написала для него “*Farewell Reel*” (“Прощальный рил”), спела и сыграла эту вещь одна в самом конце альбома. Так мы создали *“Gone Again”*. Я попробовала послушать наше творение, но не смогла: мой голос доносил долгое эхо скорби, хотя на записи я этого не сознавала.

Бродя по нью-йоркским улицам, диву давалась, как изменилась архитектура: целые районы не

[42] Примечания: 42

Так в оригинале. Ленни Кэй вспоминал, что это был индийский струнный смычковый инструмент — вероятно, эсрадж.

узнать. Разыскивала привычные мне улицы, по которым когда-то гуляла с Робертом, глазея на витрины ломбардов или знахарей-вудуистов. У знахарей были пузырьки со священными маслами, расставленные среди металлических икон забытых святых. Однажды я, в летчицкой кожанке Фреда, шла по Двадцать второй в сторону Гудзона. Точнее, бесцельно брела, с чувством, что запросто могу сейчас умереть, но понимала: все равно надо жить дальше. И вдруг столкнулась с Энни Лейбовиц. “Даже не знаю, что делать”, — выпалила я, обливаясь слезами. “Пойдем, — сказала она, — моя студия тут рядом, в доме напротив, немножко поработаем”. В тот миг это стало для меня лучшим лекарством.

В сентябре 1995 года меня пригласили на конференцию Международного фонда мира в Берлине — представлять искусство. На пресс-конференции я остолбенела: меня посадили рядом с Далай-ламой. Я прочитала вслух текст песни *“People Have the Power”*. В последующие дни мне часто выпадали шансы побыть рядом с Далай-ламой на торжественных встречах и заседаниях. Однажды, когда он сидел и ел лапшу, подвыпивший Роберт

Макнамара[43] принял его за японского монаха. Тогда-то я, сидя напротив, рассказала Далай-ламе историю про школу и Тибет — как расплатилась угрызениями совести за свое подростковое честолюбие. Едва я завершила рассказ, его пригласили на заседание, а я вернулась в свой номер. Жалюзи были подняты, комнату заливал свет, я сидела и думала о своей жизни, собаке и молитвах, о своих детях и вдовстве. Чуть позже меня позвали в мезонин здания. Вошла в лифт — а в нем едут Его Святейшество и секретарь. Несколько этажей мы миновали молча. Прежде чем выйти на своем этаже, Его Святейшество накрыл мою руку своей, пристально посмотрел в глаза и сказал: “Вашей вины в этом нет”. Эти пять слов умчались в прошлое — ободрить удрученную двенадцатилетнюю девочку. Наконец-то прощена. Какое блаженство.

Когда я вернулась в город, Аллен сопроводил меня на ужин в честь Уильяма в его бункере. Аллен был несказанно рад, что я встретилась с Его Святейшеством. Он попросил меня поддержать тибетский народ — выступить в Карнеги-холле на ежегодном благотворительном концерте

[43] Примечания: 43

Американский политик и предприниматель, министр обороны США в период войны во Вьетнаме.

в пользу “Тибетского дома”. Также он твердо решил, что я должна вернуться на сцену. Попросил Боба Дилана подсобить. Боб пригласил меня в декабре выступать у него на разогреве на Восточном побережье, в турне “Потерянный рай”. Майкл Стайп вызвался ездить с нами на автобусе по Восточному побережью. На гастролях нас часто навещали Аллен и Грегори Корсо. Этот небольшой тур плюс ободряющие слова Боба помогли мне почувствовать себя увереннее, и я снова встала на ноги.

На третий день Боб прислал мне свой сборник песен, попросил выбрать одну для исполнения дуэтом. Я полночи не смыкала глаз, не знала, что предпочесть — красоту или полемику. В итоге выбрала *“Dark Eyes”* (“Темные глаза”), вещь в духе Блейка о сострадании и тихом чувстве собственного достоинства, идеальную для дуэта. Майкл Стайп купил мне свободное, развевающееся платье, заплел мне косы. Когда Боб позвал меня на сцену, я слегка нервничала. Я начала куплет, а припев мы спели вместе в один микрофон, почти соприкасаясь щеками. Я видела крохотные капельки пота на его лбу, перехватила его горящий взгляд. Потеребила платье, глянула вниз, на свои босые ноги, и на это мгновение стала

просто вдовой, а неистовый молодой поэт, вскруживший мне голову в мои семнадцать, — просто мужчиной.

Альбом *“Gone Again”* вышел в июне 1996 года. На обложке поместили мою фотографию работы Энни: я в старой куртке Фреда, свисающей с плеча. Клайв попросил нас снять видеоклип для показа на MTV. Режиссером стал Роберт Франк. Снял в своем подвале на Бауэри клип на *“Summer Cannibals”* (“Летние каннибалы”), песню Фреда о том, как слава пожирает человека. На MTV этот черно-белый фильм, не похожий ни на какие другие, сочли “неформатом”, и он скоро куда-то канул. Я расстроилась, но дружба и совместная работа с настоящим мастером стали для меня большой честью.

Мы подстраивали гастроли под школьные каникулы Джека и Джесси. На похоронах брата я познакомилась с художницей Патти Хадсон. Она сказала, что Тодд явился ей во сне в образе Рейчел, беспокойно спрашивал, кто мне поможет. Патти откликнулась на зов, даже отложила свои планы, чтобы помочь мне выполнить все, что я на себя взвалила, в итоге поехала с нами в турне, чтобы опекать Джесси. Наш первый большой летний тур приближался, и я стала обдумывать

свой сценический образ. И, словно бы в ответ, пришла загадочная посылка из Бельгии — белая коробка, перевязанная черной шелковой лентой. Внутри, переложенные черной папиросной бумагой, лежали три белые рубашки наподобие той, в которой я снялась для обложки *“Horses”*. Непрочные, но оригинальные. “Кто-то на этом свете меня знает, — подумала я, — незнакомый человек шьет одежду, словно навеянную моей фантазией”. Рубашки прислала фламандский модельер Анн Демельмейстер, в них я стала выступать. Скоро она прислала черный пиджак и черные рабочие ботинки из мягкой кожи. В 1976 году юная Анн была на нашем концерте в Брюсселе и дала себе клятву, что когда-нибудь сошьет одежду для меня. Тот концерт я прекрасно помнила. Публика реагировала потрясающе, я даже написала стихотворение “Дети Брюсселя”. А теперь меня растрогало, что Анн — одна из этих детей. Скоро она стала моей хорошей приятельницей.

Музыканты старались изо всех сил заменить моим детям Тодди — заделались приемными дядьями. Особенно хорошо ладил с Джеком и Джесси Том Верлен. Он обладал ребяческим чувством юмора, умел превратить тягомотный

переезд на автобусе в сюрреалистические игры. Я старалась, как могла, сосредоточиться на дне сегодняшнем. Теперь у меня были другие цели — обеспечить детям хорошую жизнь и попутно создать корпус коллективных произведений. А все, что я сделала за много лет: десятки блокнотов, неопубликованные рассказы, неоконченные романы, — упрятала подальше. Воображаемая сага о путешественнике, который не путешествует, на какое-то время стала документальной сагой о писательнице, которая не пишет.

В 1997 году ушли из жизни Аллен Гинзберг и Уильям Берроуз. Аллен — весной, Уильям — летом. Днем 4 апреля я привела Джексона и Джесси в лофт Аллена, чтобы попрощаться. Он лежал в предсмертном сне на простой белой железной кровати, под старинной фотографией Уолта Уитмена. Его любящие друзья — Роберт Франк, Ларри Риверс, Энн Уолдман, Йонас Мекас, — вошли в его маленькую комнату, встали перед койкой, чтобы попрощаться. Грегори Корсо часами сидел рядом с ним, бормоча: “О, мой Аллен, о, мой Аллен”. Монахи непрерывно пели мантры. Его духовный наставник Гехлек Ринпоче время от времени заглядывал к спящему поэту. Говорил с улыбкой: “Он держится за жизнь. Какой плохой буддист”.

Оливер Рэй и я сидели у кровати Аллена вместе с его близкой приятельницей Роузбад Петтет. Питер Орловски рассыпал лепестки белых роз и молился — Аллен его заранее научил, что и как делать. Примерно в полтретьего утра Аллен внезапно привстал, открыл глаза, посмотрел на всех нас, затем снова лег и испустил последний вздох.

Мы с Оливером были на его похоронах, а затем, два месяца спустя, полетели в Канзас, в город Лоуренс, хоронить Уильяма. “Шериф умер”, — сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь. Смерть Уильяма разбила мне сердце, но я не проливала слез. Меня пожирала какая-то азартная ярость, и я принялась писать в лихорадочном темпе, словно это помогло бы вернуть Уильяма, материализовать нетленную нить, которая связывает всех нас.

Грант

Любимое стихотворение моего отца — “Абу Бен-Адхам”[44] английского поэта-романтика Ли Ханта. Он часто читал его вслух, почти не заглядывая в книгу, — оно было выгравировано в его сердце. Беседуя с ангелом, Абу узнает, что в Золотую книгу Бога не вписан: для этого надо очень-очень любить Всевышнего. Но, ничуть не опечалившись, спрашивает, нельзя ли внести его в книгу за то, что он любит людей, своих собратьев. Наверное, это короткое стихотворение выражало подход отца к жизни. Но он замкнулся в себе, неисцелимо разочарованный, когда человечество совершило неприкрытые зверства.

Он жаловался на преклонный возраст, на то, что больше не может вызвать в памяти лицо Мэй, женщины, любовь к которой стала его трагедией. Я задумалась: неужели и для меня придет день, когда дорогие лица из прошлого превратятся в размытые пятна? Стефани, Клара, Джонни Стал.

---

[44] Примечания: 44

Реальная фигура, арабский суфийский аскет Ибрахим бен Адхам, живший в VIII веке. В русском переводе Д. Кузьмина стихотворение Ханта озаглавлено “Абу Бен-Адам”.

У меня нет их фотографий — только смутные образы. Я неизменно ценю своих учителей, одноклассников и одноклассниц, которые изменили мою жизнь. Кэрол Макфетридж: она танцевала лучше всех. Барбара Битти: самая творческая натура. Билли Корси: он открыл мне музыку Колтрейна и Нины Симон. Элейн Серота: она помогла художнице, живущей во мне, расхрабриться. Мистер Майерс: над ним насмехались оттого, что он заикался, но он разучивал с нами произведения Верди и поощрял мое пение. Мистер Оберпарлейтер: он расширил наш кругозор, на его уроках мы разбирали “Моби Дика” и запрещенный роман “Над пропастью во ржи”. И многие другие, их было так много, и все оставили отпечаток на моей личности. Некоторых, увы, мы уже потеряли: кто-то погиб на войне во Вьетнаме или от рук преступников, кого-то сгубили рак или наркотики, кто-то утонул, кто-то просто запропал.



Чикаго, июнь 1947 г.

Весной того года я при любой возможности ездила домой, чтобы побыть с отцом хоть несколько часов. Иногда мы просто сидели на диване, держась за руки, и смотрели телевизор. Он ходил в темной рубашке, черных трениках и мягких мокасинах. Имущества скопил немного, но красивые вещи любил. В детстве я восхищалась тем, как изящно он держит сигарету. Он отдавал мне пустые пачки. “Кэмел стрейт”, читала я, “турецкий табак”. Они казались мне верхом экзотики: золотой верблюд, пальмы и пирамида, иностранные марки, бередящие фантазию, интригующий слоган: “Ради «Кэмела» пройду хоть милю”. Я обожала его звучный голос, его меланхоличность, то, как сосредоточенно он читал книги, подзывая маму, зачитывая ей вслух какие-то загадочные отрывки, а она нетерпеливо отмахивалась: “Я тут пытаюсь обед сготовить!” Обожала его атлетическую грациозность, его сломанный мизинец, навеки оставшийся кривым.

Перед отъездом в Европу я ненадолго навестила родителей. Мама собирала пазл — пейзаж со старинной мельницей. Отец на заднем дворе кормил полевых птиц. Я замялась — лучше его не беспокоить. Но, подгоняемая желанием срочно

увидеть его, тихонько выскользнула во двор. Он стоял в дальнем конце, спиной ко мне, вытянув руки в стороны. Я застыла, притихла, а птицы подлетели к нему, облепили все его тело. Словно на фреске Джотто из цикла “Житие св. Франциска Ассизского”.

Я чувствовала, что птицы к нему привязаны, и не только за то, что он их кормит. Откликаются на его прирожденную доброту. В тот миг я без тени сомнения поняла: он из священного племени. Идеальным человеком не был, ни одного чуда — по крайней мере известного людям — не сотворил, но в нем была бесхитростность, присущая святым. А я в таком случае — заблудшая дочь святого. Каким-то образом почуяв мой взгляд, он обернулся, птицы взлетели с его плеч. Он посмотрел на меня.

— Привет, куколка.

— Привет, папа.

Во весь опор к Миллениуму. Надо же, XX век со всеми его событиями: две ужасающие войны, поля, усеянные мертвецами, несколько революций в культуре, кубизм, джаз, абстрактный экспрессионизм, рок-н-ролл, череда утрат, — вот-вот закончится. Большое турне нашей группы летом 1999 года завершалось в Тель-Авиве. С нами ездил

наш хороший друг Стивен Себринг, снимал наши странствия на тяжеленную кинокамеру “болекс”. Свободные дни между концертами мы провели в Иерусалиме. Я проехалась по холмам на осле. Мы со Стивеном и Оливером посетили Гефсиманский сад: оказалось, он весь загорожен и меньше, чем я думала. Побродили по базару, сворачивали в разные проходы, а затем прошли по Пути скорби. Я представила себе, как Христос ступает по этим массивным булыжникам. Но за много столетий булыжники сгладились, стерлись — сколько паломников по ним прошагало. Стену Плача патрулировали солдаты; в узких отгороженных закутках молились мужчины, откликаясь на зов.

Спустя некоторое время, в Кумране, в изнурительно-знойной пустыне, я перечитала телеграмму сестры: “Папа в больнице, положение серьезное, вернись домой, пожалуйста”. Наш концерт совпал с его днем рождения, ему исполнялось восемьдесят три. Я позвонила в больницу, хотела сообщить, что отменю концерт. Он сказал: “Нет, я тебе это запрещаю”. Велел прочесть со сцены отрывки из Ветхого завета, Нового Завета и Корана — призвать к единению. Пообещал, что меня дождется.

Мы играли в тель-авивской “Синераме”; воздух

потрескивал — энергия зашкаливала, я признала важность всех трех вер и отдала им дань уважения, — выполнила желание отца. Когда мы праздновали его день рождения, я отчетливо почувствовала: в коллективном сердце здешних людей живет тот же дух гуманизма, который присущ моему отцу. В ту же ночь мне приснился кошмар. Рука ангела схватила меня, пронесла над городом. Стоя на высоком холме, мы смотрели вниз, на Иерусалим, превратившийся в сплошные руины. Я ощутила головокружение от зноя.

— Все это засыплет пустыня, — сказал ангел. — Она возьмет верх, даже если человечество не сумеет.

Когда я вернулась, отец, в пенсне с солнцезащитными стеклами, сидел на больничной койке. А отец-то у меня битник! Я рассказала ему только о пустыне, об объединительной магии концерта. Мой отец всегда, с самого начала искал смысл жизни. Точно знал дату, когда покинет нас и отправится невесть куда, в скитания во времени. Как будто мог, сочтя оставшиеся в часах песчинки, вычислить, сколько еще дней ему отмерено. Нам было очень трудно смириться с тем, что он вот-вот опустит руки, простится с жизнью. Линда, наша вечная добросовестная сестра милосердия,

ухаживала за ним в своем доме. В августе, в пору собачьей жары, когда Сириус восходит вместе с солнцем, он сказал, что любит всех нас, а моей матери сказал: “Ты была хорошей женой”. Он умер тихой смертью, и у нас осталось чувство, что это было благодеянием судьбы для нас. Все случилось так, как хотел он сам: ушел, никому не доставив неудобств, и его впустили в новый мир, где он вернет себе молодой задор, снова возьмет за руку Мэй и взглянет в лицо сыну.

На полке в отцовской комнате стояли одиннадцать фарфоровых птиц. Он вступил в клуб “Птица месяца”; когда прислали последнюю, мама разрешила мне ее взять. Это была обыкновенная серая горлица в гнездышке из соломы. Ей вдохновлена песня *“China Bird”* (“Птица из фарфора”) на альбоме *“Gung Ho”*[45] — с китайского это переводится как “работать вместе”. Для обложки я выбрала армейскую фотографию отца, сделанную в Австралии, в городе Таусенде. Оттуда его отправили воевать в Новую Гвинею. Вид у него уверенный, он стоит, держа руку на бедре, готов

[45] Примечания: 45

Выражение *“Gung Ho”* пришло в английский язык из китайского и в годы Второй мировой войны стало боевым кличем американских морских пехотинцев. Позднее получило другие значения: “полный энтузиазма”, “шапкозакидательство”.

служить своей стране.



Мама и дедушка. Аппер-Дарби, Пенсильвания

Несколько месяцев я продиралась сквозь густую пелену скорби, словно натыкаясь на занавес, который никак не раздвинется. Беспрерывно кочевала, ставила свечи, пыталась поговорить с ним через сетку на площадке, где все мы играем в одну игру. Ощущала его присутствие в угрюмых колесах, которые проворачиваются на реках Вьетнама, в лесных храмах Камбоджи. Видела его на иконе — в лике святого Серафима Саровского. Казалось: если вытянуть руки над головой, смогу его найти. Но разве мне дотянуться в такую высь? А потом, с течением времени, растерялась, и хлынули слезы. Кого я оплакиваю? Кому молюсь? Моя особая форма молитвы, которая десятки лет была только моим разговором с Богом, разделилась, а затем умножилась. Стала моим разговором с Робертом, а затем с Фредом, с моим братом, с моим отцом. Нынешние молитвы — и вовсе почти что не слова. Стон, судорога. Бунтарский горб мой, где ты? Странные звуки, не вполне мои, особенно в полусне, когда пытаешься, царапая землю ногтями, прорваться к новому столетию.

Peaceable Kingdom

Я – Сумрачный, я – Безутешный,
я – Вдовец,
Я – Аквитанский Князь на башне
разоренной,
Мертва моя Звезда, и меркнет
мой венец[46]

Жерар де Нерваль

Сидя на крыльце своего дома в Нью-Йорке, перечитала стихотворение из “Химер” Нерваля. В молодости оно мне особенно нравилось. Тогда оно напоминало мне о падающей башне с карты Таро, меня влекла его атмосфера опустошения. Но теперь читала его, все понимая с кристальной ясностью, узнавая в нем себя: я тоже вдова, в моей башне больше никто не несет дозор, на моем плече — тоже отметина от меланхолического поцелуя поэта. Покосилась вдаль, на пустоту в перспективе улицы. Еще год назад там возвышались Башни-близнецы. 2001 год,

---

[46] Примечания: 46

Перевод М. Кудинова.

год Кубрика. Какому монолиту[47] теперь будем поклоняться? Зазвонил телефон, вывел меня из дебрей задумчивости. Предчувствую: это мама, ее ежедневный, как по расписанию, звонок.

Поговорили о настроении ранней осени. Мама была встревожена слухами, что клуб “Каменный пони” в Эшбери-Парке, где она с огромным удовольствием сидела на наших концертах в окружении восторженных фанатов, скоро закроется. Я заверила, что его стараются спасти изо всех сил. Упомянула, что голос у меня, похоже, садится, придется сменить тональность в некоторых песнях. “Скоро ты запоешь моим голосом, точь-в-точь, — засмеялась она, — как певичка из ночного клуба”. “Ага, — сказала я, — наверное, это у меня в генах”. Она посерьезнела, сказала: “Знаешь, малышка, когда увидимся, напомни — я должна рассказать тебе одну историю про генетику”. Я уговаривала ее не тянуть, рассказать прямо сейчас по телефону, но она уперлась. Сказала: “Нет уж, все расскажу на этих выходных, лицом к лицу”.

Меня разбирало любопытство, но пришлось подождать. Через несколько дней мать упала, уда-

[47] Примечания: 47

Отсылка к монолитам из фильма Кубрика “2001 год. Космическая одиссея”.

рилась головой, потеряла сознание. Я вскочила в первый же автобус до Саут-Джерси, приехала в больницу. Линда подоспела еще раньше. У мамы обнаружили тромб; операция прошла успешно, но некоторое время мама вела себя отрешенно, все путала. Когда она выздоровела, я попробовала заговорить о генетике, но она смотрела пустыми глазами. Не могла понять, о чем это я. “Может, эта история как-то связана со слухами о том, чья я дочь?” — подумала я. Слухи о том, что мой отец мне не отец, ходили среди родни с маминой стороны, их распускала моя прабабушка, а мои родители только отмахивались — мол, все это чушь. Я надеялась: однажды мама снова заговорит на эту тему, но после травмы она была уже не та. Теперь ее мир держался на шатких подпорках — ее вере и крепнущем день ото дня желании вернуться в детство, воссоединиться со своими родителями.

После курса физиотерапии ее перевели в местную больницу. Близилась первая годовщина событий 11 сентября. На экране крохотного телевизора снова и снова мелькали кадры падения башен. Я вспомнила, как перепугалась в тот день. Утром отправила Джесси в школу, ненадолго прилегла отдохнуть, задремала. Зазвонил те-

лефон. Тревожный крик моего хорошего друга: “Одевайся, спускайся в подвал, на нас напали!” Я мигом вскочила, запаниковала, подумала о Джесси, побежала в школу — она была недалеко, в нескольких кварталах. Выскочив на улицу, увидела дым. В ужасе смотрела, как рушится одна из башен. В воздухе повисли какая-то белая пыль и пепел — прах архитектуры вперемешку с человечьим. Я испугалась за дочь. Это был самый страшный миг моей жизни.

Больницы были маме не в новинку: как-никак, четверо детей и несколько операций. Похоже, она не досадовала на больничный быт; ей даже нравилось, что за ней ухаживают, — все-таки передышка от бесконечной возни. Шесть дней спустя она посмотрела на нас пристально и сказала: “Мне кажется, в этот раз я не выкарабкаюсь”. Вечером 17-го мы все поужинали коронным блюдом Саут-Джерси — сэндвичами хоуги — и ненадолго стали похожи на счастливую семью. “Только Тодди не хватает”, — сказала я. Телевизор работал — мать всю жизнь спала с включенным телевизором, дожидаясь отца с ночной смены. Я покосилась на экран в тот самый миг, когда начался фильм. “День триффидов”, английская фантастика, показывали его крайне нечасто.

Один из любимых фильмов Тодди. “А вот и Тодди!” — единодушно решили мы все; он здесь, с нами. Семья Линды, все поголовно Свидетели Иеговы, укрепляли веру в моей матери. Я была очень рада, что Линда все время была рядом с ней, ласково нашептывала на ухо. Моя мать веровала искренне и покинула нас, оставив в наследство свою картину рая.

Похоронили ее там, где она пожелала, рядом с Тоддом, ее любимым сыном. Потеря матери потрясла меня гораздо сильнее, чем я ожидала. Я сидела и плакала, вцепившись в “Сару Крю” — одну из последних книг, которые она мне прислала в подарок. В каком-то смысле она была моей феей-крестной, словно Синяя Фея, которая присматривала за Пиноккио, сколько бы он ни озорничал. Смерть родителей перекраивает твою вселенную, на какое-то время все разбалансируется, от чувства осиротелости кружится голова. После кончины матери во мне крепло чувство, что что-то осталось невысказанным. Правда, на титульном листе “Сары Крю” она написала одну фразу: “Мы понимаем все без слов”. Но сказали ли мы друг другу все нужные слова? Достаточно ли сильно я ее любила? Уделяла ли столько времени, сколько она заслуживала?

Я часто жалела, что нельзя попросить у вечности лишний час: посидела бы с ней за кухонным столом, выпила бы с ней кофе, слушала бы во все уши невероятные истории, которые она рассказывала снова и снова.

XXI век оказался совершенно не таким, как в грезах моего поколения: какая уж там всеобщая гармония, неприятие войн и милосердная помощь всем нуждающимся. После сокрушительной атаки на Башни-близнецы отчетливо ощущалось, что национализм исподтишка крепнет, просыпается жажда мести, сведения счетов. Поблекли и мои тайные надежды на триумф миролюбия и открытости в Израиле и Палестине. Меня угнетало предчувствие повальных разрушений, предсказанных в моем вещем кошмаре в Иерусалиме, в том самом сне, о котором я не стала рассказывать отцу.

Организация "*International* A.N.S.W.E.R."[48] 26 октября 2002 года провела в Вашингтоне акцию протеста против нападения на Ирак, задуманного администрацией Буша. Я присоединилась

---

[48] Примечания: 48

Аббревиатура расшифровывается как *Act Now to Stop War and End Racism* — "Действуй немедленно, чтобы остановить войну и покончить с расизмом", коалиция антивоенных и правозащитных организаций, созданная в США в 2001 г.

к акции вместе с Оливером Рэем. Высказались преподобный Джесси Джексон, Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон и преподобный Эл Шарптон. Стивен Себринг снимал нас на кинокамеру. После призыва не воевать мы с Оливером исполнили *“People Have the Power”*. Собралось примерно двести тысяч человек из всех уголков страны; из Сада Конституции около Мемориала участникам войны во Вьетнаме было видно, что вся Национальная аллея заполнена людьми, они требуют мира, скандируют “нет войне”. В январе мы собрались снова, выступали на пронизывающем холоде, объединив усилия с преподобным Джесси Джексоном. 15 февраля состоялась крупнейшая в истории глобальная антивоенная акция протеста. В одной лишь Англии на протест вышел неполный миллион человек, в Италии — целых три миллиона, просто невероятно. Увы, коллективный глас народа остался неуслышанным.

16 марта 2003 года в секторе Газа молодая активистка Рейчел Корри, сторонница непротивления злу насилием, протестовала против сноса домов израильскими властями в Рафахе. Бульдозеры уже разрушили соседние здания и направились к дому профессора Насраллы, где жил он сам с семьей и остановилась сама Корри.

Корри, в оранжевом жилете, с мегафоном в руке, призывала: “Прекратите!” Забралась на холмик, преграждая путь израильскому бульдозеру, но он не затормозил. Ее соратники, другие активисты, закричали. Бульдозер раздавил ее насмерть, к ужасу детей Насраллы: они все видели. Гибель Корри, пламенной альтруистки, которая была всего на два года старше моего сына, не выходила у меня из головы. Одновременно стало очевидно, что все марши, мольбы и протесты миллионов людей по всему миру даже не отсрочат запланированное нападение администрации Буша на Багдад.

19 марта, в день, когда родилась моя мать, я слегла с самой сильной мигренью за всю жизнь. Этажом ниже работал телевизор, и до меня доносились последние новости. Мы готовились бомбить Багдад, военная операция называлась “Шок и трепет”. Корреспондент журнала *The New Yorker* Джон Ли Андерсон сообщил, что накануне бомбежки птицы смолкли, так и не возвестив о наступлении первого дня весны.

Ничего сопоставимого с той мигренью — такой сильной и всепоглощающей физической боли — я в жизни не испытывала. Вспомнила, как страдала от таких мигреней моя мать, а я в детстве

досадовала, что приходится за ней ухаживать. Попыталась переключиться на другие мысли, дистанцироваться от хвори. Подумала о Вирджинии Вульф: кластерные мигрени затягивали ее в спиральный вихрь галлюцинаций, хора неумолимых голосов и невыразимой тоски. В попытке отвлечься надолго уединилась в темноте, сочиняя в голове поэму. Перескакивала с умолкших птиц на Вирджинию и ее сестру Ванессу, а потом на нас с Линдой. Вошла в мир матери, которая поет детям колыбельную, утешает их, когда на ее город падают бомбы. Лежала, терзаемая мигренью, и думала о женщинах Багдада, колыбели цивилизации, — как они поют колыбельные детям.

Весь день и всю ночь до утра не покидала свою комнату с наглухо зашторенными окнами. Восемнадцать часов спустя мигрень постепенно утихла, и в результате появилась моя поэма “Птицы Ирака”. Все наши усилия остановить бомбардировки оказались напрасны, и у меня осталось только одно средство — создать в ответ какое-то произведение. Сьюзен Сонтаг — с ней Роберт и я дружили много лет — любезно написала текст для моего последнего диска на фирме *Arista*, сборника *“Land (*1975–2002*)”*. Я поделилась

с ней идеей записать ответ на вторжение администрации Буша в Ирак, а Сьюзен разъяснила: чтобы понять, кто и как разжигает конфликты в современном мире, очень важно знать историю. По ее совету я изучила историю Ирака и его вклад в мировую культуру, когда готовилась к записи импровизационной композиции *“Radio Baghdad”*. Решила показать ситуацию глазами матерей — их позицию невозможно разъять холодным политическим анализом. Незадолго до этого у Сьюзен нашли лейкемию, и она была занята своей битвой, а я думала о Сьюзен, когда мы записывали композицию живьем. В начале звучат голоса иракских детей, занятых игрой, ведущая партия — взрывные аккорды Оливера Рэя, печаль, раскручиваясь по спирали, нарастает, укоряет.

Весной 2004 года вышел мой первый альбом на фирме *Columbia*. Он назывался *“Trampin’”* — “Бродяжничаю”. Начинался с песни *“Jubilee”* (“Юбилейный год”) , сочиненной мной и Ленни Кеем, — призыва сплотиться, вместе встретить неспокойные времена. Наша песня *“Gandhi”* — в ее создание внесли свой вклад Ленни, Джей Ди, Тони Шанахан и Оливер Рэй — доносит призывы Ганди к миролюбию и независимости. Тони Ша-

нахан сочинил музыку к *“Mother Rose”*[49], песне памяти моей матери, и к *“Peaceable Kingdom”*[50], написанной для Рэйчел Корри. Заглавную композицию, спиричуэл, известный в исполнении Мариан Андерсон, мы записали вживую в студии *The Looking Glass*. Моя дочь Джесси сыграла на фортепиано изящно и без лишних изысков. Это ее дебют в студийной работе и наша первая совместная запись. Я назвала альбом *“Trampin’”* — по названию песни, которая рассказывает и о бесхитростной вере в духовные идеалы, и о пути усталого бродяги.

В конце года доблестная битва Сьюзен Сонтаг с лейкемией оборвалась. Отныне вместо Сьюзен будут говорить ее произведения. Я вылетела в Париж на ее похороны. Ночевала в их с Энни Лейбовиц квартире, в бывшем кабинете Сьюзен. Сон не шел, и я взяла с ее полки книгу — “Мое обнаженное сердце” Бодлера. Вспоминала о Сьюзен в разные годы: она танцевала на моих концертах, отчитывала меня за беспорядок в моей библио-

---

[49] Примечания: 49

В тексте песни обыгрываются омонимы. *“Rose”* по-английски может значить и “роза”, и “поднялся, поднялась”.

[50] Примечания: 50

Мирное царство из ветхозаветного пророчества Исайи: в царстве Божием установится полная гармония и лев возляжет рядом с ягненком.

теке, советовала читать побольше немецких писателей — так я пришла к Герману Броху и Томасу Бернхарду. Думала о сладострастной любви Сьюзен к красоте, о ее страданиях, гибком уме и стремлении чувствовать все с обостренной силой.

В день, когда ее хоронили, рано утром, холодный туман поднялся над Сеной, закрыл Нотр-Дам. Я прошлась по улице, остановилась у дома 7 на Гранд-Огюстен — у мастерской, где Пикассо написал "Гернику". Сьюзен рассказывала, что в той же мастерской Бальзак поселил героя своей новеллы "Неведомый шедевр", художника Френхофера.

Все собрались на кладбище Монпарнас, проходя мимо бронзовой статуи Ангела Вечного Сна, которая возвышается в его центре. К могиле подъехала машина, вышла миниатюрная женщина. Я подметила, как она взмахнула рукой, рассмотрела густую копну кудрявых, коротко остриженных волос. Сердцевидное лицо выражало решимость. Это была французская актриса Николь Стефан. Я видела ее на фото в обществе Жана Кокто, обожала ее в роли Элизабет в "Трудных детях" Жан-Пьера Мельвиля. Бесстрашная, ни на кого не похожая Николь. Она присоединилась к Энни и их близкой приятельнице, Шэрон

Делано, которая ухаживала за больной Сьюзен. Я стояла в стороне, наблюдая за ними: три сильные женщины, многого достигшие в жизни, преданно заботились о Сьюзен, и каждая из них ради ее блага что-то оторвала от себя. Было довольно холодно, землю заметало снегом. Энни попросила меня вернуться на следующий день, чтобы сфотографировать могилу. Могила была завалена цветами. Лежал венок от мэра Парижа — города, который выбрала для себя Сьюзен. Снегопад прекратился; я сделала снимок своим “полароидом” и передала Энни, как она просила.



Несколько месяцев спустя, в день рождения Пруста, я и мои друзья Ален Лахана, Энди Вуллискрофт и Анн Демельмейстер приехали на фестиваль “Солидейс” на окраине Парижа. Прямо на фестивальной площадке министр культуры Рено Доннедьё де Вабр вручил мне Орден ис-

кусств и словесности. В молодости я восхитилась розеткой этого ордена, которую гордо носил на лацкане Уильям Берроуз. “Когда-нибудь и у тебя такая будет”, — сказал он убежденно. Когда министр надел мне на шею орден командорской степени на широкой зелено-белой ленте, я подумала о нежданном-негаданном пророчестве Берроуза, а еще — о Сьюзен, удостоенной той же награды. Но в основном — о восьмилетней девочке и ее клятве когда-нибудь самой получить медали.

Потом я навестила Николь Стефан в ее парижской квартире. Пришла с гитарой, спела для нее. А она сделала мне два подарка: книгу, которая принадлежала ее матери, “Поэтические произведения Мильтона” на английском, и маленькую подушку со своим портретом, рисунком Жана Кокто. Но самым большим подарком стали ее доверие и радушие. Она чувствовала себя неважно, но уделила мне время и рассказала о своей жизни. Она с рождения имела титул баронессы, родилась в семье Ротшильдов, в мире богачей. А выросла из белокурой девочки “паршивая отца” с точки зрения семейства: отбилась от стада, связала свою жизнь с дебрями искусства. В войну вступила в ряды французского Сопротивления,

сидела в тюрьме. Рассказывала о своих отношениях со Сьюзен, о своих горестях. Когда мы прощались, она сказала, что один ее друг недавно умер. “По нему прочли кадиш, но я осталась одна, кто прочтет кадиш по мне?” Я не знала толком, что такое кадиш, но молча поклялась найти способ почтить ее память, когда пробьет час.

Первое десятилетие нового века пронеслось в бешеном темпе: работа, путешествия, смерти, панегирики. Вернувшись на сцену, я первое время подстраивала свои гастроли под школьные каникулы Джексона и Джесси. Теперь дети выросли, гастролей и поездок прибавилось. Памятное событие — мое участие в качестве куратора в лондонском фестивале “Мелтдаун”. Вообще-то он ежегодный. В том году мы назвали программу “Невинность и опыт” — в знак уважения к нашему культурному наследию от Уильяма Блейка до Джими Хендрикса. Решили, что наша главная задача — упрочить солидарность, собрав вместе ветеранов и неоперившихся новичков. Пригласили музыкантов, поэтов и военных корреспондентов; разнообразные по стилю, яркие выступления длились две недели. Для проекта, с которым я участвовала в программе, я надеялась на сотрудничество с Кевином Шилдсом, прозор-

ливым основателем группы *My Bloody Valentine*. Спросила, не согласится ли он сымпровизировать вживую трек, под который я прочту цикл своих стихов *“The Coral Sea”*, написанный для Роберта вскоре после его смерти. Мы проговорили несколько часов, небесный вышел разговор, а репетировать вообще не репетировали. Наше выступление держалось на взаимном доверии. Я никогда раньше не читала “Коралловое море” со сцены, и вскоре меня захлестнула буря чувств — вспомнилось, как я писала эти строки за столом на кухне, в состоянии подвисающей скорби. Зацикленные звуковые фрагменты Кевина, многоярусные, словно соборы, окутали меня, и я капитулировала перед ними, уронила текст на пол. Теперь текст мне был без надобности: я поняла, как выразить на языке поэзии преображение Роберта. Это выступление превзошло все мои надежды на слияние поэзии с чистым звуком, этим самостоятельным языком искусства. В последний вечер выступил Джон Кейл, а затем мы впервые сыграли альбом *“Horses”* целиком. Я решила, что для этого самое время: *“Horses”* — детище времен невинности, а теперь мы изо всех сил постарались вложить в его исполнение опыт.

Группа гастролировала по Европе, Южной

Америке, Австралии, Японии, играла в Стамбуле, Марокко, Сеуле. Во все поездки я брала с собой рукопись, которая впоследствии стала книгой “Просто дети”. Сверяясь со своими яркими воспоминаниями, с бесчисленными дневниками и ежедневниками, я писала и переделывала, часто изнемогала, понимая, какую большую ответственность несу перед Робертом и городом, где развернулась наша история. Когда нам было двадцать, мы придумали игру с продолжением, назвали ее “Наша история”. По ночам я часто читала Роберту книги или рассказывала истории про свое детство. Однажды ночью, когда шел снег, он сонно сказал: “Расскажи мне нашу историю”. Начиналась она с девушки с клетчатым, как шотландский килт, чемоданом. Девушка искала ночлег, а нашла спящего юношу. Каким-то чудом почувствовав ее присутствие, он открыл глаза, улыбнулся. Каждый раз, когда он просил рассказать эту историю, я добавляла к ней наши новые приключения, пока он не засыпал. Когда за несколько часов до своей смерти он попросил меня написать нашу историю, я четко поняла, чего он от меня хочет.

На шестьдесят первом году жизни меня включили в Зал славы рок-н-ролла. Я выразила благо-

говейное почтение товарищам по группе, брату, Фреду и особенно своей матери за ее преданность нашей музыке и народу. Стивен Себринг закончил фильм, кропотливо собрал мозаику, которая отражает десять лет моей жизни. Как росли мои дети в наших странствиях — мелькают перед глазами города и страны, сливаясь в лучезарное пятно. Лондон. Токио. Иерусалим. Могилы Уильяма Блейка, Китса, Шелли, Артюра Рембо. Антивоенные протесты в Вашингтоне. Мы с Сэмом Шепардом поем блюзы. Мы с Фли смеемся на пляже, и тут же мичиганский пейзаж, исчезающий на глазах. Десять лет Стивен снимал, как разрастается во все стороны наше лоскутное одеяло. Фильм “Мечта о жизни” представили публике на Берлинском кинофестивале, показали по каналу PBS, номинировали на премию “Эмми”. Фонд “Картье” в Париже устроил мою первую крупную персональную выставку “Земля 250” с работами, представляющими пять родов искусства: фотография, график, инсталляции, исполнительское искусство и поэзия. На выставке была и инсталляция памяти Роберта, где звучал трек *“The Coral Sea”*. Но, несмотря на свое обещание, я никак не могла дописать нашу историю. По-прежнему таскала с собой рукопись

в металлическом чемоданчике. При жизни мы с Робертом никогда не выезжали из города, но теперь везде ездили вместе.

В 2009 году после напряженных гастролей я на некоторое время осталась в Париже. Отыскала в еврейском секторе кладбища Пер-Лашез гробницу барона Анри де Ротшильда, где похоронена Николь. Выполнила ее желание — прочла по ней кадиш, еврейскую молитву за умерших. Снова заглянула и на кладбище Монпарнас, навестила Сьюзен, подметила, что в ее глянцево-черной могильной плите отражаются облака. Завернув за угол, нашла место упокоения Сэмюэля Беккета. На его надгробии лежала одинокая роза.

Спасибо за то, что вы сделали, спасибо за Годо. Все мы ждем-пождем ответа от Вселенной.

— Ну, ответ будет, — отозвался какой-то голос, — но ждать еще долго.

— Ничего, я подожду, — сказала я.

Мне не терпелось дописать книгу, и я решила пожить в Европе. Мне помогли выкроить время, дали возможность поработать в уединении. Поселилась я в перестроенной часовне, в усадьбе на юге Франции, принадлежавшей моим хорошим друзьям. Часовня была маленькая, вроде монашеской кельи: витражные окна, кровать да

письменный стол. Заскучав, я пошла исследовать усадьбу, набрела на древние оливы и цыганскую кибитку. А в кибитке был маленький столик с церковными свечами и портретом Артюра Рембо. Я трудилась над последними правками книги, которую обещала Роберту, шлифовала ее, как мраморную статую, отсекая все лишнее. И, наконец, запорошила всю часовню мерцающей пылью: точка поставлена. Близился час отъезда; в ту ночь я просидела за работой до зари, писала то, что было абсолютно необходимо написать, радовалась, что день, должно быть, будет радостным. На каменном полу засияла дуга розового света. Мой бунтарский горб все-таки меня не бросил. Он словно бы обратился в чернила и перетек на бумагу с моего пера, когда оно, поскрипывая, дописывало последние страницы.

Мы сражаемся с изнурительной лихорадкой разочарований, осознав: башня твоего вчерашнего дня рушится не в фантазиях, а взаправду, ты тоже Князь Аквитанский, ветер сорвал тебя с башни и швырнул, словно живую карту Таро. Как же снова запрыгнуть наверх? Встань на ноги, бери тачку и собирай обломки — материальные и обломки сердца. Раздроби в щебенку, сотри эту щебенку в порошок и, пока оседает пыль,

станцуй, растопчи пыль каблуками. Как же это проделать? Вернуться к своему “я” детских лет, прилежно перетерпеть трудности. Ведь дети живут нескончаемым настоящим: оставляют беды в прошлом, заново отстраивают свои замки, отбрасывают костыли и гипсовые бандажи, снова начинают ходить.

Капля крови

Со дня смерти нашей матери миновало десять лет. Я приехала поездом в Филадельфию, Линда встретила меня на вокзале. Посидели у нее на кухне, пили кофе с теплым хлебом — она его сама испекла. В тот день вопрос о моем происхождении, который я давно отложила до лучших времен, зашевелился снова. Линда, разбирая мамины вещи, нашла коробочку с фотокарточками, которых мы прежде никогда не видели. В основном из маминого детства. И среди них — снимок, где ей двадцать лет. Рядом с ней мальчик-подросток. На обороте надпись “Бев и ее двоюродный брат Джоуи”. Младший сын ее дяди Джо. Линда показала фотографию мне. Если бы Джоуи сфотографировали со мной, нас запросто можно было бы принять за брата и сестру: сходство поразительное. А вот на своего отца и его родню я совершенно не похожа. Я возликовала: нашелся кто-то неоспоримо схожий со мной!

Мы не первый десяток лет знали, что моя прабабушка подозревала: на самом деле я дочь ее старшего сына Джо. Слух распространился среди

маминой родни, но его не воспринимали всерьез. Но теперь мы с Линдой рассудили: если подозрения верны, Джоуи действительно мой единокровный брат. Решили: что попусту гадать, — лучше мы с ней сделаем тест ДНК. Она проколола палец мне, а потом себе. Тот же метод, что и в нашем детстве. Однажды я, Линда и брат в роще у ручья, среди джеков-на-амвоне[51], скунсовой капусты и стрекоз, сбились в кучу, соединили крошечные ранки на своих пальцах, дали ребяческую клятву в верности навсегда-навсегда. Сестра положила обе капли крови, мою и свою, в заранее приготовленный конверт, отправила на анализ. Мы надеялись одним махом либо развеять, либо подтвердить прабабушкины подозрения.

[51] Примечания: 51
Народное название амаранта.



Музыкальный бар “Мидуэй”.
Филадельфия, 1943 г.

Результаты пришли спустя несколько недель. Линда приехала поездом в Нью-Йорк. Протянула мне нераспечатанный бумажный конверт. Через несколько минут, стоя на улице, мы вчитывались в два набора непостижимых цифр. Из них вроде

бы следовало, что наша кровь, сопоставленная и истолкованная по всем правилам науки, показала: скорее всего, мы с Линдой сестры только наполовину. Мы разрыдались: казалось, кто-то пытается нас разлучить. Потом я взяла ее руки в свои, и мы заверили друг друга: для нас этот тест ничего не меняет.

Что касается прабабушки, ее обхождение со мной я еще могу простить, но то, как она обходилась с моей бедной мамой, отказывая ей в элементарной приветливости, — никогда. Я рассудила: если прабабушкины обвинения подтвердятся, я настоящая Уильямс, с обеих сторон, в моих жилах смесь кельтской и валлийской крови. Извлекла из памяти свое единственное воспоминание о моем двоюродном деде Джо. Собралась вся семья, мне года четыре. Меня почему-то потянуло к Джо, я поднялась на веранду и, что было совсем не в моем характере, уселась к нему на колени. Помню, как Грамми крикнула моей маме: “Забери ее!” Мама прибежала на веранду. Прежде чем заговорить с Джо, загородила свои глаза ладонью. Сказала: “Извини, Джо”, взяла меня за руку. Я помахала ему, а он подмигнул и улыбнулся. Больше я его никогда не видела. Если выяснится, что он мой отец, это воспоминание

станет для меня драгоценным, сказала я себе.

Мысли о результатах теста перегружали мой ум, и на некоторое время я разучилась писать. Столько лет каждое утро просиживала с блокнотом и чашкой кофе в ближайшем кафе. А теперь поневоле усомнилась в достоверности написанного. По иронии судьбы, именно этот текст я собиралась озаглавить “Правда” — понравилась идея односложного названия, выражающего мою цель в книге. Но теперь тень полуправды омрачила всю рукопись. И фраза из книги Жана Жене “Все, что осталось от Рембрандта” снова и снова накатывалась на нее сокрушительной, настойчивой волной. “То, что я только что написал, неправда”. Эти слова Жене шокировали и озадачили меня как читательницу. А теперь меня как писательницу от них передернуло: неужели они сказаны и обо мне?

Перо больше не скрипит по бумаге. Мой бунтарский горб имеет форму шлема. К нему бы еще доспехи. Он — мой флисовый капюшон, обеспечивает уединение, помогает сохранить анонимность. Он — нагрудник, оберегающий мое сердце. Он — свод предзнаний. Усохший от древности то ли плащ, то ли древесный лист, передаваемый из поколения в поколение. Он —

капитуляция перед научными методами, перед капелькой крови.

За несколько месяцев до моего семидесятилетия мы с Линдой вздумали прояснить свое генетическое происхождение по материнской линии и сделали аутосомный ДНК-тест. Он попроще — определяет, из каких краев происходят твои предки. Достаточно флакончика слюны. Своим предыдущим открытием мы ни с кем не делились, решили закрыть дело. Я почти смирилась с тем, что моим отцом был мамин дядя Джо, и ожидала, что результаты нового теста это подтвердят.

Сестре результаты пришли раньше. Как и ожидалось, ее родословная подтвердилась: кельтская кровь по линии Уильямсов и кровь шотландцев, переселенных в Ирландию, по линии Смитов. Я ожидала узнать, что у меня происхождение в основном кельтское, уговаривала себя воодушевиться. Но втайне не расставалась с надеждой, что этот тест опровергнет предыдущий. Мои результаты пришли с запозданием, утром в день, когда мне исполнилось семьдесят. И мне в очередной раз пришлось переустраивать всю свою вселенную.

Одна капля из проколотого пальца — и ларчик

открывается, листок с нескончаемыми комбинациями цифр сообщает, что Линда и я — сестры только наполовину. Но именно флакончик слюны вскрыл неоспоримую правду о моем происхождении по отцу. Все причудливые сценарии моего происхождения вмиг развеялись. Я не из страны Нетинебудет. И не из племени, живущего в самой глухой части американской пустыни. Инопланетная раса не подсадила меня тайком в материнскую утробу. Меня не оставили в корзинке под небом Западного полушария. Я происхожу не от тех, кто пасет облака, и не от поэта, жившего в XIX веке. И даже не от добряка Джо, маминого дяди, который однажды усадил меня на колени. Мои предки по отцовской линии были изгнаны из России на Украину, из Киева в Шполу, затем отплыли из Ливерпуля в Ньюфаундленд, в конце концов пустили корни в Филадельфии. А вскоре после окончания Второй мировой произошло мое зачатие. Скорее всего, тоже в Филадельфии. Мы нечаянно раскопали мамино прошлое, которое она утаивала. Мой биологический отец был из рода скитальцев, тех, кого вырывали с корнем и пересаживали в совсем другие места. Происхождение — стопроцентно ашкеназское.

Я сама себя отправила в отпуск — не творче-

ский, научно-исследовательский, принялась изучать вопрос, трудясь бок о бок с самой надежной и бескорыстной помощницей. Некоторое время назад мне посчастливилось воссоединиться с дочерью, которую я родила в двадцать лет и передала приемным родителям. Она человек решительно непубличный, мы раскрыли ей объятия, радушно приняли в свой круг. Она вернулась к нам благодаря скрупулезному, прямо-таки детективному расследованию. И именно она установила личность моего биологического отца, своего деда. За несколько месяцев всесторонних исследований мы узнали его имя, номер полка, место рождения. Не хватало только фотографии.

В День независимости мне нездоровилось. Вдали грохотали фейерверки, я не могла заснуть. Час за часом сидела, внутренне продвигаясь вспять, заглядывая в каждую клетку своего тела в поисках отца, в поисках тех качеств, которые мне от него достались. Ничего не планируя, ничего не предчувствуя, нырнула в мозг своего компьютера, глубоко-глубоко. Подложив под спину несколько подушек, перепроверяла по разным источникам все зацепки, которые мы успели собрать. Ночь тянулась медленно, город за окном странно притих, опустел, гуляки исчезли. Я

устала, но желание увидеть его лицо подбадривало. И, наконец, примерно в четыре часа утра, когда я уже хотела опустить руки, мне подвернулся PDF-файл журнала “Летун из Торретты”[52], выходящего в калифорнийском Редондо-Бич. В рубрике “Последнее боевое задание” были перечислены трое умерших ветеранов. “Вот мой отец”, — поняла я еще раньше, как увидела его лицо. Молодой, с темными волнистыми волосами, стрелок бомбардировщика стоял, заложив руки в карманы, на фоне беленого казарменного здания в итальянском Бари, Италия. Его звали Сидни. Я увидела, как в зеркале, себя молодой: у него та же осанка, тот же дерзкий взгляд. До самой зари всматривалась в его облик, незнакомый, но присутствующий во мне, совсем как новая Луна, загнанная в коридоры между краешком Земли и Солнцем.

19 марта 1946 года Беверли Энн Уильямс сидела в каком-то баре, курила сигарету. Возможно, слушала песню *“Gipsy”* (“Цыганка”) группы *Ink Spots* — тогдашний главный шлягер. Все военные

[52] Примечания: 52

Журнал об истории военной авиации на Второй мировой войне и боевом пути 484-й группы бомбардировщиков ВВС США, Торретта — аэродром в Италии, где базировалась эта группа после высадки сил США в Италии.

годы она работала официанткой, гардеробщицей, сигаретчицей в ресторанах, иногда пела в ночных клубах. В тот день ей исполнилось двадцать шесть. С одиннадцати лет, когда она осталась без матери, она почти не видела любви. Ей пришлось быстро повзрослеть, когда она попала на воспитание к бабушке. Та вырастила четверых сыновей и считала, что внучка ей ни к чему.

К двадцать трем годам она пережила — другого слова не подберешь — два брака. Один брак был аннулирован, второй муж над ней издевался. Она потеряла сына в родах из-за врачебной ошибки и едва не умерла от родильной горячки. Выздоровев, аккуратно свернула все приданое младенца, сложила в коробку и пожертвовала для раздачи беднякам. Идти ей было некуда, и она обратилась к своему дяде Джо, вдовцу, который жил вдвоем с сыном-подростком. Дядя предложил ей стол и кров, если она согласна вести хозяйство. Мама была ему признательна, но Грамми решила: стыд и срам — жить в одном доме с вдовцом вдвое старше себя.

Закончилась Вторая мировая, и в Филадельфию вернулись двое военных. Красавец-стрелок, служивший в 766-й эскадрилье бомбардировщиков. И мой отец, Грант Харрисон Смит, прямо из

филиппинских джунглей, толком не выздоровевший от малярии. А в центре этой картины — красивая, энергичная, способная на горячую любовь молодая женщина. Возможно, со стрелком она познакомилась в одном из ночных клубов, где работала. И одновременно возобновила дружбу, которая завязалась еще в юности, с тем, в кого она девчонкой втюрилась безответно. Грант был влюблен в свою двоюродную сестру Мэй, у них был долгий тайный роман, но в самом конце войны она написала ему, что разрывает отношения. Отвергнутый Мэй, он вернулся на родину, и тут выяснилось, что у его горячо любимой матери последняя стадия рака. Отчаявшийся Грант нашел утешение у моей мамы. Она ему сострадала, умела развеселить, вернула его к жизни; стала его спасительницей. На это у нее был талант.

Никто, кроме моей матери, не знает правды о тех нескольких неделях ранней весны 1946 года, когда произошло мое зачатие. Грант уехал ухаживать за умирающей матерью. В свой день рождения моя будущая мама была одна и, вполне вероятно, повстречала молодого стрелка в ночном клубе. Судьбоносная цепь событий: отлучка Гранта, смерть Джесси Поллард Смит в Вербное

воскресенье, молодая порывистость моей мамы — ей не сиделось в четырех стенах, случайная послевоенная встреча, — привела меня в мир, сделала меня такой, какая я есть.

Когда моя мать обнаружила, что беременна, она и мой отец Грант не высказывали ни малейших сомнений в том, что это его ребенок. Но Грамми еще раньше, втайне от всех, обыскала дом, пока Беверли была на работе, нашла в постели дяди Джо чье-то нижнее белье и ошибочно сочла, что подозрения о шашнях внучки с ее старшим сыном подтвердились. Моя прабабушка была абсолютно уверена, что Беверли забеременела от Джо, даже высказала ему это в лицо, а он расхохотался и стал все отрицать. Тогда Грамми пришла к Гранту, стала осыпать Беверли обвинениями: “Она тебя охомутала”. Но, сама того не подозревая, своим вмешательством побудила моего отца еще решительнее встать на защиту мамы.

Страсти настолько накалились, что в самом начале лета мои будущие родители покинули Филадельфию. Сели в поезд, укатили в Чикаго. Убедить Гранта остаться с моей мамой оказалось несложно. Но уговорить связать себя узами брака — очень нелегко. Он был не вполне готов взвалить на себя ответственность после всего пе-

режитого: война, пять лет в армии, последствия малярии, недавняя смерть матери. Моя мама говорила, что они довольно долго просидели на ступеньках мэрии, пока Грант все-таки не нашел в себе мужество попросить ее руки. Возможно, он сделал это ради их ребенка. Церемония была скромная — просто пошли и расписались.

Они сели в чикагский поезд, и все действующие лица драмы, предшествовавшей моему рождению, отступили на дальний план. Супруги Смит — Грант и Беверли — поселились в пансионе около Логан-сквер, в довольно убогом в те времена районе. Там началась моя жизнь, и мой отец — как я ему благодарна! — мою жизнь спас: по несколько часов держал меня над лоханью с горячей водой, чтобы я дышала паром.

Все эти факты — из семейных преданий, которые мы хорошо знали. Но в эти предания не попала история о красивом летчике-еврее. Я могу лишь предполагать, что мама намекала на нее, когда обещала рассказать мне историю о генетике. Все эти крупицы информации, словно хлебные крошки на тропинке в дремучем лесу, собрали я и мой старший ребенок. А затем их приумножил мой новообретенный двоюродный брат, видный архитектор и ученый Энтони Алофсин. Его мать,

красавица Элинор, сестра Сидни, была классической пианисткой, концертировала. Энтони питал большую приязнь к моему отцу, и я смогла дополнить его воспоминаниями замысловатый пазл своей родословной. Когда я нашла Энтони — а он почти ровесник Тодда, родился всего неделей позже, — это было как обрести еще одного брата, пусть и брата наполовину. Его мать и мой биологический отец выросли вместе; Энтони, как и я, был глубоко тронут тем, что мы вошли в жизнь друг друга.

Отец Сидни умер в пандемию испанки, когда мальчику было шесть. Сидни любил путешествовать, ценил изящные искусства и джаз. Учился на инженера-электротехника, но властная мать обязала его заняться семейным бизнесом — успешным кожевенным производством. А еще Сидни воспрещалось, под угрозой лишения наследства, ухаживать за женщинами, которые не принадлежат к его вероисповеданию. Так что он в любом случае не смог бы построить серьезные отношения с моей мамой.

Однажды он познакомился с девушкой-католичкой, франкоязычной канадкой Мари. Она стала его милой преданной спутницей, но взять ее в жены он не мог. И все же после похорон его

матери Сидни и его милая Мари поженились в январе 1965 года. Они обрели долгожданное счастье. Детей у них не было, но они были друг у друга. Сидни исполнилось пятьдесят три года, они отпраздновали его день рождения у моря, но судьба их не щадила. У Сидни со времен войны были проблемы с почками. В ноябре того же года он умер. Не дожил, увы, даже до первой годовщины свадьбы. Мари, овдовевшая спустя одиннадцать месяцев в законном браке, дожила до девяноста лет. Узнай я о ней пораньше, я бы, конечно, попросила бы ее меня принять, принесла бы ей цветы, внимательно выслушала бы ее воспоминания о муже, моем биологическом отце. Задумываюсь: как только она доживала, когда его уже не было рядом? Но, несомненно, она чувствовала его присутствие в воздухе, которым дышала. Я, овдовевшая в сорок семь лет, чувствую родство с Мари, родство по стоицизму. Помещаю ее на свою стену настоящих героинь — тех, кто взваливает на плечи жестокие подарки судьбы и находит в себе силы жить дальше. Мне удалось найти ее скромное надгробие с простой надписью — только ее имя и фамилия, взятая после замужества.

Нам с сестрой пришлось смириться с тем, что

мы сестры лишь наполовину. Некоторое время безутешно грустили, но неизменно мудрая Линда сказала, что ее вдруг осенило. “Вспомни: ты именно такая, какой я тебя люблю, только потому, что тебя зачали наша мама и Сидни. И если бы не он, тебя бы не существовало”. Возможно, от него я унаследовала черты, за которые Линда меня обожает: его темные волосы, его дерзкую поступь, его любовь к путешествиям, культуре, искусству, Парижу и морю. Мы стали любоваться Сидни вместе. Я бережно храню несколько бесценных фотокарточек: на одной он в военной форме, стоит у Эйфелевой башни, на другой запечатлен с Мари. Со временем я не только смогла почувствовать его характер, но и прониклась уверенностью, что мой отец любил меня, несмотря ни на что. Я восхищалась маминым молчанием; она знала, что отца я люблю больше, но не стала обижаться на это — наоборот, оберегала меня, таила, что он мне не отец. Итак, в конце концов мы возблагодарили судьбу за мамино послевоенное злоключение.

Никто не тянет рук, никто не пускает стрел, ни одна стрелка не описывает круги на главных часах памяти. Вижу людской караван: вереница людей ковыляет по бескрайним равнинам,

народ моего отца скитается с места на место. Я им сочувствую, как и тем, кто изгнан из Тибета, Сирии, Палестины. И, возможно, именно в этом истинная ценность крови моих предков — в способности сопереживать изгнанникам. Киль перевернутого судна, еле различимый в море — то ли замершем, то ли вообще мертвом. Как же мне хочется остановить это мгновение — заснять его старой “лейкой”, прикрепить снимок с его нечетким силуэтом на стену в пустой комнате, из которой открывается вид на руины доходного дома в стиле ар-нуво. Послевоенная Европа, голодные, смятенные, бездомные беженцы останавливаются, поднимают глаза — словно чуют мое присутствие.

В моей комнате не было бы ничего, кроме ломберного столика и единственного стула перед ним, а в углу подстилка из сена и пшеничных стеблей, достаточно широкая, чтобы спать. У меня было бы одеяло из серо-коричневого войлока — того же материала, которым Йозеф Бойс укрывался, укладываясь спать рядом с койотом[53] в углу комнаты, довольно похожей на мое воображаемое убежище. Я сидела бы за столом, делала

[53] Примечания: 53

Известный перформанс немецкого художника Йозефа Бойса, устроенный им в США.

бы заметки в дневнике. Карандаши, кувшин с водой, маленький стакан и один бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу. Когда стемнеет, пила бы холодный кофе. Ходила бы из угла в угол, а потом ложилась бы на подстилку, завернувшись в одеяло.

Я проследила бы судьбы женщин, с которыми мне не суждено увидеться: Мари, Джесси, моей бабушки Маргериты — миниатюрной, заводной, зеленоглазой, музыкально одаренной, легкой на ногу. Она была из Новой Англии, единственное дитя респектабельного семейства. Сбежала из дома с молодым военным, не уступавшим ей по красоте. Отец отрекся от нее, и своих родителей она так больше и не увидела. Как же это было больно для жизнерадостной хрупкой женщины, веселой и доброй, любившей немое кино и нарядные платья. Однажды утром Маргерита перестала узнавать родную дочь, бросилась на нее с кухонным ножом. Ее отвезли в больницу, а затем перевели в психиатрическую лечебницу. Там семья бросила ее на произвол судьбы, оставила в психиатрическом отделении старой Норристаунской государственной больницы, как в западне. Та же судьба, что и у Антонена Арто или Фрэнсис

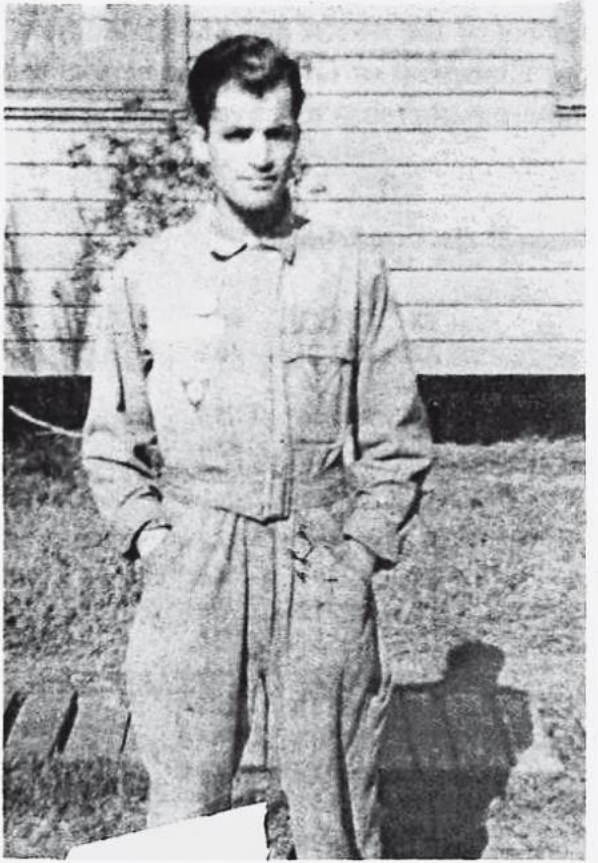
Фармер[54]. Лечили ее в духе эпохи — проводили новомодные эксперименты с электрошоком или инсулином. Тогда всех больных шизофренией пытались лечить, вводя в инсулиновую кому. Домой она так и не вернулась, в сорок два года умерла в лечебнице. Открываю футляр ее мандолины, сделанной сто лет назад. Мандолина и книга “Серебряные пенни” — все, что удалось сохранить моей матери из вещей Маргериты — проливают свет на короткую жизнь, которая была отдана поэзии и музыке. Возможно, во мне живет одно-единственное дуновение безумия моей бабушки — от большего судьба меня уберегла, но способность претворять это дуновение в творчество пошла мне на пользу.

Все, что происходит за много лет до нашего рождения, готовит сцену, на которой разыграется наша жизнь. Как я рада, что игральные кости, брошенные издалека и наудачу, сложились в обстоятельства моего рождения. Перекладываю куски пазла, приоткрываю крохотные обрывки правды. Стоя на лоскуте засохшей травы, среди кактусов и цветов пустыни, под небом, где созвездия — как блевотина, повторяю нараспев те же

[54] Примечания: 54

Фрэнсис Елена Фармер (1913–1970) — американская актриса и телеведущая.

слова, которые повторяли мои предки, ощущая преемственность с человечеством.



База ВВС. Бари, Италия

В один спокойный день я сидела за письменным столом. Мысли блуждали. Именно в этот миг я увидела его. Он был в темном костюме, в галстуке. А я — в синем пальто, купленном к Пасхе, на воротнике кружева. В Филадельфии дядя Бобби повел меня в зоопарк. Усадил на скамейку у озера Бёрд, пообещал, что сейчас придет. Затем кто-то взял меня за руку, и мы пошли гулять. Я подметила, что все встречные улыбаются нам, и почувствовала гордость от того, что иду рядом с таким человеком. Мы покатались на лодке в виде лебедя; счастье захлестывало меня, как волна. Лодка вернулась к причалу. Там меня уже ждал мой дядя. Помог вылезти, но я оступилась, промочила туфли. Я завертелась, оглянулась и увидела лицо, свое лицо: брови темные, волосы темные, пристальный взгляд устремлен в иные дали. “Я — твоя походка, — выдохнула я слова, — твоя улыбка, твой неотцентрованный глаз. Последний штрих, капля крови, которая довершила мою мозаику”.

"Patti" – March 8, 1947

Snapshots

When morning comes and "Patti" wakes,
She opens up her eyes –
She looks upon each new day –
With such Complete surprise.

II

First she'll yawn and stretch her arms
away ahead her head
Then she'll smile as she watches the sun
Play hide and seek across her bed.

III

She's like a tiny rose bud, that's been
Kissed, by the morning dew –
When she opens up her sleepy eyes
To greet each day anew.

IV

When evening shadows come and the
sun descends behind the purple mist
Patti closes her sleepy eyes again
To await the sure morning kiss.

V

Then all over again it starts
At the beginning of dawns new day
As her hands reach for the morning sun,
Happy and eager to play.

Mother

Пути бродяжничества

1

Я долго не расставалась с остатками детской невинности — клочком перистого облака, витавшим где-то внутри меня. Он щедро подогревал мой энтузиазм, смягчал утраты и разочарования. Я оставалась верна своему призванию ранней юности, кровяной лозе[55], обвившей лодыжку двенадцатилетней девочки, вестнику, который, прикрепляя свое крыло, ушиб девочке пятку. Думала, что мои старания создать что-то стоящее — благодатный дар. Но с недавних пор чувствую: что-то отдаляется, юркие, как ртуть, капли стучатся в череп, когда пробую хоть ненадолго уснуть. Вжимаю ухо в подушку, и пульсирует, повторяясь, фраза: “Мы, те, кто больше не верует”. Когда я это написала? Почему? Фраза нервирует. Неужели я действительно так думаю про нас — всерьез, а не в минуту уныния?

Подвешенные, растянутые буквы алфавита

---

[55] Примечания: 55

“Кровяная лоза” здесь, возможно, в фигуральном смысле, но это также народное название берхемии.

пляшут свой извращенный танец. Фоном звучит Бах: поток четко выверенных нот, горизонт математики. Мой кофе стынет, оживленное кафе медленно пустеет. С обостренным вниманием рассматриваю собственную руку: она замерла у края незаполненной страницы. Судьба и опыт оставили следы на мистической анатомии моей раскрытой ладони, изборожденной глубокими линиями и одновременно молодой. Хватаю перо, хотя чернила почти засохли, пытаюсь откопать зерно истины, но дело почти не продвигается. Субъективная истина не может ни изменить ход событий, ни отразить гнев природы. Прямой результат ужаса, перетекающего в стыд. Заказываю еще кофе, вокруг то больше народу, то меньше, но это почти не влияет на мою продуктивность; день куда-то пропадает.

Вечером того же дня, готовясь ко сну, чувствую: по лицу разливается тепло. Сначала пугаюсь — неужто лихорадит? Но потом опустошаю свое “я”, капитулирую, против своего обыкновения. И полное ощущение, комнату заполняет диалог — непрошеный, все проясняющий.

— Что есть Бог?

— Присутствие перед лицом страдания.

Вспоминается моя сестра. Те, кто верует.

Полнолуние совпало с частичным лунным затмением. Темный, угрюмый синяк мало-помалу захватывает часть светлой сферы. На миг все замирает, словно события разворачиваются на странице комикса. Стоп-кадр плодит стоп-кадры, целыми страницами. “БЛЯМС!!!” “Познай себя!” “Уверуй!” Неоспоримое доказательство кроется в незримом, помечает сердца знаком закоренелой надежды.

Святая Бернадетта принесла в жертву все перспективы обрести спутника жизни, родить детей. Голыми руками выкопала яму, из которой брызнул целительный родник, но ей было отказано в возможности вкусить его воды. Умерла молодой, и при жизни ее усилия вознаграждались только явлениями Пресвятой Девы и обещанием счастья на том свете. Жанну д’Арк повели на костер; святые не вмешались, когда ее охватило пламя, не вмешался и Иисус, когда она громко звала его по имени. Ей был ниспослан более ценный дар, чем спасение в земном мире, — истина ее Голосов. Иоанн Апокалиптик, автор Откровения, непостижимый святой покровитель всех откровений, трудился в пещере на Патмосе, кропотливо записывал пророчества под диктовку. Источник видений укрепил его силы, и весть, заповеданная

Богом, ворвалась в его сознание: хлынула с семи сторон, соединилась в единую картину, словно крохотные огоньки на автомате “Пинбол” с бесконечным сеансом игры.

Рассмотрим труд провидца, чьи предвидения материальны. Внезапное озарение математика — неоспоримое уравнение, которое, однако, все равно придется доказать, — дает толчок утомительному процессу формулирования отвлеченных понятий. Художник выхватывает какой-нибудь аспект метаморфозы, и это остановленное мгновение становится произведением искусства. “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи, “История Животворящего Креста” Пьеро делла Франчески, “Синие шесты” Джексона Поллока. Мы проникаем в душу процесса, всматриваясь в видение, которое выразил художник, а затем покоряясь этому видению.

Разыскиваю на своих стеллажах особенный каталог, сувенир из недавней поездки в Неаполь, из капеллы Сан-Северо. В нем есть несколько фотографий шедевра Джузеппе Санмартино “Христос под плащаницей” в разных ракурсах. Мраморный Христос лежит, объятый смертным сном, его лицо и тело покрывает плащаница — такая прозрачная, что смотреть больно, выставляющая напоказ

его мучения. У его ног — кандалы, гвозди и клещи, искусно изготовленные орудия его пыток. Изучая на снимках эту поразительную скульптуру, запросто переношусь обратно в Неаполь, заново переживаю тот необычайный час в капелле. Стоя над подобием Мессии, я почуяла в чертах его лица, под глянцевой патиной веков, какое-то непреходящее беспокойство; ощупала, нарушив музейные правила, его рану и несколько складок плащаницы. Ощутила вибрацию неслышного, но несказанно прекрасного стона, и он перенес меня сквозь время в предысторию творения скульптора. Я следовала за скульптором, как тень, пока он искал идеального натурщика. “Вот он”, — решает скульптор, ходит за ним по пятам, подмечая все привычки, мимику и жесты, игру света на шее, мускулах рук и ног. Невероятный непоседа — придя, куда шел, тут же собирается уйти. И все же именно с него скульптор решает лепить мертвого Христа. Предлагает работу, но объясняет, что придется пойти против своей натуры — много часов подряд лежать совершенно неподвижно. Взамен он получит золотой дукат и обещание бессмертия.

Вынужденный изображать смерть, натурщик мысленно ерзает, нервничает, исследует свою

душу, куда сроду не заглядывал, а затем, осмелев, каждой клеткой своего организма проникает в сознание Христа. Все это я наблюдала и проворно записала, детально излагая нечестивые метаморфозы, и только когда натурщик слился с извивающимися волокнами разума Мессии, перестала записывать. Почувствовала на себе взгляды изумленных зевак, поневоле захлопнула блокнот, вернулась из прошлого в свое настоящее. Все окружающие толковали о чуде плащаницы; а уж как реагировали зрители в середине XVIII века, само собой понятно. Озадаченные безукоризненной реалистичностью, люди поголовно верили, что заказчик скульптуры, знаменитый алхимик Раймондо ди Сангро, изготовил материал наподобие кисеи, набросил на лицо и тело Христа, а затем алхимическими ухищрениями обратил в мрамор. Двести лет с гаком эти домыслы считались фактом. В любом случае никто не мог усомниться, что это сделал боговдохновенный и блестяще владеющий своим ремеслом скульптор. Великий художник — заодно алхимик, он жаждет трансфигурировать красоту и уродливость всего сущего.

Золотая цепь солидарности протянута сквозь время. Облака, заплетенные в косы, лежат штабе-

лями в небе. Это поле Божьего сознания — текучее силовое поле, а здесь к нему подключаются, толкуют о нем. Алхимия бытия так же сложна, как цветок с золотой головкой, которая наполнена семенами, как пальцы, вдавленные в живот вора, как толпа детей-отступников, рассекающих себе голени маленькими церемониальными ножами. Теперь я призадумываюсь: а если бы тогда, в капелле, я продолжала записывать, полностью вытеснив себя из текста? Может быть, проникла бы в сознание юноши, когда он проник в сознание Христа? С тех пор пытаюсь прорваться сквозь этот барьер, но все напрасно. Продвинуться дальше не могу. Возможно, тот миг, подброшенный мне судьбой, я прожила лишь вполсилы, созерцая внутреннее, окидывая незрячим глазом внешнее, нося в себе Вселенную, которая мчится вскачь. В мгновенном озарении мне была подарена целая история: юноша, скульптор, и алхимик в одноактной пьесе, затянувшейся на целую вечность.



Этот процесс, иногда похожий на паралич, изолирует человека в непроницаемом коконе. По-настоящему разбудить меня, разрушить чары, действующие от нескольких секунд до нескольких часов, мог только зов ребенка, дергающего меня за рукав. Эти промежутки, когда я как бы отлучаюсь куда-то, будят давние воспомина-

ния об изумленной, растерянной школьнице, разглядывающей свои туфли. Раздосадованная учительница, рассерженная мать, встревоженный брат или сестра. Спрашивают: “Где ты была?” “Да так, нигде, — отвечаю, — всего лишь в огромной стране, где на каждом шагу — живописные валуны, ожившие статуи, безусловно американские пустыни и болота, снег, падающий на морские волны”. У меня был свой корабль с косыми парусами, как у “Сантьяго”, самого маленького и самого юркого судна во флотилии Магеллана. Я брала с собой брата и сестру, и они не колебались, не задавали вопросов, ни на миг не разуверились. Вот что всю жизнь придавало и придает нам силы. Иногда звучит музыка, нестройная мелодия, песня, воспроизводящая ноты тайного языка ребенка. Где я была? В царстве невинности, общаясь без слов с королем черепах, своей зубной щеткой-телепаткой, с неумолчно шепчущими деревьями, которые принято называть “сорными”.

2

Высокие кресты телеграфных линий, проложенных в прошлом веке, тянутся по равнинам, миля за милей. Знают ли они, сколько в них духовного величия, как они влияют на ум путников?

Вызываю из сознания историю их происхождения: дерево, принесенное в жертву прогрессу, лесоруб, который его срубил, мысли молодого рабочего на столбе, натягивающего провода, миля за милей, над бесплодной землей. Такое я умею: сидя в молчании, куда-нибудь переношусь, никогда не возвращаюсь с пустыми руками. Жажду этим заняться, но в данный момент перехожу на следующую ступень: планирую перенестись куда-нибудь физически, усядусь с открытым каналом связи и открытым дневником у окна в скоростном поезде.

Везде валяются брошюры. Тут же дротик и географическая карта. Второпях собираю маленькую котомку, ловлю такси, сажусь в поезд. Отправляется с Пенсильванского вокзала, прибывает на Южный вокзал в Бостоне. Пять часов придорожных сцен, которые могли бы произойти в любой точке Америки. С Южного вокзала автобус компании “Питер Пэн” везет меня в Вудс-Хоул, к причалу Управления пароходного транспорта, а оттуда отправляюсь к соленым болотам заповедника Феликс-Нек[56], на берега, омываемые морем Новой Англии. По указателям добираюсь

[56] Примечания: 56
Расположен на острове Мартас-Виньярд.

до Эдгартауна. Он находится на “нижнем острове”[57], как тут говорят. Это место я выбрала скорее наугад — надеюсь что-нибудь написать, расшевелить душу. Вот мой номер. Небольшую веранду, пристроенную сзади, затеняют окрестные дубы. Вдали — маяк. Выглядит так, будто его не построили, а слепили из гипса по детскому рисунку. Оптимистично раскрываю блокнот, кладу на стол со стеклянной столешницей. Из окна видны маяк и извилистая тропа, ведущая к неглубокой бухте. Там спят на недвижной воде яхты.

[57] Примечания: 57

В восточной части острова, выражение восходит к профессиональному жаргону моряков. “Вниз” означало “на восток”, в сторону нулевого меридиана, так как долгота уменьшается.



Детский маяк

Не пишется. Иду разведать местность. Никем не

замеченная, прохожу сквозь вестибюль и террасу отеля. Вдали маячит остров Чаппакуиддик, над которым до сих пор витает печальная тайна: утонувшая девушка, будущий сенатор, последний из братьев. Авось слабый луч детского маяка укажет мне, как вернуться к мыслям о хорошем. Что будет, если я остригу волосы и стану поститься? Что будет, если я всецело посвящу себя своим детям? Что будет, если мир развернется на сто восемьдесят градусов и все грехи будут заглажены?

Иду прогуляться, инстинктивно выбирая дорогу по пересекающимся тропкам, вдоль которых растут взморники. Вижу приметы болот, но не таких грозных и таинственных, как в Саут-Джерси, где были стаи мошек, зловещая высоченная трава и длинноногие насекомые. Тут ландшафт одомашненный, но, по крайней мере, хоть чем-то мне знаком. Лодка с вертикальными парусами, длинные черные паруса, орущий ребенок, песок и шлепанец, болото, слишком аккуратное, чтобы быть настоящим. Подмечаю, что в небе пусто. Приближаюсь к маяку сзади. Он стоит на широком стилобате, вымощенном, как кажется на первый взгляд, плиткой. Перед маяком собирается семья. Отец говорит: “Встань рядом с мамой”. “Отлично, а теперь улыбочки пошире”, — гово-

рит он. Маленькая девочка говорит: “А я не хочу получиться с улыбкой”. “Почему?” — спрашивает мать. “Не хочу, чтобы в будущем меня увидели с широкой улыбкой”, — говорит она. Ей лет шесть, никак не больше.

Подойдя ближе, обнаруживаю, что маяк — копия, скромный памятник. Замечаю табличку: “Эдгартаунский маяк. Мемориал детям”. Плитки — на самом деле плоские камни, на которых высечены имена безвременно ушедших детей. Задерживаюсь у маяка, думаю о Стефани Холт, решаю посвятить ее памяти один из этих камней. Возможно, для этого я сюда попала — чтобы Стефани присоединилась к хороводу детей вокруг маяка.

Позже, в номере, меня одолевает усталость. Но все равно сажусь с блокнотом за стеклянный стол. Одинокий комар пищит, задевает мою щеку. Говорю: “Не принуждай меня убить тебя”. Опять крутится у моего лица, пронзительно пищит. “Не принуждай меня убить тебя”, — повторяю медленно, напористо. Вроде понял — перестал пищать. А скорее всего, нас обоих одновременно сморило. Жилистый молодой парень листает мой дневник. Говорит: “Несколько путей заблокировано, дайте-ка расчищу, я это хорошо умею.

Всего делов — закупоренные артерии, длинное уравнение с аспектами, которые надо докрутить". "Ладно, валяй", — отвечаю. Интересно посмотреть, что он обнаружит. Он внимательно читает мои страницы, делает почти незаметные пометки карандашом.

Глухой вой сирены издали. Просыпаюсь, не понимая, где я. Оказывается, все еще за стеклянным столом. Осоловелая, но голодная. Детский маяк сияет красным. Подает один-единственный тусклый сигнал, совсем как синтетический рубин в космическом кольце. Когда-то мы заказывали такие кольца по почте, соблазнившись рекламой на задней обложке комиксов. Выскользнув наружу, удивляюсь — виден Млечный путь. И луна, разрезанная пополам — то ли инь-ян, то ли печенье "Черно-белое". Одна из извилистых тропинок приводит меня прямо в город. Все кафе уже закрываются, но в проулке, этаком шанхайчике из самодельных лачуг, нахожу ларек. Жареные мидии в бумажном пакете, черный кофе в стаканчике — я вполне довольна. Сижу на высоком бордюре под луной-печенькой, спрашиваю себя, как жизнь завела меня в эту точку.

В детстве я воображала, что происхожу из кочевого племени, бегала стремглав в бесшумных

мокасинах по красной земле — разыскивала инопланетные корабли. Пусть приземлятся, пусть найдут меня, свое потерянное дитя, и увезут отсюда. В крови моего отца — те, кого выслеживали, как добычу, и те, кого изгоняли. А в крови моей матери — исследователь новых земель и охотница. Внутри нас есть все: мокасины, которые рвутся прямо у меня в руках, молитвенное колесо, шаманские колокольчики, реликварии, тысячерукие богини, кровь в жилах внучки моего брата и кровь разума, который в эту секунду складывает вот эти слова.

Рассветает. Возвращаюсь тем же извилистым путем. Поднялся ветер, наблюдаю, как колышутся ветки на фоне бледного неба, как машет взморник из-за линии горизонта. Колорит Брайса Мардена[58], 1971 год, бледно-желтый, серебристый ветер. Парнишка — внутри меня, как и комар, маяк, камни мемориала. Я из числа падших. Мы не умерли, просто упали. Нас не вышвырнули, просто застигли врасплох. Я не принадлежу к избранным и, возможно, никогда уже не смогу примириться со своими прегрешениями. Загладить их нельзя; остается только

[58] Примечания: 58
Брайс Марден (1938–2033) — американский художник-минималист.

ждать, пока рассосутся швы. Ко мне снова и снова приходят жертвы моего невнимания. Выслушать других мне было недосуг, погружалась в свои дела, свои мысли. А теперь поздно — эти люди незаметно ушли.

Мне не хватает Сэма Шепарда. Наших долгих прогулок, нескончаемых разговоров в кафе, наших дуэтов — мы играли и пели старинные блюзы. “На старости лет будем хромать по жизни вместе, — обещал он. — Приеду за тобой на пикапе. Уедем в Мексику, будем писать книги, два приятеля, повидавших виды”. Как бы я хотела попросить прощения у Сэма. Когда он угасал, надо было все бросить и поехать к нему, уделить ему побольше времени. Но тогда я была слишком непоседлива, мне все еще казалось, что времени у нас полным-полно.

Надеялась: на “нижнем острове” что-нибудь напишу. А вместо этого — череда бесконечно микроскопических экстатических восторгов, которые одновременно расцветают и тут же вянут, необъяснимая печаль, которую отчасти развеивает природная эйфория. Наше сознание — это что-то. На каких аттракционах мы сами себя катаем. Телескопическая стрела переносит меня вспять: можно снова поискать Сэма. Можно

найти отпечатки ног моих предков во время их бегства, и людей из семьи Харт, с руками прачек и пастухов, и маму моей мамы: с мандолиной в руках, на веранде. Мы натыкаемся на тропу, которая направляет нас к потерянным возлюбленным, умершему ребенку, незаменимому незнакомцу. Тянемся сквозь время в поисках руки, которая нас ободряла, лица, увиденного лишь мельком, ночи испытаний, внушавших надежду. “Не сдавайся, — говорит какой-то голос, — сегодняшняя ночь — это только одна ночь, впереди еще тысяча”. “Не сдавайся”, — повторяю, вступая в диораму какого-то сновидения, входя в кованые ворота знакомого зоопарка. Семимильными шагами спешу поздороваться с недостижимым, с лицом отца, которого никогда не знала, умоляю поделиться его секретами, чтобы я смогла узнать свои.

3

Чайки Триеста пикируют сольно, дразнят, приближаясь, но никогда не позволяя утолить мое желание — коснуться краешка их целомудренных крыльев. Когда-то я так мечтала о Триесте, городе печали, которую я разделяла. Знала, что там есть живописная площадь с драматичным

видом на Адриатику. И историческое кафе “Томмазео”, где радушно встречали писателей: Итало Звево, Умберто Сабу. Знала о замке на холме и странствиях Джойса, о том, как Рильке обращался к чинам ангельским, знала “Дуинские элегии”. Но ничего не знала о страшных преступлениях этого города, о громадных зданиях рисозавода Ризьера-ди-Сан-Сабба, где осенью 1943 года устроили пересыльный лагерь для узников-евреев. Оттуда их отправляли в Аушвиц.

В Италии это был единственный концлагерь со своим крематорием. В конце войны, прежде чем сбежать, нацисты уничтожили крематорий и прочие улики содеянного. Но следы его дыхания можно найти вдоль кирпичной стены и в границах прямоугольного пятна на месте цинкового пола. Неподалеку, в загонах, где держали обреченных, и в большом зале, где установлены кресты, царит тишина. Вхожу в узкую дверь небольшого музейного зала. Три металлических ложки. Карманные часы на цепочке, их стрелки остановила жестокая рука: в двадцать пять минут восьмого время оборвалось. Выцветшая матерчатая звезда и две пары очков в проволочной оправе с пожелтевшими бирками, подписанными от руки. Роба в лиловую полоску, вроде пижамы: пижама для

кошмара, который начинался с пробуждением и прерывался на сон.

Ощущаю тяжесть, ту же беспомощность, как несколько лет назад в Мемориальном музее мира в Хиросиме. Там повсюду скромные пожитки жертв атомной бомбы: обугленный трехколесный велосипед, ошметки пальто, изодранное платье, детский ботиночек. Тогда почти весь город сгорел дотла, а нынешняя Хиросима восстала из пепла. Направляясь к выходу, я вдруг поняла, что от старой Хиросимы осталась, в сущности, только земля. И тогда я опустилась на колени, поцеловала землю. Шепотом попросила прощения от имени своего отца.

Полное ощущение, что пикируешь, совсем как чайка, головой вниз, в нечеткое, словно на зернистом фотоснимке, море. Куда ни приезжаешь, в памяти всплывают другие места, другие страны. Но ничего: укладываю свой скудный багаж, наскоро прощаюсь с туманной атмосферой Триеста, с его улицами, где на каждом шагу кофейни. Еду поездом в Болонью, к ее величественным, но обветшавшим башням, думаю о Грегори Корсо, оттуда отправляюсь во Флоренцию — созерцать неоконченных “Рабов” Микеланджело, а под конец делаю крюк в Рим — дала себе небольшое

задание.

Из книг я узнала, что в Риме Гоголь проводил много времени в мастерской мятущегося русского художника Александра Иванова. Почти двадцать лет Иванов усердно бился над грандиозным, странно непостижимым полотном “Явление Христа народу”. Мне очень хотелось увидеть его мастерскую: вдруг там еще витает аура его труда, вдохновленного духовными поисками? Переписала в свой блокнот несколько адресов, но названия ключевых улиц изменились. Виа Феличе, где собирались русские художники, теперь называется виа Систина. В кафе “Греко” есть длинный список его скандально известных посетителей и мемориальная доска Гоголю, но мне так и не удалось отыскать дорогу к легендарной мастерской Иванова, где были самодельные строительные леса и широкое окно в потолке. Что ж, пожалуй, это была нелепая затея — окунуться в атмосферу непоколебимой одержимости, цели, затмевающей все остальные.

В кофейне “Тацца д’Оро” недалеко от Пантеона, когда я неторопливо пила кофе стоя, вспомнился молодой художник, которого я разыскивала много лет назад. Вокруг запястья снова обвились исподтишка нити времени. Я отчаянно разыски-

вала Ховарда Майлза. Познакомились мы, когда нам обоим было по восемнадцать и мы оба были начинающими художниками. Под дождем часть его адреса, записанного на бумажке, размазалась, бесследно исчезла. Ценой огромных усилий я отыскала его дом у обветшавшей эстакады, по которой бегали поезда линии “Мёртл-авеню”. Ржавые балки тянулись параллельно зданию. Майлз жил один в огромной комнате, она содрогалась, как от землетрясения, когда мимо шел поезд. Тогда нам обоим едва исполнилось двадцать два года. Он вытер мои мокрые волосы полотенцем, испачканным краской. Его холсты высотой от пола до потолка напоминали работы де Кунинга, но одновременно отшвыривали аккорды чужих влияний. При виде его работ, нависавших надо мной, я поняла сердцем, что в живописцы не гожусь: не хватает мускулатуры, физической воли. Душевная рана была глубокая, но зарубцевалась бесследно. В тот миг я поняла, что нужно различать мечту и призвание. Какая-то сила отбросила меня вспять, к маленькой девочке, умолявшей: “Мама, научи меня читать”. Слово — первое, к чему меня соблазнительно потянуло, и в конце концов я вернулась к слову.

Мы находимся на этой шахматной доске —

планете Земля, пытаемся делать ходы, но порой кажется, что ручища равнодушного великана хаотично толкает нас на траекторию, где нельзя не спотыкаться. Что нам тогда делать? Попятиться, найти внутри себя что-то, что необходимо сделать, из всех сил служить своему призванию. Хочу написать книгу, которая все искупит, наподобие “Пиноккио”, истории о том, как столяр Джепетто смастерил себе сына — нескладную самодвижущуюся марионетку. У деревянного озорника совесть просыпалась нечасто: он то и дело сбегал, дурное влияние сбивало его с пути истинного. Но в финале Пиноккио жертвует собой ради Джепетто. Получив чудесное прощение, из безжизненного деревянного тела восстает самый настоящий живой мальчик. Пиноккио научился хорошему, найдя доброту в себе самом и в преданной любви своего отца. У меня было два отца: тот, кого я знала, и тот, кого я не знала, оба посылали мне знамения — перья, падающие с небес, дары неоспоримой любви.

4

Город надземный, город изумрудов, расположенный на высоком плато. Богота, грандиозная, обширная столица Колумбии. Я лечу туда ради

выставки и одного выступления в маленьком и бесподобно-прекрасном оперном театре “Колон де Богота”. В первом часу ночи приземляюсь в аэропорту Эль-Дорадо. Его назвали в честь мифического потерянного золотого города. Меня встречают Стефан, основатель группы *Soundwalk Collective*, и Сантьяго, куратор Национального центра искусств. Самочувствие странное: трудно держать равновесие, сердце бешено колотится, начинаю задыхаться — такого со мной никогда не бывает. Утром добавляется новый симптом — жуткая пульсирующая боль в голове. Мне вызывают врача. Прописывают кислородный баллон и какие-то таблетки. Похоже, моему организму не нравится, что Богота находится так высоко в горах. Придется дышать кислородом из переносного аппарата, побольше отдыхать и надеяться, что все-таки акклиматизируюсь. Уныло сижу, подложив подушку под спину, гляжу в окно. Снаружи — район Ла-Канделария с мощеными улицами, где архитектура колониального периода — испанское барокко соседствует с ар-деко, соборы XVI века, кафе, знаменитая библиотека, где хранится больше двух миллионов книг.

Все приходят меня проведать, приносят лекарства из целебных трав, горячие кукурузные

лепешки и кофе из кафе “Робуста”, маленькие подарки — бусы и талисманы ручной работы. Когда головная боль утихает, раскрываю книгу — надо же чем-то утешиться. Стефан волнуется: нам завтра выступать. Я заверяю, что справлюсь. Сантьяго приносит книги и укрепляющие травяные чаи. Он человек утонченный и энергичный. Стефан готовит нашу инсталляцию в музее; меня оставляют в одиночестве, в теплой комнате, с тихо жужжащим аппаратом, который принес доктор.

Невольно ощущаю ностальгию. Выздоравливающая несостоявшаяся путешественница с книгой на коленях. Читаю “Это мое письмо миру” Эмили Дикинсон, размышляю о ее изоляции, чувстве отчуждения, пустом почтовом ящике. Ее сознание затихло, ее сердце колотилось. Возникает неодолимая потребность тоже написать письмо. Но кому я напишу? Может быть, другой эпохе или временам, когда никого из нас уже не будет. Моему поколению — читай, моему нелепому племени. Письмо тем, кто посещал библейскую школу, читал классиков, заполнял прописи, макая перо в чернильницу, тем, кто учился писать по-письменному, часами играл на улице без присмотра, ночевал в лесу. А если

случалось поранить ноги битым стеклом, никому об этом не рассказывал. Письмо, адресованное далекому будущему, призрачным теням вымерших животных, птиц и насекомых, пустым ульям, замшелым соборам, пульпе былых знаний. Умирая, я вспомню о вас, ведь мы вот-вот утратим столько драгоценных вещей, не за горами времена, когда леса заменит изысканная голограмма, когда плоды будут созревать только на радиоактивных деревьях. Когда двухкилометровые акведуки и пешеходные мосты будут оклеивать осквернеными портретами диктаторов нашей эпохи. Я пишу письмо коровам на ярко-зеленых пастбищах. Пишу высокой белой кукурузе и алым тяжелым помидорам, свисающим с перепутанных пышных побегов. Пишу фигуристке, которая вдали от людских глаз кружится на подтаявшем льду пруда. Пишу морю, ветеранам на параде, некогда гордым. Пишу корюшке и тем, кто ее ловит, хот-догам у озера, маршмеллоу на палочке над костром. Содранным коленкам, мухобойкам, ключам от роликовых коньков и флакону синих чернил, который школьница опрокинула на свою парту.

Обмакиваю перо в стеклянную чернильницу, пишу каракулями слова: я — память. Я

— кролик, чучело мультяшного персонажа, падающее сквозь пространство. Серебряный слиток, обжегший цепкие пальчики ребенка. Я — полированный спинет, на котором играла бабушка-англичанка, та, что больше не моя бабушка по крови. Я — ее рука, плетущая кружева, ее пальцы и ласки, которых я никогда не знала. Я — комок волос, застрявший в маминой расческе. Я — лодыжки, запястья, ноги и руки непомерной длины. Я — зеленый диван, который раскладывался, превращаясь в кровать. Я — вранье, плодившее другое вранье, я — синие васильки и маргаритки наших увядших венков. Я — свод отцовской стопы, набухшие вены длинных ног матери. Я — веранда вздохов. Узкий пустырь между тротуарами, колючие сорняки, липкая смолка, млечный сок, жимолость. И шершень, чье жало — как благословение.

Незнакомая женщина приносит мне теплый куриный суп. Здесь все так добры, что невольно испытываешь смирение. Приходит врач, говорит, что я смогу выполнить трудовые обязанности, обещает дежурить в кулисах с кислородным баллоном. И все же, полагает он, мой организм не сможет полностью акклиматизироваться в горах. Вспоминаю свои горячие детские мечты

о Тибете — как буду здороваться с шерпами на базах альпинистов и вращать молитвенные колеса на Крыше мира. Врач говорит, что состояние здоровья вряд ли позволит мне посещать высокогорные районы. Я существо приземленное, мое место в болотах и не выше уровня моря. Я создана для того, чтобы любоваться горами снизу, но не для того, чтобы на них взбираться.

Свет в Боготе угасает. Мы преодолеваем все трудности. Я обрела новых друзей, которых никогда больше не увижу. Домой везу частичку сердца Боготы, маленький сувенир в золотой оправе — малюсенький осколок изумруда правосудия. Осколок зеленый, как глаза горы, на которую мне не взобраться. Отправляю свое письмо в воздух, помню, что необходимо благодарить природу, почтительно кланяться, сострадать тем, у кого нет ни куска хлеба, ни постели для ночлега, — усталым бродягам, которые все равно находят способ ощутить высшую радость бытия.

5

Последний день года. Играем музыку втроем — сын, дочь и я. Сын засыпает в кресле. Мерцает экран телевизора. На Тихоокеанском побережье высота волн достигла двенадцати метров. Въезд

в Вифлеем закрыт. Я сижу на диване с дочерью. Светит синяя луна, и нас омывает свет оттенка индиго, оттенка сапфира — талисмана Фреда по зодиаку. У нас общее сознание. Вот и еще один год прошел. Моя дочь Джесси красива, но сама того не знает. Мой сын плетет ажурные узоры из мелодий, которых не помнит. Внезапно накатывается волна сожаления. Эх, унесла бы она меня в прошлое, с детьми на руках, в наш двор: синий пикап, груша, дверь с москитной сеткой, отец моих детей сонно таращится на нас.

Капитан нашей лодочки с одним синим парусом отправился в путь без меня. Он был мой Капитан, а наша лодка — словно голуби: они ведь отправляются в путь поодиночке, но вместе, все дальше и дальше, всякий раз уходя, чтобы вернуться. Со стихами, с песней, с ребенком, еще с одним ребенком. Теперь я расхаживаю вдоль моря, туда-сюда, совсем как в тот давний день, но песни у меня нет — одни слова. И даже слова не проговариваю и не пишу, а лишь шепчу, а настырные волны их топят. Я совсем как миссис

Мьюр[59], когда она напряженно пыталась все вспомнить, шла по жизни в одиночестве, как казалось со стороны, но в назначенный час ее встретил призрак ее Капитана, дождался.

Он тоже здесь, и мы вальсируем на той самой автостраде, а машины проносятся мимо, и появляются звезды, одна за другой, одобрительно подмигивая. Он улыбается той самой улыбкой, означающей, что мы все те же, есть еще порох в пороховницах. Оглядываюсь по сторонам: никто ничего не заметил; ухожу своей дорогой, качая головой, возвращаюсь в так называемую реальную жизнь. Ради этого и живу — ради тумана, с которым он возвращается. Он дотягивается до меня сквозь все миры, все миры “Божественной комедии”, все стадии метаморфоза у людей, всю пыль сущего, а от меня требуется только одно — затаить дыхание и поверить, и он оказывается рядом на одно мгновение ока, на час, на один такт трепета, в огромном танцзале, где вместо люстры — ледяной хвост тускло сверкающей кометы.

---

[59] Примечания: 59

Героиня американского фантастического фильма “Миссис Мьюр и призрак” (1947). Молодая вдова и призрак лихого капитана полюбили друг друга, но призрак решил, что их любовь обречена, и наложил на любимую чары. Она забывает всю историю с призраком, проживает долгую несчастливую жизнь, но в итоге воссоединяется с капитаном за гробом.

6

В “Солнце и стали” Юкио Мисима пишет о сладострастной жажде вознестись ввысь. Она выражена в его стихотворении “Икар”. Возможно, он говорит и о сладострастной жажде озарений — пожалуй, самом большом грехе художников. Так архитекторы Вавилонской башни стремились достичь царства Божьего, проникнуть в него, искупаться в нем, попробовать его на вкус. Художник, не довольствуясь естественной красотой природного мира, ищет царство неестественного, царство разума, выхватывая что-то из высших сфер, анатомируя составные элементы полотен кубиста или ноты непостижимой фуги. Раз так, получается, что Ева, желавшая познания, — потенциально первая художница. Какие же произведения она создала? Доброту Авеля, злобность Каина. Есть великолепие, а есть великолепные фиаско. Возможно, именно такое фиаско нравилось Мисиме в Икаре — гордыня, подзуживающая потягаться с Солнцем. Художник ищет рай при жизни — то, чего искать не полагается.

Мчим вслед за солнцем. Перо перестает скрипеть. Опускается занавес лесного бархата, при-

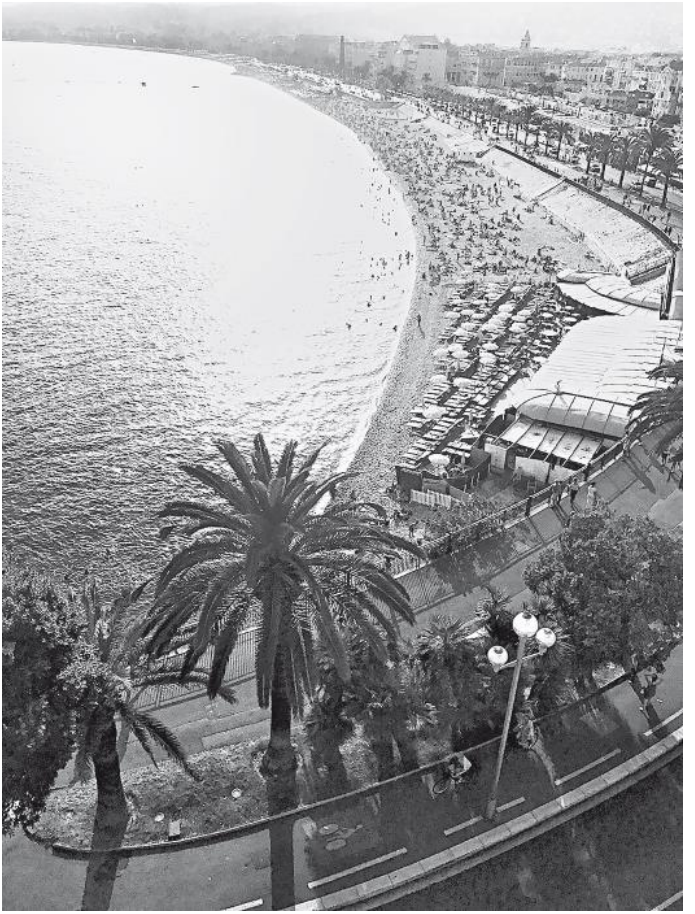
ветливое сияние манит меня к письменному столу. Я обязательно допишу то, что начала в Ницце, в отеле “Сюисс”, том самом, где у Джеймса Джойса впервые возник замысел “Поминок по Финнегану”, толстенной непостижимой книги, которая отворила дверь перед XX веком. Кстати, это и мое столетие. Иногда я оплакиваю миры, которые мне довелось знать, надежды своего поколения, цветы в волосах, танцы под *The Grateful Dead*, поиски общечеловеческой музыки, “языка миролюбия”, как сказал бы Джими Хендрикс. Эти мысли приходят и уходят, пока из стереосистемы в кафе звучит кавер-версия колыбельной Брамса. Едва начавшись, смешивается с заунывными рождественскими гимнами; композиторы сочиняли их со светлыми надеждами и ликующей радостью, но в замедленном темпе они смахивают на заупокойную молитву. Словно ты на пастбище, где бродят овцы, потерявшие пастуха.

— Ты в нас веришь? — спрашивают они.

— Я верю во все, — отвечаю им с улыбкой.

Я верю, что моя мать отыщет в раю свою мать и троих потерянных сыновей. Верю, что моя сестра ступит на землю Нового Мира. Верю в параллельный разум, который сам себе параллельно на уме. Верю в свои личные мифы, в линии и стрелки

на самодельных картах забытых стран, которые когда-то начертила моя детская рука. Верю: они существуют, все эти места есть, их находишь, теряешь и снова возвращаешься, их лучезарные контуры тускнеют, но, что показательно, возвращаются, словно шелковые бумеранги.



Бухта Ангелов

Память восстанавливается, течет по извилистым венам географической карты, разодранной в клочья. Свой голос я обрела благодаря странствиям. Свой певческий голос и свой писательский голос. Путешествуя по Восточной Европе, в конце концов оказалась в Польше, в месте под названием “Долина Шарлотты”, со странным лесом, с небольшим зоопарком, который охранял старый монгольский верблюд с лохматой шерстью, двумя горбами и длинными ресницами, обрамляющими огромные печальные глаза. Я хотела что-нибудь написать, но ничего не получалось, почувствовала отчаяние, перед глазами маячило фарфоровое лицо куклы, которая видит все, но ничего не предлагает. Мой тур с группой завершился, и один друг пригласил меня составить ему компанию в Ницце, в отеле у бухты Ангелов. Номер у меня был маленький, залитый светом. На балконе, откуда видна бухта, стояли стол и стул. День был непогожий, но я видела, как солнце набирается сил по ту сторону серебристой вуали, готовясь ее пронзить. Зато для фотосъемки свет идеальный: мир внизу смотрелся совсем как на ротогравюре XIX века. Но у меня уже не было фотоаппарата. Мой блокнот и ручка еще дремали.

Я наблюдала, как вуаль, уже пронзенная, распалась надвое, улетучилась. Сама не сознавая, что делаю, начала делать записи и проработала весь день до вечера.

Меня осенило: примерно на таком же балконе, с видом на ту же бухту сидел Джойс; захлестнула волна заговорщической радости. В следующие несколько дней я усаживалась за стол рано утром и в сумерках, сидела и писала. Передо мной тек поток слов. Я слышала их в голове, наблюдала, как они складываются из букв — словно приходят из другого источника, не от меня. Погода изменилась, дождь и сильный ветер не пускали меня на балкон. “Что все это значит?” — гадала я, но продолжала писать. Правый глаз сотрясала стреляющая боль, словно ошметки электрических разрядов, но я не могла прекратить работу, воображала, что получила в дар немножко джойсовской энергии. Но я подключилась не к Джеймсу Джойсу, а к великим поминкам, к энергии бдения, которая сопутствует возникновению новой идеи и сосредоточению. Все струилось, ментальный ток циркулировал по коридорам. Была ночь, а другая ночь колотила молотом; возможно, эти слова когда-нибудь породят целую книгу. В те дни я влюбилась в отель “Сюисс” и

круговую панораму бухты Ангелов. Именно там я спаслась от засухи, внезапный словесный ливень вскрыл все раны. Там бунтарский горб восстал из вод, словно плавник древней амфибии. Всматриваюсь в безмятежную синеву, где дрейфует лодка, дрейфует уже восемьсот лет, несет останки совсем маленького святого с изящными ручками и ступнями. Замечаю перевороты в небесах: крутятся деревянные корабли, колеса, руки, отделенные от тел. Ну, а реальность — дождь и ветер, несколько страниц с заметками, которые, надеюсь, найдут себе место в более масштабной работе. Хожу в клеенчатом плаще с капюшоном, сильно заношенном, неотразимо легким. Передвигаюсь, совсем как Гоголь в карете, углубляясь в черноту, которая никому еще неведома, кроме меня самой, в черноту чернил в полном стеклянном флаконе. С этими мыслями, с этими безумными параллелями я могу делать все, что вздумается, сама не зная, что отражает знамение, восстающее из вод бухты. Может, регенерацию великана? Или золотой холм равнодушного верблюда? Или возвращение некого мифического существа, мизантропичного мутанта-инопланетянина, в чьих жилах течет серебряная кровь эльфов и фей? Сижу на корточках с братом и сестрой перед старым комодом,

и мы медленно проворачиваем разболтанные ручки. Проходим мимо исполинских деревьев — темно-зеленых елей, отважно направляемся в темное небо, испещренное сияющими облаками. “Погода для радуги!” — кричу я, когда мы следуем за кораблями: их паруса надувает ветер, за конными конкистадорами: седла у них тяжелые, отделанные серебром.

Внезапно оказываюсь совсем одна в центре чудесной бури. Пусть она начнется! Пополни наши реки, позволь нам забросить сети под осетровой, цвета детского чепчика, луной. В лужах на красной земле образуется целебная глина, и я зачерпываю ее, чтобы обмазать волосы и лицо. Сыплется град. Не знаю, куда подевалась моя обувь, и дороги, пожалуй, тоже не знаю, но это неважно. Над головой порхают самодельные географические карты, показывают мне хребты неизвестных континентов и диковинные острова, где живут не менее диковинные животные с когтями, чешуей и широко разверстыми ноздрями. “Бунтарский горб, бунтарский горб, проламываясь сквозь камыш, сквозь бескомпромиссные папоротники, шарахаясь от дурмана вонючего, от стай мошкары”. Босиком иду вслед за ручьями: в воде, как кружева, — водоросли и

юркие головастики, высматриваю во все глаза — не блеснет ли монета, блудный пенни, осколок мозаики или карманное зеркальце с подобием меня.

В каком-то смысле я не так уж сильно изменилась. Но пламя непоседливости горит уже не так жарко, а внутренние образы всего, что я люблю, впитались так глубоко, что я могу спроецировать перед собой “Гернику”, не видя, слушать *Ascension* и *My Bloody Valentine*, не слыша, листать “Игру в бисер”, не читая: чувствую их всем своим существом. Все на свете непременно увядает. Драгоценные лоскутки, сложенные в маленьком сундуке, словно недособранное приданое, книги моей жизни, ордена в футлярах. Сбрасывание старой кожи — одна из сложнейших задач в жизни. Мы решаем, кому раздать свои талисманы, один за другим. Но я оставлю себе обручальное кольцо и любовь своих детей.

Кожа постепенно будет сброшена, а честь останется. Мы развиваемся, спотыкаемся, учимся на своих прегрешениях, а затем грешим повторно. Снова срываемся в бездну, из которой выбрались ценой гигантских усилий, обнаруживаем себя на том же месте в колесе Фортуны, совершающем новый оборот. А потом, набравшись стойкости,

запускаем болезненный, но восхитительный процесс — постепенно отпускаем ситуацию. Воцаряется светлое спокойствие, очень похожее на естественное освещение. Вокруг все лежит в руинах, но мы ходим на цыпочках, опасаясь ступить на угасающий силуэт, свою же первозданную кожу.

Какую грань своего существа я покажу миру? Ту, которая чеканит громоподобный шаг, созывает воображаемые войска, вместе с братьями по оружию подняла голос против тирании правительств, лжепророков, политиков, корыстолюбивых поэтов. А может, ту, у которой была череда возлюбленных, или ту, которая хранит черный бархатный футляр с жемчугами, подарком любимого мужа. Или девочку, которая читала наизусть Священное Писание, но таскала монетки из отцовских карманов и лгала матери. Каждый из нас таит в душе свои весы Фемиды. Гири и противовесы прожитой жизни — секрет каждого человека.

Так ли уж важна кровь, когда голодный ребенок нуждается в пище? Какое деление на шкале благородства соответствует нашим усилиям? Свиток разворачивается, мою лодочку направляют ангелы. Вытягиваю невод, вытаскиваю из приливной

волны своего водоема все, что успела отбросить и сбросить: плащ художника, прежнюю кожу, влюбленности, отмирающие клетки организма. Вижу себя на том же балконе отеля “Сюисс” — всего лишь писательница на отдыхе, в белом, пристально разглядывает треугольную крапинку посреди бухты. Внутренний голос снова тихо зудит. О чем я должна написать и в чем должна поклясться? Обещаю быть хорошей. Напишу о девочке, которая нашла в траве маленькое карманное зеркальце. Подает им сигнал треугольной крапинке — такой далекой, но совсем близкой. Восторженно подпрыгивает, зависает в воздухе, а затем, широко расставив руки, опускается на землю. “Добро пожаловать, бунтарский горб, — кричит она. — Я — это ты”.

о фотографиях



Автор благодарит нижеперечисленных авторов фотографий за разрешение использовать их снимки:

Стр. 73 © Linda Smith Bianucci
Стр. 102 © Lynn Goldsmith
Стр. 124 © Frank Stefanko
Стр. 130 © Frank Stefanko
Стр. 164 © Jody Caravaglia

Стр. 170 © Seiji Matsumoto
Стр. 204 © Judy Linn
Стр. 216 © Steven Sebring
Стр. 220 © Annie Leibovitz
Стр. 247 © Melodie McDaniel
Стр. 301 © Lisa Marie Smith

Наверху: Стивен Себринг. “Сент-Клер Шорз”, 1995 г.

Стр. 6: Статуя Питера Пэна в Кенсингтонском саду. Патти Смит

Стр. 174, 188, 192, 198: фото Фреда Соника Смита

Стр. 194, 274, 276, 290: фото автора

об архивах



Фото моих родителей с Тодди на диване с зеленой штофовой обивкой сделал Бобби Уильямс в 1951 году.

Все старые фотографии (на страницах 14, 24, 232, 238, 266 авторы снимков остались неизвестными)

взяты из архива семьи Смит и любезно предоставлены моей сестрой Линдой Смит Бьянуччи.

Фото на с. 254 (на нем запечатлены моя мать, Чик Кейвен и Дот Эшман) и фото на с. 268 (факсимиле стихотворения “Патти”) взяты из альбома “От нуля до семи”, где мои родители вели летопись моего детства.

Фото на с. 136 (Фред в детстве, со своим дедом Гербертом Байэсом) взято из личного семейного архива сестры Фреда, Пэт Холлетт.

Фото на с. 178 (единственная фотография с нашей свадьбы) было сделано в Церкви моряков матерью Фреда, Кэтлин Байэс-Смит.

Благодарю Ленни Кэя и Энди Остроу, предоставивших мне бесценные материалы из своих личных архивов.